

РАЗИЛЪ
ИСКАНДЕР
САНАРО
НОВЫЕ
ГЛАВЫ





Фазиль Искандер (Фото: Clas Barkman)

РАЗИЛЬ
ИСКАНДЕР

НОВЫЕ
ГЛАВЫ

**САНДРО
ИЗ
ЧЕГЕМА**

АРДИС

Фазиль Искандер

Новые главы: Сандро из Чегема

Copyright © 1981 by Ardis

All rights reserved.

Printed in the United States of America.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Published by Ardis, 2901 Heatherway,
Ann Arbor, Michigan 48104.

ISBN 0-88233-720-3 (Cloth)

ISBN 0-88233-721-1 (Paperback)

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

НОВЫЕ ГЛАВЫ

УМЫКАНИЕ ИЛИ ЗАГАДКА ЭНДУРЦЕВ

В этот теплый октябрьский день, уже основательно близившийся к закату, трое молодых парней стояли у огромного ствола каштана, крона которого была слегка прозолочена солнцем и неторопливой абхазской осенью.

В воздухе стоял кислотоватый дух то ли слегка подгнивающих прошлогодних листьев, устилающих землю, то ли усыхающих ягод черники, не оборванных людьми и недоклеванных птицами, то ли древесных соков, бродящих в могучих стволах смешанного леса.

Всем троим этот кислотоватый дух напоминал запах вина „изабелла” на осенних свадебных пиршествах, что нам кажется вполне правдоподобным, учитывая причину, по которой эти молодые люди притаились у подножья огромного каштана.

Впрочем, чтобы установить с абсолютной точностью истинный состав запахов, который вдыхали молодые люди в описываемый час, нам пришлось устроить спиритический сеанс с вызовом духа нашего замечательного писателя Ивана Бунина, гениальные ноздри которого по своей чуткости не уступали ноздрям дворянской гончей, а широту умственных интересов даже и сравнить не с чем.

Кстати, мы чуть не забыли упомянуть, что выше по косогору, метрах в двадцати от кряжистого каштана, к веткам молодого ольшаника были привязаны четыре лошади. И так как привязаны здесь они были довольно давно, к вышеупомянутым запахам примешивался запах свежего конского навоза, на что, между прочим, сурово указывал дух нашего знаменитого классика, а мы, по своей тупости, не сразу поняли, что он имеет в виду.

Итак, трое молодых людей, двое в черных черкесках, а один в белой (ошибаетесь, в белой не дядя Сандро, у него вообще никогда не было белой черкески), притаились у подножья каштана, четыре лошади привязаны к молодому ольшанику, и читатель сам догадывается, что речь идет об умыкании.

Но кто же двое остальных? Один из них дружок дяди Сандро по имени Аслан. Он-то как раз и щеголяет в белой черкеске. Аслан, несмотря на недавнюю Октябрьскую революцию, не только не скрывает своего дворянского происхождения, а наоборот, всячески под-

черкивает его, в том числе и своей белоснежной черкесской. Больше всего Аслан боится, как бы кто не подумал, что он боится своего происхождения.

И что характерно для обычаев наших краев, новая советская власть, отстранив представителей этого сословия от высоких должностей, тех, которые занимали таковые, не только не продолжала преследовать, как это делалось в России, но издали поглядывала на них с прощальной почитательностью.

Правда, новая советская власть так поглядывала на них в тех случаях, когда выражение ее лица со стороны Москвы невозможно было разглядеть. А так как в те времена из Москвы разглядеть Абхазию было затруднительно, не только из-за естественной преграды Кавказского хребта, но так же из-за слабого развития средств связи, местные власти почти всегда, за исключением революционных праздников, поглядывали на своих бывших аристократов с прощальной почитательностью.

Национальное своеобразие абхазской психологии наряду со своими недостатками имеет одно безусловное достоинство — почти полное отсутствие холопства, а отсюда и хамства.

В силу особенностей национальных традиций абхазцы по сравнению с многими народами почти не знали сословной обособленности. Аталычество — воспитание дворянских детей в крестьянских семьях — было обычным явлением. Именно воспитание лет до десяти-двенадцати, а не кормление грудью.

Кроме того — всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки — все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почитательно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства.

Поэтому в силу традиций, усвоенных с молоком матери, абхазский крестьянин, даже став революционером-большевиком, полностью не мог нарушить сложившихся отношений.

Победивший холоп, естественно, превращается в хама. Победенный хам легко переходит в холопство. Но тот, кто не знал холопства, сразу не мог превратиться в хама. Потребовался некоторый исторический срок.

Вот почему Аслан продолжал гордиться своим дворянским происхождением и щеголял в белоснежной черкесске. Рядом с Асланом стоял веселый головорез Теймыр, неизменный исполнитель черновой, но почетной работы умыкания. Кстати, закатанные рукава черкески, обнажавшие его сильные волосатые руки, прямо говорили, о том, что работа умыкания — это именно работа. На круглом лице веселого головореза Теймыра то и дело появлялась блудливая улыбка в предвкушении того, о чем мы не замедлим рассказать на этих страницах.

Чем примечательна эта сцена? Она примечательна тем, что на лице дяди Сандро, может быть, в первый и последний раз в жизни запечатлелось выражение гамлетизма.

Что же случилось? Откуда это выражение нерешительности, раздвоенности, рефлексии?

Начнем с минимальной информации. Друг дяди Сандро, а именно Аслан, готовился к умыканию своей невесты. Допустим. В таких случаях выражение нерешительности, раздвоенности, радости, печали естественно было бы ожидать на лице его друга. Почему же все эти противоречивые чувства, свойственные нормальным людям, когда они собираются жениться, выражает не лицо Аслана, кстати говоря, туповато-спокойное, а именно лицо дяди Сандро, столь решительного во всех случаях жизни?

Дело в том, что дядя Сандро влюблен в невесту своего друга, и она, судя по всему, тоже в него влюблена. И вот этой ночью она должна стать женой его друга, а он, дядя Сандро, не только не может воспрепятствовать этому, но и вынужден помогать своему другу.

Но почему, почему так все получилось? Потому что дядя Сандро при всем своем прославленном лукавстве, не мог нарушить законы дружбы даже ради своей пламенной страсти.

Аслан, живший в селе Атары, пригласил дядю Сандро погостить у себя дома с тем, чтобы он помогал ему встречаться с девушкой, которая ему нравилась, а потом принял бы участие в ее умыкании.

В таких случаях молодые люди, понравившиеся друг другу, стараются встречаться в каком-нибудь нейтральном доме, не имеющем родственных связей ни со стороны тайного жениха, ни со стороны тайной невесты.

И вот именно в такой дом Аслан привел дядю Сандро, до этого успев рассказать невесте о его еще молодой, но уже легендарной жизни, полной веселых приключений и опасных (в основном, для желудка) застольных подвогов.

Целый месяц с небольшими перерывами Аслан и дядя Сандро ходили в этот дом и там встречались с тайной невестой Аслана, которая тоже приходила туда со своими подружками.

Дядя Сандро с первого дня влюбился в эту милостивую девушку. Может быть, он и вынес бы как-нибудь ее милостивость, но ямочки на щеках этой девушки сыграли свою роковую роль. Дядя Сандро был совершенно не подготовлен для встречи с девушкой, у которой при каждой улыбке на щеках возникают головокружительные ямочки, куда каждый раз душа дяди Сандро (предварительно раздвоившись) опускалась и ни за какие блага не желала оттуда выходить.

Не исключено, что свою небольшую, но в этом случае завершающую роль сыграло и само имя этой девушки, тогда редкое в наших краях русское имя, которое мы до поры не будем открывать.

Как известно, имя женщины, особенно, если это имя носит на себе печать чужого племени, пленяет многих мужчин дополнительной чувственной окраской.

Теперь опять возвращаемся к ямочкам, как если б мы сами, согласно известному учению, выражали, якобы, собственную тайную привязанность к ним.

Дело в том, что любовный опыт дяди Сандро, вершиной которого, безусловно, можно считать знаменитую своим любвеобилием княгиню, как-то обходился без этих ямочек на щеках. Возможно, что ямочки на щеках вообще не свойственны горянкам (княгиня была из них), возможно, они выражают некоторое генетическое благодушие, свойственное потомственным жителям долин. Нам это неизвестно. Во всяком случае, село, о котором идет речь, было расположено в низине.

До встречи с этой девушкой дядя Сандро вообще не придавал значения всем этим ямочкам, луночкам, вороночкам, всем этим маленьким капканчикам женской природы.

Может быть, он их даже не замечал. Вообще, в те времена в наших краях в женской красоте больше всего ценилась бровастость, глазастость и длиннокосость. Во всяком случае, в эстетическом меню тех лет, отраженных в песнях, сказаниях и легендах, такого блюда, как „ямочки на щеках”, не указывалось.

Но интересно отметить, что высшим женским свойством считалось тогда и продолжает считаться до сих пор степень легкости, с которой женщина обслуживает свой дом и особенно гостей. И давая оценку той или иной женщине или девушке, абхазцы вообще, а чегемцы в особенности, прежде всего ценят это качество.

Высший тип женщины — это такая женщина, которая все свои обязанности выполняет не только хорошо, этого мало нашим взыскательным дегустаторам женского обаяния, но и радостно, даже благодарно за то, что окружающие дают повод, или, еще лучше, много поводов, заботиться о них.

— С лица-то она хороша, — говорят чегемцы про ту или иную женщину, — да что толку-то — тяжелозадая.

И тут — конец красоте. Полная гибель. Или совсем наоборот, про другую женщину:

— На вид-то она неказистенькая — зато летает!!!

И это восхищенное определение полностью снимет некоторые недоработки природы во внешнем облике женщины и как бы распахивает красоту ее крылатой души. Восторгаюсь стихийной гуманистичностью такого подхода. Нос длинноват?! Не надо никаких операций, поворачивайся быстрее, и ты на лету похорошеешь! Но мы отвлеклись. А нам необходимо, подавив некоторое раздражение, снова возвратиться к этим роковым ямочкам, потому что мы еще не

исчерпали их роль в этой истории.

И вот дядя Сандро впервые увидел или впервые разглядел на милостивом лице невесты Аслана эти нежные вдавлики! Bravo неизвестному скульптору!

И опять же дядя Сандро, может быть, и к этим двум ямочкам как-нибудь притерпелся бы и не выдал свою страсть никому на свете... Но однажды невеста Аслана пришла на это легализованное обилием друзей и подружек свидание (странный, запоздалый отголосок большевистских маевок), так вот, пришла в платье, открывавшем ее шею, и дядя Сандро обомлел.

Там, где нежная шея девушки начинала свое цветущее произрастание над, повидимому, не менее цветущим телом, была еще одна ямочка, которая оказалась самой губительной для сердца дяди Сандро.

— Да сколько же их у нее! — успел крикнуть дядя Сандро (про себя), уже охваченный пожаром любовного безумия. То, что дядю Сандро охватило любовное безумие, можно считать медицинским фактом, потому что оно не ограничилось общим восторгом обилия ямочек, а потребовало от дяди Сандро немедленно установить точный перечень их, а всякая педантичность, как известно, всегда признак безумия.

Задача, прямо сказать, нешуточная. Дядя Сандро пытался урезонить свое любовное безумие, он ему внушал, что устанавливать количество ямочек на теле невесты друга — дело и неблагородное и некрасивое и, в конце концов, опасное. Но любовное безумие ему отвечало:

— Ради дружбы ты жертвуешь самой большой своей любовью. Так неужели ради своей любви ты не можешь сделать самую малость, выполнить ее маленькую прихоть, просто установить количество ямочек, расположенных на ее, повидимому (как ты думаешь?), цветущем теле?

Ну, что ты скажешь этому любовному безумию?! Дядя Сандро не нашел убедительного довода в пользу скромности. Да, дорогой читатель, мы бы с тобой нашли, но дядя Сандро не нашел. Поэтому он живет для того, чтобы жить, а мы живем для того, чтобы любоваться его жизнью. Это просто две разные профессии, и я иногда с грустью догадываюсь, какая из них интересней.

Итак, дядя Сандро не нашел убедительного довода в пользу скромности. Да, да, — сказал он себе, — я отказываюсь от любви к девушке, которая явно подает мне знаки своего внимания. Я отказываюсь от счастья, потому что не хочу отнимать его у своего друга. Но прощаясь с любовью, эту маленькую прихоть я могу позволить своему любовному безумию?

И он себе эту маленькую прихоть позволил. Дядя Сандро знал, что девушки этого села в очень жаркие дни уходят купаться в лес,

где со скалистого откоса по широкому деревянному желобу стекает ключевая вода. Этот древний народный душ именуется абхазцами „ачичхалей”. На наш слух слово это передает не только журчание стекающей с высоты воды, но и пульсирующую неравномерность хлещущего потока.

Здесь в жаркие дни купались деревенские девушки. Обычно, собираясь купаться, они выставляли на лесной тропе, проходящей недалеко от этого места, дозор. Две девушки охраняли тропу с двух сторон от случайных, хотя и маловероятных, прохожих.

Но такому лукавцу, как дядя Сандро, немного надо было сообразительности, чтобы обмануть их. Бедный принц Ольденбургский! Если б он знал, на какие дела употребит дядя Сандро его прекрасный цейсовский бинокль, может быть, он воздержался бы от своего подарка. Кстати, как парадоксальны подарки сильных мира сего! Вспомним, что бинокль этот был подарен Александром Петровичем именно за остроглазие дяди Сандро, впрочем, явно преувеличенное им же, то есть дядей Сандро.

Выбрать дерево метрах в ста от этого искусственного водопада, с которого можно было поймать в кругозор широкий деревянный желоб с низвергающейся в него белопенной струей, было делом нетрудным. И дядя Сандро в один из жарких дней, исключительно под влиянием любовного безумия, сидя на ветке бука, осуществил свое маленькое преступление.

Нет, нет, мы не будем следовать за ним и подглядывать в бинокль принца Ольденбургского! Мы не будем даже уточнять, опускали дядя Сандро свой бинокль, когда другие девушки, выбежав из-за кустов лещины с развевающимися волосами, храбро вбежали под величаво хлещущие, бьющие твердым холодом струи воды, расхлестывающие струи волос, обламывающиеся на юных плечах, леденящие эти разгоряченные плечи и, щедро разлетаясь, барабанящие по огромным, дрожащим, первобытным листьям подбела, как бы жадно хватающим эти отброшенные брызги, пока девушки не выбегали из-под водопада, истерзанные до сладостной одури, исколотые тысячами серебряных игл — хохочущие, мокрые, кричащие!

Мы только отметим, что бинокль не только приближал фигуру купающейся девушки, но неизменно усиливал ее крики, словно таил в себе звукоулавливающее устройство. На этом почему-то настаивал дядя Сандро, может быть, отчасти этим пытаясь объяснить, что он чуть не сверзился с ветки бука, потянувшись за жарко приближенной, кричащей возлюбленной.

О, молодость, опьяненная суровым мастерством шлифовальщиков цейсовских стекол! Дядя Сандро чудом удержался на ветке и впоследствии говорил, что это был божий знак, тогда не угаданный им.

С дрожащими руками и ногами дядя Сандро слез с дерева и тихонько, кружным путем направился к дому Аслана, столь неосторожно привлекшего его к делу своей женитьбы. Эта, якобы, маленькая прихоть любовного безумия оказалась на самом деле его тончайшим тактическим ходом. Теперь дядя Сандро был готов. Но что же его возлюбленная?

Милая, чистая, никогда не любившая девушка, естественно, приняла свою симпатию и уважение к Аслану за любовь. Симпатия ее была вполне объяснима, потому что Аслан был достаточно привлекателен, хотя и явно преувеличивал влияние своих чар. А уважение к Аслану было вызвано тем, что он был отпрыском высокородных родителей, тогда как его невеста была простой крестьянкой.

Может быть, именно поэтому она не понимала, что по законам Маркса теперь, после революции, она должна считаться высокородной, а он, наоборот, должен считаться выброшенным на свалку истории.

Правда, трудно себе представить, что этот молодой человек породистой внешности вылез из свалки истории, отряхнулся и, даже не оставив пятнышка на своей белоснежной черкеске, стал ухаживать за миловидной крестьянской девушкой.

Зато гораздо легче себе представить, что случилось бы с каким-нибудь провинциальным теоретиком пролетарской философии, если бы он, встретившись с Асланом, попытался бы ему втолковать, что его место на свалке истории. Серебряный кинжал, висевший на его тонком поясе, было бы большой ошибкой в этом случае считать чисто орнаментальным приложением к национальному костюму.

Единственный шанс на жизнь наш бедный теоретик мог сохранить только за счет необыкновенной трудности доведения до сознания молодого деревенского феодала, что такое свалка истории. Для него, и тут мы с ним вполне согласны, это было бы таким же бессмысленным понятием, как уборная бога.

Одним словом, невеста Аслана была еще дальше, чем он, от всех этих премудростей и потому спокойно и весело ждала замужества со своим женихом. Но тут нагрянул дядя Сандро. Когда она увидела дядю Сандро, до этого неоднократно хвалимого ее родовитым женихом, в голове у девушки возникло то состояние, которое Стендаль назвал бы благоприятным для кристаллизации чувств.

Если верить биографам Стендаля, женщины его любили мало или во всяком случае меньше, чем ему хотелось бы. Так или иначе этот изумительный француз создал „Теорию любви”. Он мечтал выиграть любимую женщину, как блестящую шахматную партию. Задача фантастическая, но какова вера в силу разума!

Одним словом, любопытство, разожженное в голове невесты Аслана рассказами жениха, вполне оправдалось. Дядя Сандро был

в самом деле хорош собой, весел, решителен. И что ж тут удивительного, что молодые люди полюбили друг друга. За этот месяц они не только полюбили друг друга, но и успели признаться друг другу в любви.

Простая девушка, не связанная никакими формальными узами со своим, подчеркнем, тайным женихом, предложила честно признаться во всем Аслану. Но дядя Сандро отверг этот простодушный план. Он не был рожден для простодушных планов. Он был рожден для простодушного осуществления фантастических планов.

Дядя Сандро считал, что такое признание было бы смертельным оскорблением законов дружбы и, что не менее важно, всего именитого рода Аслана. Хотя родители Аслана восприняли бы на первых порах женитьбу своего отпрыска на простой крестьянской девушке как малоприятное нарушение обычаев, но возможность того, что простая крестьянская девушка отвергла их сына ради Сандро, была бы для них непростительным оскорблением.

— Нет, — решительно сказал дядя Сандро своей возлюбленной, — так нельзя. Я не могу оскорбить своего друга, признавшись в нашей любви. Я придумую что-нибудь такое, чтобы он сам от тебя отказался. И клянусь мольным орехом села Чегем, я такое придумую!

— Тогда придумывай скорей, — сказала милая девушка, — а то потом будет поздно.

— Верь мне до конца! — пылко воскликнул дядя Сандро, хотя, а может быть именно потому, что сам еще не был ни в чем уверен.

— Я тебе верю, — сказала возлюбленная дяди Сандро, радуясь его пылкости и по этому поводу, разумеется, произвольно образу на своих щеках нежные (говорю в последний раз) ямочки.

И дядя Сандро стал думать, но несмотря на его изощренный ум, на этот раз ничего не придумывалось. Пойти по классическому пути, то есть оклеветать девушку, он не мог. Во-первых, как нам кажется, из соображений порядочности, а, во-вторых, и это уже точно — ведь не мог же он жениться на девушке, которую сам же оклеветал.

По ночам голова дяди Сандро пылала от множества комбинаций, неисполнимость которых неизбежно обнаруживалась с первыми утренними лучами солнца.

А между тем, как водится, Аслан, готовившийся жениться, ничего не подозревал. И без того будучи уверенным в своей неотражимости, он считал, что своей женитьбой осчастливит и возвысит простую крестьянскую девушку.

Подходил назначенный день умыкания, а дядя Сандро еще ничего не придумал. Уже был извещен дальний родственник Аслана из соседнего села о том, что в такой-то день, вернее ночь, он прискачет с украденной невестой в его дом.

Накануне решительного дня был приглашен из села Анхара весе-

лый головорез Теймыр для выполнения черновой, но почетной работы умыкания. А между тем, дядя Сандро не нашел способа внушить Аслану мысль о добровольном отречении от невесты.

И хотя дядя Сандро верил в свою звезду, как никто в мире, он все-таки сильно волновался. В ночь накануне умыкания он настолько сильно волновался, что это заметил даже Аслан.

— Слушай, Сандро, — сказал он ему, — ты так волнуешься, как будто не я женюсь, а ты.

— Родителей твоих жалко, — вздохнул дядя Сандро, — для них это будет такой удар... Тут большевики власть захватили, а тут еще сын женился на крестьянке...

Они лежали в одной комнате в своих кроватях. Из соседней комнаты доносился мирный храп головореза Теймыра.

— Как-нибудь уладится, — успокоил его Аслан, проявляя традиционную беззаботность дворянства, благодаря которой отчасти они и упустили власть. Через несколько минут дядя Сандро почувствовал по его дыханию, что беззаботность Аслана отнюдь не была наигранной.

И вот на следующий день они стоят у подножья могучего каштана над проселочной дорогой, от которой в этом месте ответвляется тропа, ведущая к одному из выселков.

Все договорено. Три девушки из этого выселка, среди которых невеста Аслана, после воскресных игрищ в центре села, будут возвращаться к себе домой. И тогда веселый головорез Теймыр выскочит на тропу, подхватит одну из них, и та, для приличия побарахтавшись в его объятиях, через несколько минут окажется рядом со своим женихом, и они все умчатся туда, где их ждут.

С минуты на минуту девушки должны появиться на дороге, а дядя Сандро все еще ничего не придумал. Стоит ли удивляться, что обычно решительное лицо дяди Сандро на этот раз несло на себе печать неведомого ему гамлетизма.

И вот девушки появились! Две из них весело щебетали, делясь воспоминаниями о воскресных игрищах, а невеста Аслана, она же возлюбленная Сандро, с грустным лицом шла рядом с ними, не в силах перенести эту двойную нагрузку. Когда ее нежный печальный профиль мелькнул на дороге — внутри у дяди Сандро все перевернулось.

— Какая из них? — шепнул веселый головорез Теймыр и облизнулся, предвкушая свой сладостный труд.

— Та, что с краю, поближе к нам, — тихо ответил Аслан, и девушки скрылись в зарослях бузины, куда нырнула тропка, ведущая к их выселку.

Хищно пригнувшись, Теймыр пошел через кусты азалий, чтобы неожиданно выскочить на тропу впереди девушек. Через десять ми-

нут раздалась душераздирающие крики, и вдруг, как медведь, ломая кусты, Теймыр появился у каштана с девушкой на плече, которая беспрерывно кричала и колотила его по лицу свободной рукой. Аслан замер с приоткрытым ртом...

— Не та! Не та! — опомнившись закричал Аслан.

— Как не та?! — заорал головорез, которого сейчас никак нельзя было назвать веселым. Сбросив свою несмирившуюся пленницу и утирая рукой окровавленную щеку, он добавил:

— Ты же сказал: та, что с краю, поближе к нам?!

— Не та! Не та! — снова закричал Аслан, — видно, они переменились местами!

— Какого дьявола ты мне ничего не сказала! — заорал Теймыр, обращаясь к девушке. — Да еще всю щеку мне расцарапала!

С горящими ненавистью глазами, растрепанная и ощерившаяся, девушка стояла, воинственно озираясь, и дядя Сандро, несмотря на то, что был занят головоломными расчетами и в то же время чувствовал себя в сильнейшем цейтноте, выражаясь современным языком, однако, несмотря на все это, успел заметить, что она хорошенькая и даже вспомнил, что где-то видел ее, но не мог вспомнить, где.

— А ты у меня спрашивал?! — закричала девушка, подбоченившись и даже придвигаясь к Теймыру, — мало тебе, изверг! Жалко, что я тебе глаза твои не вырвала!

— Ладно, уходи, — сказал Аслан, — а ты беги за моей! Только не бери ту, что в красной кофточке, волочи другую!

Теймыр зашумел в кустах азалий и вдруг обернулся:

— А если они кофточками обменялись?

— Этого не может быть, — закричал Аслан, — она же с ума сходит по мне!

Теймыр скрылся в кустах.

— А ты чего стоишь? Иди! — махнул рукой Аслан, показывая ошибочно украденной девушке, что она свободна. Он был взволнован неудачным началом умыкания и сейчас нервно оправлял полы своей черкески, одновременно вглядываясь в ее белоснежную поверхность, словно стараясь понять, не запятнала ли его черкеску эта неудача.

— Я никуда не уйду! — дерзко крикнула девушка, оглядывая Аслана и дядю Сандро, словно оценивая их. И дядя Сандро опять мучительно вспоминал, что где-то ее видел, но никак не мог вспомнить — где. Главное — она была тогда во что-то другое одета. И почему-то это было важно, что она была во что-то другое одета. Но во что?! Ах, вот во что — ни во что!

Бинокль принца Ольденбургского, висевший у него на груди и при резком движении толкнувшийся ему в грудь, напомнил об этом! И мы теперь убеждаемся, что дядя Сандро не всегда опускал бинокль, когда в его кругозоре появлялась не его возлюбленная. Во всяком

случае один раз не успел опустить.

— Как не уйдешь? — раздраженно, но и рассеянно переспросил Аслан, потому что прислушивался к тому, что должно было произойти на тропе, а там, повидимому, ничего не происходило.

— Так, не уйду! — крикнула девушка, приводя в порядок свои волосы и исподлобья бросая на Аслана горящие взгляды. — Вы меня опозорили на глазах у подруг, а теперь бросаете? Не выйдет!

— Да кто тебя позорил?! — заорал Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и удивляясь, что ничего не слышно. — Ты же видишь — ошибка!

— Вы меня похитили, вы должны жениться, — резко отвечала девушка, — иначе мои братья перестреляют вас, как перепелок!

Она привела в порядок свои косы и теперь опять подбоченилась.

— Оба что ли? — рассвирепел Аслан, потому что со стороны тропы все еще ничего не было слышно.

— Зачем же оба, — с неслыханной дерзостью отвечала девушка, — мне хватит и одного!

— Ты слышишь, что она говорит?! — обратился Аслан к дяде Сандро и, как бы с некоторым опозданием осознавая социальные изменения, произошедшие в стране, добавил: — Пораспустились!

С этими словами он оправил серебряный кинжал, висевший у него на поясе, но судя по всему, этот его воинственный жест не произвел на девушку должного впечатления. Девушка то и дело переводила свой пылающий взгляд с дяди Сандро на Аслана, в каждом из них стараясь угадать будущего жениха и одновременно коварного хитреца, который ищет способа избавиться от нее.

И тут, именно тут, в голове у дяди Сандро мгновенно выстроилось гениальное решение его неразрешимой задачи! Подобно истинным художникам и ученым, которые, долго мучаясь творческой загадкой, внезапно во сне или по сцеплению внешне случайных слов или событий находят разгадку мучившей их задачи, дядя Сандро с вдохновенной ясностью осознал, что делать.

— Девушка права, — сказал дядя Сандро твердо, — кто-нибудь из нас должен на ней жениться.

— Уж во всяком случае не я, — ответил Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и уже сильно нервничая. Видно, пока головорез Теймыр возился с этой полоняницей, неожиданно обернувшейся самозванкой, девушки успели далеко уйти или вообще дали стрекача.

— Посмотрим, — сказал дядя Сандро, — во всяком случае, девушка хорошая, уж поверь мне...

— Не спорю, девушка хорошая, — согласился Аслан, начиная осознавать, нависшую над ним опасность. Он знал, что если весть о том, что ее слегка умыкнули и бросили, коснется слуха ее братьев, еще более дерзких, чем она, дело может закончиться кровью. Они не посмотрят на его род, тем более в такое время. Впрочем и раньше в таких

случаях мало кто вдавался в генеалогию.

Аслану показалось, что девушка понравилась Сандро. Было бы забавно, подумал он, привезти сегодня двух невест. Это было бы понашенски, по-кавказски, по-дворянски. Вот так, с другом умыкнул невесту, а чтоб и друг не скучал, прихватил заодно и ее подружку!

— А что, — сказал Аслан, подмигивая дяде Сандро, — наша Шазина и хорошенькая, и стройная, как косуля...

— Это точно, — согласился дядя Сандро, и тут затрещали кусты азалий, и веселый головорез Теймыр появился с милой невестой Аслана, обреченно повисшей у него на плечах, — но я тебе Аслан, должен сказать что-то печальное...

— Что еще? — тревожно спросил Аслан и двинулся к своей невесте. Но дядя Сандро его опередил.

— Вот это, я понимаю, скромная девушка! — крикнул веселый головорез и, поставив на землю грустно поникшую невесту Аслана, стал утирать обильный пот, струившийся по его лицу.

— Отойди, я у нее должен что-то спросить, — сказал дядя Сандро, и Теймыр, пробуя ладонью слегка кровоточащую щеку, расцарапанную Шaziной, отошел.

— Ты еще здесь, драная кошка! — крикнул он, увидев ее.

— Я никуда не уйду! — отвечала она. — А если вы меня опозорите, мои братья перестреляют вас, как перепелок!

— Пусть остается, — подмигнул Аслан веселому головорезу, — я тут кое-что надумал!

— Уж не собираешься ли ты жениться на обеих, как турок? — спросил Теймыр, теперь утирая лицо и шею большим платком.

— Поумнее что-то придумал, — отвечал Аслан с загадочной улыбкой, кивнув на дядю Сандро.

А дядя Сандро в это время приводил в действие свой гениальный план.

— Слушай внимательно, — сказал дядя Сандро своей возлюбленной, — вот что я придумал. Ты скажешь ему, что у тебя родственники эндурцы. И до конца держись за сказанное — остальное получит-ся само.

— Ладно, — сказала слегка обалдевшая от всех этих дел возлюбленная дяди Сандро, хотя все еще и невеста Аслана, — я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка.

— Не важно, по какой линии, — быстро уточнил дядя Сандро, — главное — держись за сказанное!

— Да что вы там расшушукались, — крикнул Аслан, — неровен час кто-нибудь нагрянет!

— Я тебе должен сказать что-то важное, — промолвил дядя Сандро и с мрачным выражением горевестника подошел к Аслану и отвел его в сторону.

— Да что мы тут будем сходку устраивать, — пробормотал Аслан, чувствуя, что предстоит что-то неприятное, и понимая, что от него невозможно увильнуть.

Тут дядя Сандро сообщил ему печальную весть. Он сказал, что вчера до него дошел слух о том, что у его невесты бабушка по материнской линии эндурка. И так как он сам вчера не мог у нее проверить, правда ли это, он всю ночь волновался, но ничего не говорил Аслану, чтобы не расстраивать его, если этот слух не подтвердится. Но вот, к сожалению, она сама сейчас подтвердила.

— Ты меня убил без ножа, — тихо завыл Аслан, — простая девушка да еще эндурка! Теперь я навсегда потерял отца, мать, братьев, сестер!

— Знаю, — сказал дядя Сандро и твердо добавил, — я тебя выручу!

— Выручи! — озарился Аслан, — любой подарок за мной!

— Одного быка приведешь к нам во двор, — сказал дядя Сандро, все еще испытывавший слабость к быкам.

— Двух быков! — воскликнул Аслан.

— Нет, одного хватит, — скромно возразил дядя Сандро.

— Но как ты меня выручишь? — воскликнул Аслан.

— Я женюсь на ней, — сказал дядя Сандро, торжественно, как человек, берущий на себя выполнение трудного долга.

— Ты?! — опешил Аслан.

— Да, я, — сказал Сандро, — мой отец — простой человек, и он не будет дознаваться, какие там у нее родственники по материнской линии.

— Но согласится ли она?! — воскликнул Аслан. — Она же меня любит. И как я ей в глаза посмотрю после этого?

— Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро, — а потом она перед тобой виновата.

— В чем? — оживился Аслан, очень хотевший, чтобы она перед ним была виновата.

— Собираясь замуж за такого родовитого человека, как ты, — важно сказал дядя Сандро, — она тебя должна была предупредить, что у нее эндурская примесь.

— Тоже верно, — согласился Аслан, — но ведь я никогда у нее об этом не спрашивал. Мне такое и в голову не могло придти! Но ты уверен, что она согласится выйти за тебя?!

— Я постараюсь ее уговорить, — сказал дядя Сандро, — ведь теперь ей некуда деться...

— Вообще-то я тебя ей очень хвалил, — обнадежил его Аслан, — но, ради бога, Сандро, избавь меня от разговора с ней! Мне будет ужасно стыдно!

— Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро.

— Но куда же ты ее приведешь, ты ведь не подготовился к женьтибе? — спросил Аслан, имея в виду, что по абхазским обычаям жених, умыкающий невесту, не сразу приводит ее в свой дом.

— К твоим родственникам, — сказал дядя Сандро просто, — мы оба женимся, я на твоей бывшей невесте, а ты на этой,.. как ее?

— Шазине?! — снова опешил Аслан и, оглянувшись на Шазину, бдително следившую за ними, взглянул на свою белоснежную черкеску, словно спрашивая у нее совета.

— Да, — сказал дядя Сандро неумолимо, — во-первых, она прекрасная девушка. Во-вторых, мы ее опозорим, если, умыкнув, не женимся на ней. А в третьих, твои родственники ждут тебя с невестой, а получится, что ты ввел их в расходы ради того, чтобы женить своего друга. Насмешка получится.

— Ой, — сказал Аслан, и схватился за голову, — я про них совсем забыл... Если я не женюсь, пойдет сплетня, что я не смог умыкнуть девушку...

— В том-то и дело, — согласился дядя Сандро.

— Это запятнает мою честь, — сказал Аслан и снова оглядел свою белоснежную черкеску.

— В том-то и дело, — снова согласился дядя Сандро.

— Но мне ужасно неловко, — вдруг задумался Аслан, — на глазах у собственной невесты жениться на ее подруге.

— Ничего, — сказал дядя Сандро, — твоя невеста тоже на твоих глазах выйдет замуж за твоего друга.

— Как так?! — пыхнул Аслан.

— По твоему собственному желанию, — напомнил ему дядя Сандро.

— Да, — успокоился Аслан, — по моему собственному.

— Слушай, — спохватился Аслан, — а вдруг Шазина тоже с эндурской примесью? Тогда я лучше женюсь на своей.

Тут дядя Сандро испугался.

— Ну уж такого невезенья не может быть! — воскликнул он, — я сейчас все узнаю!

Чувствуя, что тело его от волнения покрылось холодным потом, дядя Сандро подошел к Шазине. Заставить свою возлюбленную признать себя эндуркой, когда она абхазка и тут же уговорить чужую девушку, если она с эндурской примесью, чтобы она выдавала себя за чистокровную абхазку, было и для дяди Сандро слишком.

— Послушай, — тихо сказал дядя Сандро, подойдя к девушке, — говори только правду. В твоём роду есть эндурцы?

— Эндурцы?! — взвизгнула девушка, и глаза ее метнули в глаза дяде Сандро две молнии, — вы посмотрите, через какую бесовскую хитрость они от меня хотят избавиться! Да мои братья только за то, что вы так подумали, перестреляют вас, как перепелок!

— Все, — сказал дядя Сандро, — ты выходишь замуж!
— За кого? — полыхнула самозванка достаточно уместным любпытством.

— За Аслана, — сказал дядя Сандро, — и больше ни слова!

— За Аслана? — слегка опешила девушка, — а разве у них с Катей не было...

— Не было! — перебил ее дядя Сандро, чувствуя приступ ревности, — не было и не могло быть!

Дядя Сандро подошел к своей возлюбленной и сказал ей, что она больше не невеста Аслана, а его невеста. Главное — держать себя в руках. Никакой радости. Легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур. Возлюбленная дяди Сандро, почти ничего не соображая, кивнула ему и опустила голову.

— Эх, Катя, Катя! — сказал Аслан, со стороны наблюдавший за ними и почувствовавший, что дядя Сандро ее уговорил, — зачем ты мне сразу не сказала правду?

— Ты у меня не спрашивал, — ответила Катя и вовсе потупилась.

— Поздно каяться, все решено! — зычно воскликнул дядя Сандро, — на лошадей!

— Поклянись аллахом, что в тебе нет эндурской примеси! — в последний раз взмолился Аслан, болезненно вглядываясь в свою новую невесту и одновременно как бы извиняясь перед старой, показывая ей причину, по которой он не мог не отступить от нее.

— Эндурской примеси?! — возмутилась Шазина, — не смейте людей! Да мои братья...

— Про твоих братьев мы уже слышали, — сказал дядя Сандро, — быстрее в путь!

— Чудо! — воскликнул веселый головорез Теймыр, — кто бы подумал, что эта вертихвостка такого парня отхватит.

— Но у нас только четыре лошади, — вспомнил Аслан, первым подходя к ольшаннику, где были привязаны лошади.

— Эта вертихвостка так хотела замуж, — сказал веселый головорез, — что я думаю, она рядом с лошадью побежит!

— Так и побежала! — опять воскликнула Шазина, — да мои братья...

— Не надо так ее называть, — сказал Аслан примирительно, — ты же знаешь, чья она теперь невеста...

— Кажется, разобрались, — сказал Теймыр и тронул поцарапанную щеку.

— Мы с Асланом сядем на мою лошадь, — сказал дядя Сандро, — она вынесет обоих!

Девушек посадили на лошадей, причем Аслан, помогая Кате сесть на лошадь с женским седлом, проявил благородный такт, то есть, изменив содержание первоначального замысла, мы имеем в виду

смену невест, он оставил в целости техническую сторону — Катя должна была сесть на эту лошадь, и она на нее села. Впрочем, мужское седло Шазине, по ее характеру, было как раз впору.

Дядя Сандро гостеприимно предоставил свое седло Аслану, а сам уселся сзади на спину своего рябого скакуна.

— Если б я знал, что вы оба женитесь, — сказал веселый голово-рез, — я бы и третью для себя приволок!

— Поздно, — отозвался дядя Сандро из-за белой черкески своего друга, — к тому же для жениха тебе Шазина подпортила портрет!

Они ехали гуськом глухой лесной тропкой, и Теймыр, он был впереди, иногда оттягивал кнутовищем камчи нависавшие над тропой буковые, ольховые, каштановые ветви, оплетенные лианами обвойника, и давал проехать остальным.

Сквозь могучий, заколоченный лес, потом сквозь узорчатые папортниковые пампы, стреноживающие лошадиные ноги, и снова в зеленый, влажный сумрак леса, переплетенного всеми ветками и корнями, опутанного всеми лианами, задыхающегося от собственного яростного обилия и неожиданно, как вздох, расступающегося возле шумной речушки с несколькими светлыми, покорно склоненными ивами на берегу, как бы намекающими на возможности христианского начала в буйном царстве языческого леса.

Намек этот, как нам кажется, кавалькадой остался непонятым. Молодые люди, крича и щелкая камчами, загнали лошадей в поток, и лошади, то и дело упираясь, шли через него, косясь друг на друга, всплескивая гривами, фыркая, чокая копытами, оскальзываясь на камнях дна, спотыкаясь и гневно вздергиваясь, и тогда девушки ахали, а молодые люди смеялись и с гиканьем, огрев лошадей камчой, вымахивали на крутой берег, поросший кустами облепихи и тамариска.

Дядя Сандро чувствовал нестерпимое веселье, клокотавшее внутри него, но сдерживал себя изо всех сил, чтобы Аслан ничего не понял. Аслан то и дело поглядывал на свою бывшую невесту, потом переводил взгляд на новоиспеченную, иногда как бы не понимая, откуда она взялась, а потом приглядывался к ней, привыкая к своему новому положению.

Впрочем, когда тропу обступали особенно колючие кустарники или лошади входили в воду, он забывал об обеих невестах, целиком озабоченный боязнью оцарапать или закапать брызгами воды свою белоснежную черкеску.

Шазина то и дело оборачивалась в сторону жениха и почему-то прыскала от смеха, и дядя Сандро удивлялся ее дерзости, думая, что она смеется, вспоминая подробности всей этой истории. Удивление его, однако, вскоре сменилось гневным изумлением, когда выяснилось, что на самом деле она оборачивается на них и смеется необычайной (видите ли!) рябизне его чубарого скакуна, его прославленной гор-

дости!

Не успел дядя Сандро придти в себя от этой неслыханной дерзости, как Шазина вслух предположила, что ее братья, хоть убей их, ничем не сели бы на этого хвостатого, рябого змея.

Дяде Сандро захотелось отправить ее назад и притом пешком, но боязнь, что в этом случае Аслан вернется к первому варианту своей женитьбы, остановила его.

Но, видно, дерзости ее не было предела. На полпути к дому родственников Аслана, лошадь дяди Сандро стала слегка отставать, все-таки ей трудно было под двойной нагрузкой. Так эта Шазина и тут не удержалась, чтобы не надерзить.

— Быстрой, — сказала она, оборачиваясь на своего жениха, — а то мои братья догонят...

— Да твои братья богу свечку поставят, что избавились от тебя! — крикнул Теймыр-головорез.

— Ее братья, — осторожно вступился Аслан за свою невесту, — храбрые, уважаемые парни.

— Это видно по ней, — не унимался веселый головорез, — она же тебя просто умыкнула! По правде сказать, тебя бы надо было посадить на лошадь с женским седлом!

— Друзья, — предупредил Аслан, — только не надо так шутить в доме, куда мы едем. Они могут обидеться за меня, не понимая, что вы шутите.

Все согласились с ним, и остаток пути, пока еще можно было что-нибудь видеть, Аслан то и дело поглядывал на свою невесту, стараясь к ней привыкать и потихоньку влюбляться.

Ночью кавалькада прибыла в дом, где их ждали. Хозяева, конечно, очень удивились, что друзья привезли двух невест. Но по законам гостеприимства, чтобы скрыть свое замешательство, они придали ему противоположное направление, то есть удивились тому, что их третий спутник приехал без невесты.

За пиршественным столом гости и друзья просидели почти до утра. Длинный след ногтя Шазины, перерезавший щеку веселого головореза, сначала выдавался за смутный намек на некие сложности, возникшие при умыкании, но постепенно с выпитыми стаканами этот смутный намек превращался в прозрачный намек на пулю преследователей, чиркнувшую щеку Теймыра. Любопытствующие пытались уточнить, преследователи какой именно невесты заделали своей пулей Теймыра.

— Скорее всего братья Шазины, — отвечал веселый головорез, — они особенно неистовствовали...

— Я одного не пойму, — выбрав удобное мгновение, спросил Аслан у Кати, — почему ты, когда Теймыр схватил Шазину, не сказала, что он ошибся?

— Разве девушка может навязываться, — отвечала Катя вполне искренне, — может, ты передумал, может, еще что...

— Тоже верно, — согласился Аслан, однако, продолжая внимательно вглядываться в нее, спросил: — Ну, ты довольна, что выходишь за Сандро?

Дядя Сандро успел ударить ее ногой под столом, чтобы она была посдержанней.

— Ты же сам говорил, что он хороший, — сказала Катя, может быть, тайно объясняя причину своей влюбленности.

— Да, конечно, я сам, — твердо подчеркнул Аслан.

Дней десять новобрачные прожили в этом гостеприимном доме, и каждое утро, когда они выходили из своих комнат и встречались на веранде, Аслан почему-то пытливо заглядывал в глаза своей бывшей невесты. Не исключено, что он все еще искал в ее глазах и не находил следов легкого благопристойного траура.

За это время его юная жена дважды стирала его белоснежную черкеску, а веселый головорез Теймыр шутил по этому поводу, говоря, что в самом ближайшем будущем Шазина перекрасит его черкеску, чтобы не так часто ее стирать, и при этом, скорее всего в красный цвет, чтобы слиться с наступившими временами.

— Никогда, — отвечал Аслан, даже в виде шутки не принимая такого будущего.

Но вот, как водится, приехали родственники молодых мужей и развезли их по своим селам.

Две свадьбы были справлены в двух домах уже независимо друг от друга. Дней через двадцать после свадьбы дядя Сандро увидел, что к Большому дому подъезжает Аслан, ведя на веревке хорошего рыжего быка. Белоснежная черкеска победно сверкала на Аслане. Дядя Сандро обрадовался гостю и даже почувствовал некоторые угрызения совести за этот подарок, но не принять его уже было нельзя.

В доме дяди Сандро именитый гость был встречен прекрасно, а милая Катя так и летала, стараясь как можно лучше принять своего бывшего жениха.

— Все же не дал перекрасить черкеску, — напомнил дядя Сандро шутку Теймыра-головореза.

— Как можно, — сказал Аслан горделиво, как бы намекая, что абхазский дворянин все еще контролирует не только порядок в семье, но и в самой Абхазии

Когда дядя Сандро с Асланом остались одни, тот ему сделал неожиданное признание.

— Должен тебе сказать, Сандро, — начал Аслан, — что я немножко усомнился в твоей честности. И теперь хочу покаяться перед тобой. Очень уж, подумалось мне, все это странно получилось. Я решил, что ты это все подстроил. И то, что Теймыр-головорез приволок Шазину,

и то, что невеста моя вдруг оказалась с эндурской примесью. Несмотря на гнев и обиду, я решил трезво во всем разобраться, прежде чем мстить за оскорбление моей чести и чести моего рода. И я рассудил так. Если ты подстроил так, что Теймыр схватил Шазину, которая, конечно, была влюблена в меня, я от нее правду никогда не узнаю. Но тогда, подумал я, почему она так сильно расцарапала щеку Теймыру? И я так себе ответил на этот вопрос: — Чтобы все это было похоже на правду.

Ну, хорошо, думаю, если Сандро соврал, что у Кати бабушка эндурского происхождения, то бабушку он не может подменить! Я узнал, где она живет, поехал в Эндурию и убедился, что все это правда. Да, ты был настоящим другом, а меня попутал бес...

— Что правда? — опешил дядя Сандро.

— Что она эндурского происхождения, — сказал Аслан.

— Как эндурского?! — вскричал дядя Сандро.

— А ты что, не знал? — теперь опешил Аслан.

Но дядя Сандро уже взял себя в руки.

— Эндурского, но по материнской линии, а не по отцовской! — воскликнул дядя Сандро.

— Так я же об этом толкую, — успокоил его Аслан, — по отцовской у нее все в порядке... Я всегда буду помнить о том, что ты меня выручил... У меня родители со старыми понятиями, а то бы я от Кати никогда не отказался... А эндурство в новой жизни, я думаю, не должно мешать...

— Нет, конечно, — согласился дядя Сандро, мысленно жалея, что в свое время отказался от второго быка, — я думаю, новая жизнь сама склоняется к эндурству.

— Мои родители тоже так думают, — важно согласился Аслан, — так что не унывай... Все к лучшему...

На следующий день Сандро и его молодая жена провожали Аслана в обратный путь. Дядя Сандро, как водится провожать уважаемых гостей, поддерживал ему стремя и одновременно, как водится у гостеприимных абхазцев, уговаривал его остаться погостить. Но вот мягкий носок сапога Аслана вошел в подставленное стремя, он попрощался с молодоженами, выехал в открытые ворота и зарысил в сторону своего дома. Так закончилась история женитьбы дяди Сандро.

х х х

Я о ней услышал в такой же ласковый, осенний день, правда, лет пятьдесят спустя. Мы сидели у него во дворе на турьей шкуре в тени инжирового дерева, потягивая из граненых стаканов холодный, кислотоватый айран — смесь простокваши с водой.

Рассказывая эту историю, дядя Сандро время от времени подносил к лицу огромный плод золотистой айвы, похожий на морду льва. Казалось, внюхиваясь в тонкий аромат могучего плода, он через его запах приближает дни молодости, как некогда через бинокль принца Ольденбургского приближал купающихся девушек.

Время от времени тетя Катя выходила из огорода с небольшой плетеной корзиной в руке, наполненной фасолью в стручках и фиолетовыми баклажанами. Баклажаны она относила на кухню, а фасоль высыпала на пол веранды, где она досушивалась.

Проходя мимо нас, тетя Катя снисходительно улыбалась, как бы показывая, что рассказ дяди Сандро не надо принимать так уж всерьез, но от нечего делать можно и послушать. Рассуждение о ямочках на щеках и тем более эпизод, связанный с биноклем, дядя Сандро передавал с оглядкой, чтобы тетя Катя этого не слышала.

— Вот так обманом она женила меня на себе и, как видишь, я до сих пор с ней живу, — заключил он свой рассказ, не обращая внимания на то, что тетя Катя приближалась к нам с очередной корзиной, наполненной фасолью. Она услышала слова дяди Сандро, и, хотя видно было, что она это слышит не в первый и даже не в десятый раз, она остановилась, поровнявшись с нами, поставила корзину на землю и с выражением обиды посмотрела на дядю Сандро.

— Почему же обманом, бессовестные твои глаза? — сказала тетя Катя с некоторым усталым упорством.

— А то не обманом? — бодро подхватил ее слова дядя Сандро. — Я же тебе сказал: „Скажи, что ты эндурка...” А ты что сказала?

— А я сказала: „Хорошо, я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка...” Какой же тут обман, бессовестные твои глаза?

— Вот эндурский характер! — воскликнул дядя Сандро, восхищаясь, как мне кажется, и упрямством своей жены (редкое свойство, присущее исключительно эндурским женщинам), и полной отсутствием юмора у своей жены (тоже редкое качество, присущее эндурцам обоего пола), однако дающее ему самому неисчерпаемые возможности для проявления собственного юмора, — сколько лет прошло, а она талдычит свое! Я же считал, что выдумал твое эндурство, козлиная голова! А если бы ты тогда мне сказала: „Да, я на самом деле с эндурской примесью,” еще неизвестно, женился бы я на тебе или нет.

— Ты скажи, чем эндурцы хуже тебя? — опять же с некоторым усталым упорством спросила тетя Катя, — да они в сто раз лучше тебя.. Они и пьют меньше...

— Пьют меньше, — повторил дядя Сандро саркастически, — не могут, потому и пьют меньше...

— Эндурцы стараются для своей семьи, для своего дома, для своих близких, — проворковала тетя Катя, погружаясь в грезу эндурского

очаголюбия, но, очнувшись, тоскливо добавила, — а ты?

— Вот в этом твоя эндурская дурость и сказывается, — отвечал дядя Сандро, — ты до сих пор не можешь понять, как это важно для жизни людей, чтобы они весело, с умом, не спеша ели, пили, слушали мои рассказы и иногда сами кое-что вставляли, если у них есть что вставить...

— Ты забываешь свой возраст, — безнадежно вздохнула тетя Катя.

— Заладила, — махнул рукой дядя Сандро и, повернувшись ко мне добавил, — нет, я тебе честно скажу. Для эндурки моя жена даже слишком хороша. Больше пятидесяти лет со мной живет и пока — тьфу! тьфу! не сглазить! — не отравила.

— Интересно, кого это эндурцы отравили? — с некоторым вызовом спросила тетя Катя. Она уже приподняла было свою корзину, но теперь снова поставила ее на землю.

— Ты лучше спроси, кого они еще не отравили, — сказал дядя Сандро и, приподняв айву, внимательно внюхался в нее, словно заподозрив, не отравлена ли она эндурцами. Нет, видимо, еще не успели. Он опустил руку с айвой на шкуру и обратился ко мне: — Эндурцы испокон веков ядами промышляют. Они с такой хитростью яды пускают в ход — ни один прокурор не подкопается.

Например, ты гостишь у эндурца, а у него в это время враг в этом же селе или в соседнем. И этот эндурец тебе говорит: — Слушай, живет тут один человек. Он о тебе слышал много хорошего. Зайди к нему, уважь, он тебе устроит хлеб-соль. Только не говори, что я тебя к нему послал, потому что ему от этого стыдно будет. Так зайди к нему в дом, как будто тебя ночь застала в этом месте.

И ты доверчиво идешь к этому человеку, радуясь, что люди знают про твои хорошие дела, а ты не думал, что они об этом знают. Ты даже иногда думал, вроде, маловато у тебя хороших дел. Но, оказывается, нет, оказывается, хороших дел у тебя достаточно и добрые люди об этом знают.

И ты доверчиво идешь к этому человеку, думая обрадовать его и принять у него хлеб-соль. И ты приходишь к нему, и он, бедняга, устраивает тебе хлеб-соль, потому что деться некуда — гость. Но тот эндурец, который послал тебя к нему, уже дал тебе яд, и он подействует на тебя через сутки. И ты, приняв хлеб-соль, ложишься спать у этого добродушного человека и умираешь.

И на следующий день милиция-челиция, доктур-моктур, и они узнают, что ты отравлен и твоего бедного хозяина сажают в тюрьму, как отравившего ни в чем не повинного человека. Вот так эндурцы иногда расправляются со своими врагами. И что интересно — он лично против тебя ничего не имеет, он только думает про своего врага. А то, что ты при этом умрешь, ему и в голову не приходит.

— А если, допустим, — смеюсь я, — ты обещал пойти к этому чело-

веку, но не пошел?

— Ничего страшного, — махнул рукой дядя Сандро, — в следующий раз другого пошлет! А то, что ты неповинно умираешь, ему даже в голову не приходит...

— Не слушай старого дурака! — говорит тетя Катя, как бы сердясь на себя за то, что сама заслушалась. Она решительно берется за корзину и, уходя, бросает: — Его арестуют за язык, рано или поздно... И правильно сделают... Только перед людьми стыдно...

Она поднимается на веранду, а дядя Сандро, с добродушной иронией (на самом деле любит, старый хитрец!) поглядев ей вслед, снова нюхает айву и говорит:

— Мне бы на нее в перевернутый бинокль смотреть, а я, глупый, приближал. На эндурца всегда надо в перевернутый бинокль смотреть, подальше от него держаться... И в том, что я тогда чуть не сверзился с дерева был божеский знак, но я его не понял. „Осторожно, эндурка!“ — крикнул мне бог, но я тогда его не понял, а теперь что... Теперь поздно...

— Дядя Сандро, — спросил я, — а что вы вообще думаете о женщинах?

— Всякой женщине, — мимоходом ответил дядя Сандро, явно продолжая думать об эндурцах, — можешь сказать одно и никогда не ошибешься: — При таком характере могла бы быть покрасивее... Но эндурцы — это совсем другой разговор...

Дядя Сандро разглаживает усы, явно довольный, что добавил еще несколько штрихов к неустанно создаемому психологическому облику эндурцев. Он задумчиво затихает.

Я вытягиваю из стакана кислую прохладу айрана и взвешиваю в уме афоризм дяди Сандро. По-моему — он просто хорош. Я думаю, не выдать ли его в кругу друзей за собственный экспромт... Или сохранить для очередной главы романа о жизни дяди Сандро? После некоторых колебаний прихожу к выводу, что не стоит выбалтывать. Растащат, потом не докажешь, что ты первым его раздобыл. Вот так, ради творчества, приходится себя во всем ограничивать, а что оно дает?

С веранды доносится шорох стручков, которые, все еще поворачивая, перебирает тетя Катя. В окно веранды, щебетнув на лету, влетает ласточка и, косо полоснув пространство помещения (она это сделала быстрее, чем я описал), вылетела в другое окно. Какая ей была надобность влетать в веранду и вылетать из нее? Никакой, чистое озорство. Но это знак жизни, ее восторженная роспись в воздухе, и этим все оправдано.

Солнце греет, но не печет. В густозеленой листве корявых мандариновых деревьев золотятся зреющие мандарины. Отсюда, с холма видны пригородные дома, окруженные фруктовыми деревьями, среди которых бросаются в глаза оголенные от листьев деревья хурмы,

ветки которых как бы утыканы багряными плодами.

— Дядя Сандро, — спрашиваю я, решив отблагодарить его за афоризм, — что это я часто слышу, что наши эндурцев называют парашотистами?

— Так оно и есть, — оживляется дядя Сандро, — их сейчас на парашютах спускают к нам.

— Кто спускает? — спросил я.

— Неизвестное, но враждебное государство, — твердо отчает дядя Сандро.

— Неужели вы можете поверить, — говорю я, — что несмотря на погранзаставы, радарные установки и всякую технику, иностранные самолеты могут залетать на нашу территорию и сбрасывать парашотистов?

— Зачем мне верить, если я точно знаю, — отвечает дядя Сандро, — горные пастухи то и дело находят в горах парашюты. А сколько тысяч таких парашютов гниет в непроходимых лесах? Между прочим, хороший материал, говорят... Ему сносу нет...

— Вы видели такого пастуха?

— Нет, — говорит дядя Сандро, — я что, председатель колхоза, что ли? Да он и председателю не покажет, чтобы парашют не сдавать в милицию. Прекрасный заграничный материал... И на летний костюм хорош, и на матрац годится, и палатку можно из него сделать — не протекает.

— Дядя Сандро, — сказал я спокойно и твердо, — это абсолютно невозможно.

— Ну да, — сказал дядя Сандро и поднес айву к лицу, — ты поверишь тогда, когда эндурец прямо на голову тебе спустится... Но он не такой дурак...

— Ну, как это возможно, — начал я слегка повышать голос, — ведь эндурцы жили в наших краях, когда еще самолетов не было?

— Ну и что, — невозмутимо ответил дядя Сандро и снова понюхал айву, — самолетов не было, но парашюты были...

— Но как же парашюты могли быть, когда самолетов не было?! — попытался я достучаться до логики.

— Ты, как палка, все прямо понимаешь, — сказал дядя Сандро и, положив айву на шкуру, продолжал, — для каждого времени свой парашют. Вот ты смеешься, когда я говорю, что эндурцы опутали нас по рукам и по ногам. Но я с тобой иду на спор. Возвращаясь в город, ты будешь идти мимо Дома Правительства, где все наши министерства. Выбирай любой этаж и пройди подряд десять кабинетов. И если в восьми не будут сидеть эндурцы, я выставлю тебе и любым твоим друзьям хороший стол и даю клятву больше ни разу не говорить об эндурцах.

— Вы это всерьез?! — спросил я, пораженный таким оборотом

разговора. Дело в том, что его домыслы об эндурцах никогда не опирались на цифры, а теперь он вдруг прямо обратился к статистике.

— Конечно, — сказал дядя Сандро и, приподняв львиномордую айву, внюхался в нее, как эстет в розу, — но если ты проиграешь, ты выставишь мне стол в ресторане и признаешься перед всеми моими друзьями, что ты был слепой телок, которого дядя Сандро всю жизнь тыкал в сосцы правды.

— Идет! — согласился я и тут же вспомнил, что он говорил мне неделю назад.

Дело в том, что новый секретарь ЦК Грузии Шаварнадзе начал кампанию по борьбе со всякого рода взяточниками и казнокрадами. В связи с этим в нашем городе, как и во всех других городах Грузии и Абхазии пробежал слух, что теперь крайне опасно кутить в ресторанах, потому что туда приходят переодетые работники следственных органов и устанавливают, кто именно прокучивает ворованные деньги.

Неделю тому назад в разговоре со мной, коснувшись этой темы, дядя Сандро сказал, что теперь он никогда не войдет в ресторан, даже если его шапку туда закинут. Этим самым он одновременно намекал, что имеет какое-то отношение к подпольной жизни местных воротил, хотя я точно знал, что он никакого отношения к ним не имеет. Сиживал за их столами, пивал их напитки, но к делам никогда не допускался. Это я знал точно. Сейчас в связи с нашим спором я ему напомнил его высказывание насчет шапки, закинутой в ресторан.

— Ты меня не так понял, — сказал дядя Сандро, — те люди, которые следят за посетителями ресторанов, смотрят, кто будет расплачиваться. А тут я уверен, что расплачиваться будешь ты.

— Хорошо, посмотрим, — сказал я и, попрощавшись с дядей Сандро, стал уходить. Я уже спускался по тропке, ведущей к калитке, когда из-за мандариновых кустов услышал его зычный голос:

— Когда будешь заказывать стол, скажи, что дядя Сандро будет за столом, а то тебе подсунет плохое вино... тот же эндурец!

Через двадцать минут я уже был возле Дома Правительства. Я на минуту замешкался у входа. Я здорово волновался. Я сам не ожидал, что так буду волноваться. Я не знал, какой этаж выбрать для чистоты эксперимента. Почему-то я остановился на третьем. Он мне показался наиболее свободным от игры случая.

Перешагивая через одну-две ступеньки, я вымахал на третий этаж. Передо мной был огромный коридор, по которому лениво проходили какие-то люди, пронося в руках дрябло колыхающиеся бумаги.

Я пошел по коридору и, отсчитав справа, почему-то именно справа, десять кабинетов, распахнул дверь в последний и остановился в дверях.

За столом сидел лысоватый немолодой эндурец и, когда я открыл дверь, он посмотрел на меня с тем неповторимым выражением тускло-

го недоумения, с которым смотрят только эндурцы и притом только на чужаков.

Я быстро закрыл дверь и направился к следующему кабинету. Толкнул дверь, и сразу же мне в лицо ударила громкая эндурская речь. За столом сидел эндурец, и двое других эндурцев стояли у стола. Говорили все трое, и все трое замолкли на полуслове, как только я появился в дверях, словно обсуждался план заговора. Замолкнув, все трое уставились на меня.

Гейзер паники вытолкнул в мою голову мощную струю крови! Я распахивал дверь за дверью, и как в страшном школьном сне, когда тебе снится, что экзаменатор отвернулся от стола и разговаривает с кем-то, а ты переворачиваешь билеты в поисках счастливого, но в каждом незнакомые вопросы, а ты все ищешь счастливый билет, уже тоскуя по первому, который все-таки был полегче остальных, а счастливый все не попадается, а экзаменатор вот-вот повернется к столу, и у тебя уже не будет возможности выбрать билет, и ты уже забыл, где лежит тот, первый, что был полегче остальных, и по хитровой улыбке экзаменатора, который теперь слегка развернулся к тебе и договаривает то, что он говорил кому-то, но ты понимаешь, что улыбается он тому, что делаешь ты, и ты вдруг догадываешься, что он все это знал заранее, что он нарочно отвернулся, чтобы полнее унижить тебя, вот так и я...

Вот так и я открыл восемь дверей, и в каждом из восьми кабинетов сидел эндурец. И я в отчаянии открыл девятую дверь. В кабинете оказался очень молодой эндурец, и он очень доброжелательно посмотрел на меня. Я рванулся к нему и замер у стола. Сидя за столом, он кротко и внимательно следил за мной.

— Извините, — сказал я, — я хочу вам задать один вопрос.

— Пожалуйста, — ответил он, застенчиво улыбаясь и тем самым как бы беря на себя часть моего волнения.

— Вы эндурец? — спросил я, может быть слишком прямо, а, может быть, самой интонацией голоса, умоляя его оказаться не эндурцем, или, в крайнем случае, отказаться от эндурства.

Молодой человек заметно погрузстнел. Потом, бессильно прижав ладони к груди, он встал и, склонив как бы отчасти признающую себя повинной голову, промолвил:

— Да... А что, нельзя быть эндурцем?

— Нет! Нет! — крикнул я, — что вы! Конечно, можно! Правь, Эндурия, правь!

С этими словами я выскочил из кабинета и, не переставая бормотать: — Правь, Эндурия, правь! — скатился с третьего этажа и вырвался на воздух.

Я очнулся у моря в открытой кофейне, где для успокоения души заказал себе две чашки кофе по-турецки. То, что дядя Сандро оказался

прав, потрясло меня. Однако, после первой чашки, поуспокоившись и поостыв на морском ветерке, я вдруг понял, что только в двух кабинетах сидели безусловные эндурцы — это там, где громко разговаривали по-эндурски и осеклись, когда я открыл дверь, и там, где молодой человек склонил свою отчасти признающую себя повинной голову. Остальное дорисовало мое испуганное воображение. Второе открытие потрясло меня еще больше, чем первое. Значит, и я способен поддаваться этой мистике?!

Теперь я понял, как это получилось. Сначала я был абсолютно уверен, что утверждение дяди Сандро безумно. Но в самой глубине души мне хотелось, чтобы восторжествовала не убогая реальность действительности, а фантастическая реальность; хотелось, чтобы жизнь была глубже, таинственней. Поэтому, признав первого владельца кабинета эндурцем, я как бы дал фору маловероятной мистике, но когда во втором кабинете оказались эндурцы, да еще так внезапно и враждебно осеклись, когда я открыл кабинет, произошла мгновенная кристаллизация идеи. Очень уж неприятно, когда люди осекаются на полуслове при виде тебя.

Впрочем... Теперь мне было легче выставить дяде Сандро стол, чем повторять эксперимент.

Интересно отметить, что среди гостей, которых дядя Сандро привел в ресторан, трое оказались эндурцами. Он и раньше с ними встречался, вступая с ними в идеологические поединки. И сейчас двое эндурцев в течение почти всего вечера спорили с дядей Сандро, кстати, вполне академично, пытаюсь доказать, что они, эндурцы, менее коварны, чем абхазцы. Дядя Сандро доказывал обратное.

— Ваши ядами приторговывают, вот что плохо, — начал один из эндурцев и вдруг изложил вариант текста, весьма близкий каноническому, если только текст дяди Сандро принять за таковой. Я посмотрел на дядю Сандро, но он ничуть не смутился. Холодным, твердым взглядом он опрокинул мой скептический взгляд, даже как бы приказал мне: — Не верь! Тавтология мнима.

А между прочим, третий эндурец почему-то отмалчивался, попивая вино и прислушиваясь к спорящим. Я спросил у него, что он думает по поводу этого спора.

— Он прав, — неожиданно сказал этот эндурец, кивнув на дядю Сандро. Глаза его были печальны.

Мне стало его ужасно жалко, и я, не зная, как его утешить, взял из общего блюда самую большую форель, так нежно зажаренную, что на шкурке ее все еще прозолачивались девственные крапинки, и переложил в его тарелку.

— Все это ерунда, — сказал я, легонько похлопав по его согбенной спине, поощряя ее в сторону распрямления, — не обращай внимания, ешь!

Спина его не вняла моему поощрительному похлопыванию, а оборот затвердела, отстаивая свою форму. Тем не менее этот печальный эндурец взялся за форель, обратив на нее свою сиротливую согбенность.

(Кстати читатель может здесь опрометчиво схватить меня за руку и сказать: — Неправда! В каком это ресторане Абхазии в наше время можно заказать форель?! — Отвечаю: — Почти в любом, но только в том случае, если вы находитесь в обществе дяди Сандро.)

Одним словом, вечер прошел неплохо, тем более, что кроме основной темы были и другие, достаточно забавные. Заполночь мы расстались с застольцами, и часть пути до дому шли с дядей Сандро. Я вспомнил эндурца с печальными глазами и спросил, что он о нем думает.

— Эндурец, признающий коварство эндурцев, — сказал дядя Сандро назидательно, — это и есть самый коварный эндурец. Признавая коварство эндурцев, он делает нас добродушными, а потом уже через наше добродушие еще легче добивается своих эндурских целей.

На этом мы расстались с дядей Сандро. Кстати, и без дяди Сандро у нас в городе относительно эндурцев говорится черт знает что. Так, два-три раза в году город наполняется слухами, что эндурцы захватили власть в Москве. Как захватили, почему захватили, и главное, кто допустил, что захватили, — неизвестно. Все знают одно: эндурцы захватили власть в Москве.

При этом говорится, что одной из первых реформ в стране, которую проведут эндурцы в ближайшее время, — это объявление всех народов нашей страны эндурцами, правда, с указанием атавистических оттенков, как то: русские эндурцы, украинские эндурцы, эстонские эндурцы, грузинские эндурцы, армянские эндурцы, еврейские эндурцы и так далее. Сами эндурцы будут называться — эндурские эндурцы — со скромным пояснением — коренное население. Однако без указания — коренное население какого именно края или республики, или страны? Или земного шара? Эта зловещая недоговоренность больше всего пугала наших.

— Они, выходит, коренное население? Значит, мы пришлые?

— Выходит, — вздыхает собеседник.

Слухи о захвате власти эндурцами, обычно держатся с неделю. В таких случаях попытка навести справку у самих эндурцев обычно ни к чему не приводит.

— Да нет, — уклончиво отвечает эндурец, — вечно у нас преувеличивают...

В таких случаях наши иногда бросаются с расспросами к москвичам, которые только что приехали к нам отдыхать. Но и они толком ничего не знают, хотя, между прочим, не слишком скрывают опасе-

ния быть захваченными кем-нибудь.

— Лишь бы не китайцы, — говорят москвичи.

Все эти слухи в основном распространяет эндургенция. Считаю, что пора объяснить, что это такое. Наша интеллигенция давным-давно расслоилась на две части. Меньшая ее часть все еще героически остается интеллигенцией в старом русском смысле этого слова, а большая ее часть превратилась в эндургенцию.

Внутри самой эндургенции можно разглядеть три типа: либеральная эндургенция, патриотическая эндургенция и правительствующая эндургенция.

Либеральная эндургенция обычно плохо работает, полагая, что плохо работая в своей области, она тем самым хорошо работает на демократическое будущее. Понимает демократию, как полное подчинение всех ее образу мыслей.

Дома при своих или в гостях у своих всегда ругают правительство за то, что оно не движется в сторону парламента.

Глядя на просторы родины чудесной, нередко впадают в уныние, представляя грандиозный объем работ предстоящей либерализации.

Однако, при наличии взятки легко взбадриваются и четко выполняют порученное им дело. Взятки берут в том или ином виде, но предпочитают в ином. Берут с оттенком собирания средств в фонд борьбы за демократию.

Патриотическая эндургенция и ее местные национальные ответвления. Подобно тому как их отцы и деды делали карьеру на интернационализме, эти делают карьеру на патриотизме. Внутри старой идеологии патриотическая идеология существует, как сертификаты внутри общегосударственных денежных знаков.

Обычно плохо работает и плохо знает свою профессию, считая, что приобретение знаний, часто связанное с использованием иностранных источников, принципиально несовместимо с любовью к родине. Элегически вспоминает золотые тридцатые годы, а также серебряные сороковые. Часто ругает правительство за то, что оно превратилось в парламентскую говорильню. Это не мешает ей время от времени входить в правительство с предложением: пытающихся эпатировать — этапировать.

Патриотическая эндургенция считает своим долгом все беды страны сваливать на представителей других наций. Эту свою привычку любит выдавать за выражение бесхитростного прямодушия.

С восторгом глядя на просторы родины чудесной, в конце концов приходит в уныние, вспоминая, сколько инородцев на ней расположились. Однако при наличии взятки быстро взбадриваются и довольно сносно выполняет порученное дело. Взятки берет в том или ином виде, но предпочитает в том. Берет с намеком собирания средств на алтарь отечества. Судя по размерам взяток — алтарь в плачевном со-

стоянии.

Правительствующая эндургенция. Работает плохо, считая, что любовь к правительству отнимает столько сил, что ни о какой серьезной работе не может быть и речи. Правительствующая эндургенция тоже иногда поругивает правительство за то, что оно, не замечая ее одинокой любви, недостаточно быстро выдвигает ее на руководящие должности.

Эндургенцию двух других категорий ненавидит, но патристическую побаивается и кое-что ей уступает, боясь, что иначе она отнимет все. Считая свое умственное состояние государственной тайной, с иностранцами никогда не заговаривает, а только улыбается им извиняющейся улыбкой глухонемого.

Глядя на просторы родины чудесной, иногда впадает в уныние, представляя сколько инакомыслящих может скрываться на такой огромной территории. Однако при наличии взятки легко утешается и довольно четко выполняет порученное дело. Одинаково берет как в том, так и в ином виде. Берет с оттенком помощи вечно борющемуся Вьетнаму.

Любимое занятие — рассказывать, а если под рукой карта, и показывать, сколько иностранных государств могло бы вместиться на просторах родины чудесной.

Но пора вернуться к нашей теме. Обычно в таких случаях, когда слух о том, что эндурцы захватили власть в Москве еще держится, любую случайность принимают за тайный знак.

Например, все сидят у телевизоров и смотрят проводы какого-нибудь министра. Ну, министры, как известно, куда-нибудь уезжая, целуются с остальными министрами. Так уж принято у нас — футболисты, хоккеисты, министры — все целуются на экранах телевизоров.

И вот, значит, министры целуются и вдруг в толпе провожающих какой-нибудь третьестепенный, а главное никому неизвестный руководитель хитровато улыбнулся с заднего плана, и тут сидящие у телевизоров издают грохот, какой бывает на стадионе, когда забивают гол.

— Он! Он! — кричат все в один голос, — все в его руках!

Интересно, что через несколько дней, когда все убеждаются, что ничего не случилось, и страна плавно движется в прежнем направлении, слухи эти полностью отменяются.

— Видно, что-то сорвалось, — говорят наши, — но разве теперь узнаешь что...

Однажды в центральной газете ругали одного дирижера. Ну, подумаешь, ругают дирижера, кому это интересно. Но когда через неделю в той же газете, ничего не говоря о его предыдущих ошибках, сообщили, что он с огромным успехом дает концерты в Америке, мухусчане пришли в неслыханное волнение. Ведь такого не бывало никогда! Номер газеты, где ругали дирижера, многими легкомыслен-

но порванный или выброшенный, предприимчивые люди для ясности сопоставления стали продавать за десять рублей и достать его было невозможно.

Сравнивая обе заметки, мухусчане пришли к выводу, что эндурцы установили полный контроль над правительством. И сейчас, давая наперекор прежней, положительную заметку о концертах дирижера, они показывают, что теперь они все перевернули, и теперь все будет наоборот.

При этом, как водится, наши заглядывали в лица местных эндурцев, чтобы установить, как они намерены вести себя в связи с таким необыкновенным возвышением.

Но эндурцы вели себя с таинственной сдержанностью, что оптимистами понималось, как обещание лояльности по отношению к нашим, а пессимистами понималось, как временная уловка в связи с переброской основных сил на русских.

Одним словом, у нас все время чего-то ждут. И хотя сам ты давно ничего не ждешь и доказываешь другим, что ждать нечего, ты невольно и сам начинаешь ждать, чтобы, когда кончится время ожидания других, напомнить им, что ты был прав, говоря, что ждать было нечего. А так как время ожидания других никогда не кончается — вот и выходит, что и ты вместе со всеми ждешь, что у нас все всё время чего-то ждут.

В сущности, это даже не плохо. Было бы ужасно, если бы люди ничего не ждали. Смирись, гордый человек, и живи себе в кротком или бурном, как мои земляки, ожидании чего-то.

Однако, становится грустно. Вот так, начинаешь за здравие, а кончаешь за упокой...

Что смолкнул веселия глас? Русь, дай ответ?! Не дает ответа. Дядя Сандро, дай ответ? Иногда дает.

ХАРЛАМПО И ДЕСПИНА

Чувствую, что пришло время рассказать о великой любви Харлампо к Деспине. Харлампо, пастух старого Хабуга, был обручен с Деспиной. Они были из одного села, из Анастасовки.

Деспина Иорданиди была дочерью зажиточного крестьянина, который по местным понятиям считался аристократом. Харлампо был сыном бедного крестьянина, и хотя отец Деспины разрешил им обручиться, он отказывался выдавать дочь замуж, пока Харлампо не обзаведется домом и своим хозяйством. В этом была драма их любви.

У Харлампо в доме оставалось девять братьев и сестер. Харлампо был старшим сыном своего отца. Следом за ним шла целая вереница сестер, которых надо было выдавать замуж и готовить им приданое. Поэтому Харлампо весь свой заработок отправлял в семью и никак не мог обзавестись собственным хозяйством. А без этого отец Деспины отказывался выдать за него свою дочь. Повидимому, не сумев прямо отговорить ее выходить замуж за Харлампо, отец надеялся, что ей надоест ожидать жениха и она выйдет замуж за более состоятельного грека.

Но Деспина оказалась преданной и терпеливой невестой. Семь лет она ждала своего жениха, а о том, что случилось на восьмой год, мы расскажем на этих страницах.

Все эти годы, дожидаясь возможности жениться на своей невесте, Харлампо никогда не забывал о нанесенном отцом Деспины, ее патэро, оскорблении его дому, ему самому и, в конце концов, Деспине.

— О, патера, — произносил он сквозь зубы несколько раз в день без всякого внешнего повода и было ясно, что в душе его, никогда не затухая, бушует пламя обиды.

— О, патера?! — произносил он иногда с гневным удивлением, подняв глаза к небу, и тогда можно было понять его так: „Отец небесный, разве это отец?!“

Два-три раза в году Деспина навещала своего жениха. Она по-

являлась в Большом Доме в сопровождении худенькой, шустрой старушки в черном сатиновом платье, тетушки Хрисулы, которая играла при своей племяннице роль девохранительницы, хотя пыталась иногда довольно наивным образом скрывать эту роль.

Тетушка Хрисула, сестра отца Деспины, никогда не имела своей семьи, в сущности она воспитала Деспину и не чаяла в ней души. Повидимому, Деспина тоже любила свою тетушку, иначе было бы трудно объяснить, как она ни разу не взорвавшись, терпела ее бесконечные поучения. Тетушка Хрисула часто с гордостью повторяла, что вскормила Деспину исключительно двухжелтошными яйцами.

И это было видно по ее племяннице. Деспина была жизнерадостная, сильная девушка, с широкими бедрами, с приятным, необычайно белым лицом. Белизмой ее лица гордилась она сама, гордилась тетушка Хрисула, гордился Харлампо, с выражением сумрачного удовольствия слушавший, когда кто-нибудь из чегемцев удивлялся ее необычайно белому лицу, которому странно не соответствовали ее крепкие, загорелые, крестьянские руки.

Длинные каштановые косы Деспины, когда она ходила, шевелились на ее бедрах, а на голове всегда была синяя косынка, которой она, выходя на солнце, почти как чадрой, занавешивала лицо. Глазки ее были такие же синие, как ее косынка, и так как она косынку никогда не снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно посинели от постоянного отражения цвета косынки.

Так вот. Если Деспина, бывало, забывшись, на минуту выходила на солнце, не сдвинув косынку на лицо, тетушка Хрисула тут же ее окликала:

— Деспина!

И Деспина привычным, ловким движением стягивала косынку на лицо. Повидимому, тетушкой Хрисулой, а, может, и другими родственниками Деспины обыкновенный загар рассматривался как частичная потеря невинности.

В доме старого Хабуга, безусловно, по его прямому повелению, Деспину и ее тетушку принимали очень почтительно.

Обычно, если в доме не было гостей, все мы усаживались за низенький, длинный, абхазский стол, во главе которого всегда восседал старый Хабуг. Но если были гости, взрослые мужчины во главе с дедушкой садились за обыкновенный (русский, по чегемским понятиям) стол. Харлампо в таких случаях за этот стол никогда не сажали. Его сажали вместе с нами, детьми, подростками, женщинами (домашними женщинами, конечно) за низенький стол.

И хотя многие годы этот обряд оставался неизменным, Харлампо всегда болезненно воспринимал, что его не сажают рядом с гостями. Это было видно по выражению его лица, и тетя Нуца, моя тетя, видимо, пытаясь задобрить его, то и дело подкладывала ему самые

вкусные куски с гостевого стола.

Харлампо, конечно, съедал все, что она ему давала, но как бы демонстративно отключив всякое личное удовольствие. Это было видно по сдержанной презрительной работе его челюстей, по какому-то насильственному глотательному движению, и мне порой казалось, что он каким-то образом даже приостанавливает действие слюнных желез. Его лицо говорило: да, да, я затолкал в себя все, что вы мне дали, но вкуса не почувствовал, не мог почувствовать и не хочу почувствовать.

Когда же Деспина с тетушкой Хрисулой приезжали навестить Харлампо, старый Хабуг сажал их вместе с ним за гостевой стол, а мы, все остальные, усаживались за обычный.

В такие часы чувствовалось, что Харлампо в душе ликует, хотя внешне остается, как всегда, сумрачно сдержанным. Оттуда, из-за высокого стола, он иногда поглядывал на нас со странным выражением, как бы стараясь себе представить, что чувствует человек, когда его сажают за низенький стол, и, как бы не в силах себе это представить, отворачивался.

Временами он бросал взгляд на свою невесту и тетушку Хрисулу, стараясь внушить им своим взглядом, что вот он здесь сидит с дедушкой Хабугом, что он в сущности в этом доме не какой-нибудь там нанятый пастух, а почти член семьи.

Старый Хабуг на все эти тонкости не обращал внимания. У него была своя линия, которую можно было так расшифровать: я принимаю твоих гостей на самом высоком уровне, потому что знаю, что это полезно для твоих отношений с невестой. А то, что я тебя не сажаю за высокий стол с моими гостями, это дело моих обычаев и мне безразлично, что ты переживаешь по этому поводу.

Тетушка Хрисула и Деспина гостили в Большом Доме иногда неделю, иногда две. Бывало, по вечерам в кухне или на веранде собирались молодые чегемцы, и Деспина с удовольствием с ними болтала по-русски или по-турецки, порой безудержно хохоча шуткам чегемских парней, на что неизменно получала замечание от тетушки Хрисулы.

— Кендрепесо, Деспина! (Не стыдно, Деспина!), — говорила она и что-то добавляла по-гречески, судя по движению ее губ, показывала пределы приличия, на которые во время смеха может раздвигать губы аристократическая девушка — „аристократико кóрице”. Деспина быстро прикрывала рот большой загорелой ладонью, но через несколько минут забывалась и снова закатывалась в хохоте.

Иногда, даже если Деспина и не хохотала, а просто слишком оживленно разговаривала с каким-нибудь из чегемских парней, тетушка Хрисула снова делала ей замечание.

— Деспина! — предупреждала ее тетушка Хрисула и, обращаясь

к тете Нуце, говорила, что Деспина здесь в Чегеме совсем отбилась от рук, ошалев от встречи с Харлампо. Там, в Анастасовке, говорила она, Деспина с чужими людьми не разговаривает и ее многие принимают за немую.

— Какая хорошая девушка, — нередко говорят чужие люди, попадая в Анастасовку, — как жаль, что она немая.

Тут Деспина снова закатывалась в хохоте, и тетушка Хрисула снова бросала ей голосом полным укоризны:

— Кендрепесо, Деспина!

Харлампо следил за Деспиной со спокойным, сумрачным обожанием и было ясно, что в его представлении все происходящее в порядке вещей, что „аристократико корице” только так себя и ведет.

Иногда Харлампо, пригоняя коз, возвращался домой с большой кладью дров и с каким-то неизменным, подчеркнутым грохотом очаголюбия сбрасывал ее с плеча у кухонной стены (сбросить явно можно было и помягче), а тетя Нуца, где бы она ни была в это время, благодарным эхом отзывалась на этот грохот:

— Пришел наш кормилец!

И подобно тому, как Харлампо, сбрасывая дрова, подчеркивал грохот очаголюбия, чтобы его приход был слышен во всем доме, так же тетя Нуца громким голосом добрасывала до Харлампо свою преувеличенную благодарность.

Во время пребывания тетушки Хрисулы и Деспины в Большом Доме Харлампо этот грохот очаголюбия доводил до верхнего предела. Он сбрасывал дрова, не только не наклоняясь, как обычно, но теперь, даже и не заходя на кухонную веранду, а только дойдя до нее, сильным толчком плеча добрасывал тяжелую кладь до кухонной стены.

Обычно после этого Харлампо озирался и, поймав глазами тетушку Хрисулу, через нее, как через передаточную станцию, отправлял отцу Деспины свой незатухающий, свой сумрачный укор.

— О, патера, — иногда при этом выклакатывало из него.

— Деспина, — тихо говорила тетушка Хрисула, несколько подавленная этим грохотом очаголюбия Харлампо, справедливостью его укора и, может быть, самой своей ролью передаточной станции, — полей Харлампо.

Деспина быстро отправлялась на кухню и выходила оттуда с полотенцем, перекинутым через плечо, с мылом и кувшинчиком с водой, Харлампо стягивал с себя рубашку и, оставаясь в майке, обнажал могучие голые руки и мощные плечи.

Вид полуголого Харлампо возвращал тетушку Хрисулу к тревожной яви. Минутной подавленности как ни бывало. Покинув свое место на веранде, примыкающей к горнице, она останавливалась в непосредственной близости от Деспины, поливающей воду Харлампо.

Тетушка Хрисула впивалась в них глазами, и они под ее взглядом как-то замирали, старательно подчеркивая свою телесную разьединенность и самой скульптурной силой этого старания обнажая тайную взаимоустремленность, что вызывало некоторое неясное беспокойство тетушки Хрисулы.

И вот, наблюдая за тем, как Деспина поливает воду Харлампю, следя за кристальной струей, льющейся из кувшинчика, который держит целомудренно приподнятая, сильная рука девушки, тетушка Хрисула начинала волноваться, когда струя эта укорачивалась, то есть Деспина приближала руку с кувшинчиком к затылку Харлампю или к его выставленному предплечью.

— Деспина! — раздавался предостерегающий голос тетушки Хрисулы, и девушка снова приподымала руку с кувшинчиком.

Умывшись, Харлампю разгibasлся и протягивал ладонь к полотенцу, висящему на плече у девушки, причем самым замедленным движением ладони (видите, как я владею собой), а также наглядно выставленными двумя пальцами, он заранее давал убедиться в исключительной функциональности своего намеренья ухватиться за край полотенца.

— Деспина, — все-таки считала тетушка Хрисула не лишним напомнить о приближающейся опасности.

Стоит ли говорить, что за все дни пребывания Деспины в Большом Доме, тетушка Хрисула не выпускала из виду свою племянницу. О том, чтобы Деспина вместе с Харлампю удалилась в сад или пошла к соседям, не могло быть и речи. Иногда Харлампю брал их с собой в лес, куда он ходил пасти коз. Тетушка Хрисула возвращалась оттуда с губами, измазанными, как у девочки, соком черники, ежевики или лавровишни.

Надо сказать, что тетушка Хрисула отличалась необыкновенным не только для аристократической старушки, но и для обычной старушки, аппетитом. Просто было непостижимо, куда это все идет, учитывая, что она была довольно сухонькая старушка.

Но тетушка Хрисула любила не только поесть, она была большой охотницей и до домашней водочки. И опять же, учитывая, что она была, хоть и шустрая и не очень старая старушка, но все-таки старушка, выпить она могла довольно-таки порядочно. Пять-шесть рюмок она выпивала запросто.

Чегемские ребята нарочно старались ее как следует угостить, чтобы она уснула и оставила вдвоем Деспину и Харлампю. Но тетушка Хрисула никогда настолько не пьянела, чтобы лечь спать, она только, слегка размякнув, прижималась головой к плечу Деспины и что-то растроганно говорила своей племяннице.

И милая Деспиночка нисколько не ругала свою тетушку, а, наоборот, жалела, целуя смуглое, слегка сморщенное личико, приник-

шее к ее молодому плечу и что-то ласково приговаривала. Тетушка Хрисула ей что-то лепетала в ответ. И эта взаимная воркотня, с равномерными паузами, вздохами тетушки Хрисулы и повторами, как-то сама собой делалась понятной, словно они говорили по-русски или по-абхазски.

— Хрисула — глупышка, Хрисула немножко перебрала...

— Деспина, прости свою глупую старушку...

— Хрисула глупенькая, Сула немножко перебрала...

— Деспина, прости свою старую старушку...

Чегемские ребята, знавшие долгую горестную историю любви Харлампо, нередко предлагали ему найти удобный случай и овладеть Деспиной, тогда ее отцу некуда будет деться и он, наконец, выдаст ее замуж, не дожидаясь, пока Харлампо обзаведется хозяйством.

Они даже предлагали, раз тетушка Хрисула не оставляет их вдвоем, удрать от нее в лесу, сделать свое дело, а потом вернуться к ней. Только, чтобы она не затерялась в лесу, уточнял кто-нибудь при этом, надо сначала снять с какой-нибудь козы колоколец и надеть ей на шею.

Нет, поправлял другой, колоколец не поможет, потому что тетушка Хрисула так и будет бежать за ними, гремя колокольцем и ни на шаг не отставая. Лучший способ, пояснял он, это привязать ее к дереву хорошими лианами, только нельзя слишком задерживаться, а то ее комары заедят.

Нет, уточнял третий, раз уж на такое дело решились — спешить не стоит. Но, чтобы тетушку Хрисулу не заели комары, надо, привязав ее к дереву, рядом с ней развести костерок, подбросив в него гнилушек, чтобы он хорошо дымил.

Харлампо все эти советы выслушивал с сумрачным вниманием, без тени улыбки и отрицательным движением головы отвергал их.

— Деспина не простая, — говорил он, — Деспина аристократиса.

Многозначительно покачивая головой, он давал знать, что если таким способом и можно жениться на обыкновенной девушке, на аристократке нельзя.

Несмотря на ясный ответ Харлампо о том, что он не собирается таким путем жениться на Деспине, каждый раз, когда он погоняя коз, возвращался из лесу вместе с Деспиной и тетушкой Хрисулой, чегемские ребята издали вопросительно смотрели на него и, помахивая рукой, задавали безмолвный вопрос: мол, что-нибудь получилось?

Харлампо опять же издали ловил их вопросительные взгляды и твердым, отрицательным движением головы показывал, что он не собирается таким коварным путем овладеть любимой девушкой. Возможно, тут сказывалась его затаенная под лавиной унижений гор-

дось, его уверенность, что он, столько прождавший, в конце концов, законным путем получит то, что принадлежит ему по праву любви.

(Вспоминая облик Харлампо и особенно его этот взгляд, я часто думал, что нечто похожее я неоднократно встречал в своей жизни. Но долго никак не мог понять, что именно. И вот, наконец, вспомнил. Да, точно так, как Харлампо, интеллигенция наша смотрит на людей, предлагающих насильственно овладеть Демократией: тоже гречанка, как и Деспина. И точно так же, как и Харлампо, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви.)

Интересно, что, даже возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпертой с другого плеча топориком-цалдой, и вынужденный из-за этой тяжести идти с опущенной головой, Харлампо, все-таки, увидев чеgemских ребят и терпеливо дождавшись их безмолвного вопроса, не ленился приподнять лицо и твердым, отрицательным движением головы, преодолев затрудненность этого движения из-за вязанки, торчащей над плечом, да, все-таки, преодолев эту затрудненность, он давал ясно знать, что ожидания их напрасны.

Видно, такая заинтересованность чеgemских парней в его любовной истории не казалась ему назойливой, видно, его могучая, замкнутая в своей безысходности, страсть, нуждалась в поддержке доброжелателей или хотя бы зрителей.

Постоянная слезка тетушки Хрисулы за целомудрием Деспины была предметом всевозможных шуток и подначек обитателей Большого Дома и их гостей.

Например, если вечером все сидели на веранде, а Харлампо в это время находился на кухне, кто-нибудь потихоньку просил Деспину, якобы, не в службу, а в дружбу принести что-нибудь из кухни: то ли ножницы, то ли вязанье, то ли шерсть, то ли веретено. Обычно в таких случаях тетушка Хрисула, словно случайно услышав просьбу, успевала вскочить раньше Деспины и побежать на кухню.

Если же удавалось все же отправить Деспину незаметно для тетушки Хрисулы, то она вела себя по-разному в зависимости от многих обстоятельств. К слову сказать, тетушка Хрисула была невероятная говорунья. По этому поводу обитатели Большого Дома отмечали, что рот ее хоть так, хоть этак, но обязательно должен работать.

— Дали бы ей чего-нибудь пожевать, авось замолкнет, — говорил кто-нибудь по-абхазски, когда она своим лопотаньем слегка заморачивала всем головы.

Так вот. Иногда, увлекшись разговором, тетушка Хрисула в самом деле упускала из виду Деспину. Однако опомнившись и сообразив, что она племянницу видела несколько мгновений тому назад,

она спокойно вставала и как бы по своим надобностям уходила на кухню.

Если она замечала, что Деспина куда-то ушла, а Харлампо и все молодые люди, пришедшие в Большой Дом, сидят на месте, то она довольно долго терпела ее отсутствие. И тут обитатели Большого Дома или его гости нарочно пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, запропастилась Деспина.

— А-а-а! — говорила тетушка Хрисула и отмахивалась, мол, и знать не знаю и знать не хочу.

Но если тетушка Хрисула, заметив отсутствие Деспины, вспоминала, что она, скажем, увлекшись разговором, уже минут десять, как выпустила ее из виду, а Харлампо или кто-нибудь из молодых парней тоже исчез, она забывала о всякой маскировке.

— Деспина! — кричала она и вскакивала, словно пытаюсь голосом еще до того, как добежала до кухни, удержать ее от губельного шага.

Любоваться многообразием и богатством тактики тетушки Хрисулы в охране невинности Деспины было любимым занятием обитателей Большого Дома.

Иногда, бывало, и Деспина исчезала на кухне, и тетушка Хрисула прекрасно знает, что Харлампо там, но почему-то никакого волнения не проявляет. Эта тончайшая, по мнению тетушки Хрисулы, хитрость доставляла обитателям Большого Дома особенно утонченной веселье.

— Хрисула, — говорил кто-нибудь и многозначительно кивал в сторону кухни, — там Харлампо и Деспина?!

— А-а-а, — махала рукой тетушка Хрисула, — жених и невеста!

Проходило еще какое-то время, и снова с великой тревогой напоминали тетушке Хрисуле о неприлично затянувшемся пребывании на кухне Деспины и Харлампо.

— А-а-а, — говорила тетушка Хрисула и, махнув рукой, добавляла по-русски, — к чертум!

Чем же объяснить такую беззаботность тетушки Хрисулы? Тетушка Хрисула точно знала, что сейчас на кухне старый Хабуг, но думала, что другие об этом не знают.

Харлампо и дедушка Хабуг ночью спали на кухне. Деспину и тетушку Хрисулу укладывали в лучшей комнате, в зале. И хотя там стояли две кровати и две кушетки, тетушка Хрисула раз и навсегда отказалась спать в отдельной кровати. Она спала вместе с Деспиной. Ложились они в кровать не валиетом, а головой в одну сторону. По уверению моих двоюродных сестричек, спавших в этой же комнате (не исключено, что насмешницы преувеличивали), тетушка Хрисула, укладываясь, наматывала на руку длинную косу Деспины, чтобы та ночью не сбежала к Харлампо.

По уверенью тех же сестриц, тетушка Хрисула за ночь несколь-

ко раз, не просыпаясь, произносила: „Деспина!“ — и опять же, не просыпаясь, подергивала руку, чтобы почувствовать тяжесть головы Деспины, чтобы убедиться, что она не сбежала к Харлампо, добровольно отрезав свою косу.

Однажды, дело было к вечеру, Деспину удалось послать за водой к роднику, именно тогда, когда Харлампо пас коз возле родника, а тетушка Хрисула об этом не знала. Она думала, что он, как обычно, ушел в котловину Сабида. Вернее, так оно и было, но по договоренности с дядей Исой он должен был помогать ему щепить дрань возле родника, и он туда через котловину Сабида перегнал своих коз.

Все обитатели Большого Дома и ближайшие соседи, разумеется, все, кроме старого Хабуга, которого в эти планы никто не посвящал, с любопытством ждали, чем это все кончится.

Деспина явно задерживалась, из чего было ясно, что она там встретилась с Харлампо. Как ни отвлекали тетушку Хрисулу, через некоторое время она забеспокоилась, вышла во двор и стала кричать:

— Деспина! Деспина!

Деспина отозвалась. Громко укоряя ее, тетушка Хрисула пошла ей навстречу. Только она, пройдя скотный двор, вышла за ворота, как по тропе, ведущей к роднику, появилось стадо, в конце которого шла Деспина с кувшином на плече, а рядом важно выхаживал Харлампо. Тетушка Хрисула всплеснула руками и побежала им навстречу.

— Кондрепесо, Деспина! Кондрепесо, Деспина! — кричала она, указывая на Харлампо, который сумрачным выражением лица внушал тетушке Хрисуле, что ее подозрения унижают его достоинство, но он и это вытерпит, как терпит все ради своей великой любви. Деспина, придерживая одной рукой кувшин, другой бойко жестикулировала у самого лица тетушки Хрисулы, и по ее жестам можно было понять, что она совершенно случайно встретила Харлампо, и, в то же время, ее ладонь, несколько раз метнувшаяся в сторону кувшина, как бы указывала, что при таком свидетеле, как медный кувшин, ничего не могло произойти. Повидимому, она настаивала на том, что встретилась с Харлампо, когда уже с кувшином поднималась от родника и ей ничего не оставалось, как продолжить свой путь рядом с Харлампо.

Тут тетушка Хрисула накинулась на Харлампо, и по ее жестам можно было понять, что раз он случайно встретился на дороге один на один со своей невестой, он должен был быстрее вместе с козами уйти вперед (она показала рукой, как это надо было сделать) или отстать (и, опять же, она показала, как это надо было сделать).

Харлампо ей что-то отвечал, и они в это время уже входили

во двор. Судя по интонациям его голоса, ответ его был исполнен сдержанного достоинства и смысл его, вероятно, был в том, что ему незачем бегать от своей невесты, тем более, когда она встречается ему на дороге с кувшином на плече. При этом он выдвинул собственное плечо, как бы согбенное под тяжестью кувшина и как бы настаивая на полной нелепости предположения, что девушка под такой тяжестью может заниматься любовными шашнями.

Отвечая тетушке Хрисуле на ее выпады, Харлампо в то же время сумрачно искал глазами глаза чегемских парней, которые прямо с веранды, вопросительно глядя на него и помахивая рукой, безмолвно спрашивали: „Ну, теперь-то, наконец, тебе что-нибудь удалось?!”

И продолжая отбиваться от нападков тетушки Хрисулы, Харлампо сумрачно смотрел на них и твердым движением головы показывал, что ничего такого не было и не могло быть.

Одним словом, тетушка Хрисула неустанно следила за Деспиной, все время находя самые неожиданные поводы вводить ее в рамки аристократического поведения. Стоило, скажем, Деспине погладить большую кавказскую овчарку, забежавшую на веранду, как тетушка Хрисула, повидимому, находя в облике собаки слишком явно выраженное мужское начало, останавливала ее.

— Деспина, — говорила она и что-то поясняла. Судя по тому, что она при этом показывала на кошку, мирно дремавшую на балюстраде веранды, можно было догадаться, что „аристократико” короче”, даже если она обручена с пастухом Харлампо, не должна забавляться с пастушеской овчаркой, но при этом смело может погладить кошку или даже взять ее на руки.

Молодые чегемцы, которые захаживали в Большой Дом, с удовольствием поглядывали на Деспину, а мой двоюродный брат Чунка, остроязыкий балагур, высокий, тонкий и гибкий, как ореховый прут, даже слегка приударял за ней, насколько это было возможно под неусыпным оком тетушки Хрисулы.

Чунка был внуком брата дедушки Хабуга. Вместе с сестрой Лилишей он жил в нашем дворе в своем доме, хотя большую часть своей жизни проводил с нами в Большом Доме. Отец и мать у него давно умерли. По чегемским обычаям сироту балуют, и среди моих молодых дядей и многоюродных братьев он был самым избалованным.

Харлампо, замечая это внимание к Деспине, не только не ревновал ее, а как бы сумрачно поощрял ухаживания, впрочем, достаточно невинные. Очевидно, ему казалось, что так и должно быть, не может быть, чтобы молодые чегемцы, раз уж им повезло побывать в обществе аристократической девушки, не попытались за ней ухаживать.

Как-то Чунка принес большую деревянную миску, полную слив,

и поставил ее у ног Деспины, сидевшей на веранде вместе с другими женщинами. Девушка благодарно улыбнулась Чунке, потянувшись, достала большую лиловую сливу и только хотела надкусить ее, как тетушка Хрисула выхватила у нее плод.

— Деспина! — воскликнула она и, быстро протирая сливу о подол своего платья, стала ей что-то объяснять.

Повидимому, речь шла о том, что девушка ее круга, прежде чем надкусить сливу, обязательно должна стереть с нее пыльцу, даже если ничего другого нет под рукой, кроме тетушкиного подола. Протирая каждую сливу о подол своего платья, она подавала их Деспине, при этом, конечно, и о себе не забывая.

* * *

Но больше всего тетушка Хрисула любила полакомиться инжиром. Два больших инжировых дерева росли на огороде. Одно дерево было инжиром белого сорта, другое — черного. Тетушка Хрисула особенно любила черный инжир.

Однажды Деспина и Чунка влезли на дерево с черным инжиром. Деспина, сняв сандалии, попыталась первая влезть, но тетушка Хрисула остановила ее и, пропуская вперед Чунку, быстро залопотала что-то. Повидимому, она ей объясняла, что аристократическая девушка, влезая на дерево с чужим мужчиной, всегда пропускает его вперед.

Чунка и Деспина влезли на дерево и, стоя на разных ветках, начали рвать инжир, то сами поедая, то нам подбрасывая. Чунка еще и в корзину успевал собирать.

Мне инжиры бросал только Чунка, а тетушке Хрисуле в основном бросала Деспина, но и Чунка нередко подбрасывал, потому что тетушка Хрисула прямо с ума сходила по черному инжиру. Забыв о своем происхождении (а может, и не забыв), она поела инжиры с необыкновенным проворством, не потрудившись снять с плода кожуру.

Инжиры то и дело шлепались ей на ладони и было удивительно, учитывая ее преклонный возраст, как она ловко их ловила, ни разу не промахнувшись. Иногда переспелый инжир шмякался на ее ладони, но она этим нисколько не смущалась, а прямо-таки слизывала в рот сладостное месиво.

— Одно чудо в своей жизни я совершу, — сказал Чунка по-абхазски, дотягиваясь до ветки и, шурша листьями, осторожно сгибая ее, — когда тетушка Хрисула умрет, я спущусь в Анастасовку с ведром черного инжира. Я подойду к гробу и поднесу ей ко рту инжир. И тут, к ужасу окружающих греков, она разомкнет свою пасть и съест этот инжир. Потом она привстанет и, не сходя с гроба, опорожнит

все ведро, если, конечно, греки, опомнившись, не пристрелят меня самого за то, что я оживил эту прорву.

Пока Чунка это говорил и, сгибая ветку, тянулся к инжиру, тетушка Хрисула, разумеется, ничего не понимая, не сводила с него преданных глаз, очень заинтересованная судьбой именно этого инжира.

Иногда Чунка нарочно подряд бросал ей несколько инжиров, то ли для того, чтобы посмотреть, как она их будет подбирать с земли и есть, то ли для того, чтобы она замолкла, хотя бы на время поедания этих инжиров.

Сам остроязыкий балагур, он, может быть, подревновывал не замолкавшую тетушку Хрисулу, да к тому же она мешала ему настроить Деспину на свой лад. Но когда он ей бросал почти сразу несколько инжиров, тетушка Хрисула, мгновенно перестраиваясь, представляла под летящие инжиры свой многострадальный аристократический подол, куда они и шлепались.

— Одного не пойму, — говорил Чунка в таких случаях по-абхазски, — какого черта я взял с собой корзину, раз эта старуха увязалась за нами...

Когда инжир падал в мои ладони, тетушка Хрисула тоскливым взглядом окидывала мой инжир, и, если он ей казался особенно крупным и спелым, а он ей таким казался почти всегда, она явно жаловалась Деспине, что ее обделяют.

Поедая инжиры, тетушка Хрисула непрерывно тараторила.

— Деспина! — кричала она и, воздев руку, показывала девушке на спелый инжир, который Деспина никак не могла заметить, хотя он был совсем близко от нее. Наконец, отворачивая лопухие, кожистые листья, Деспина добиралась до желанного инжира, срывала, стараясь не раздавить, и кидала тетушке Хрисуле.

— Деспина! Деспина! — вскрикивала она, когда девушка ступала на слишком тонкую ветку.

— Дес-пи-на! — строго окликнула она ее, когда ветка, на которой стояла девушка, оказалась выше, чем ветка, на которой стоял Чунка. При этом она что-то залопотала, для наглядности оглаживая собственное платье и явно напоминая ей, что „аристократико корице”, оказавшись на одном дереве с чужим мужчиной, не должна подыматься на такую высоту, куда чужой мужчина может снизу на нее взглянуть.

Деспина что-то отвечала ей, показывая рукой на ветку, на которой стоял Чунка, и обращая внимание тетушки на то, что с этой ветки кривая взгляда чужого мужчины никак не может нанести ущерба ее скромности.

— Деспина! — сокрушенно крикнула ей в ответ тетушка Хрисула, пораженная ее наивностью и как бы предлагая ей учиться смот-

реть немножко вперед, жестами показала, с какой легкостью при желании Чунка может перескочить со своей ветки на ее ветку.

— Господи! — взмолился Чунка, — да замолкнет она когда-нибудь или нет?! Слушай, выдерни из земли хорошую фасолевую подпорку, потихоньку подойди сзади и хрясни ее, как следует, по башке! Сдохнуть она, конечно, не сдохнет, но, может, замолкнет на полчаса, а я, глядишь, кое-чего и в корзину накидаю. Только такой болван, как я, мог полезть на инжир с корзиной, когда эта объедала стоит под деревом и при этом ни на минуту не замолкает.

Между прочим, отвечая тетушке Хрисуле, бросая ей инжиры и поедая их сама, Деспина, полаявая своими синими глазками, успевала и с Чункой позубоскалить. Переговаривались они по-русски, и тетушка Хрисула несколько раз делала замечание Деспине за то, что она говорит на непонятном ей русском языке, а не говорит на общепонятном турецком. Тетушка Хрисула не могла взять в толк, что разноязыкой нашей деревенской молодежи к этому времени проще всего было говорить по-русски.

— Иди домой — водка, водка! — крикнул ей Чунка по-русски.

Но не тут-то было! Тетушка Хрисула в ответ ему возмущенно залопотала по-гречески, забыв, что Чунка по-гречески не понимает. Из ее лопотанья, в котором несколько раз прозвучало: — Водка! Водка! — можно было понять, что если она, как и многие аристократические старушки и любит выпить две-три рюмки, то это не значит, что она бросит на произвол судьбы здесь на дереве свою любимую племянницу.

— Цирк! — крикнул Чунка, — она меня уже в греки записала!

Чунка с корзиной перелез на другую ветку, и я внизу переместился так, чтобы ему удобней было бросать мне инжиры. Тетушка Хрисула растерянно посмотрела на меня, чувствуя, что теперь Чунке трудновато будет добрасывать до нее инжиры и в то же время не желая показывать свою зависимость от него, сделала пару шагов в мою сторону, что надо было понимать, как случайное, нецеленаправленное перемещение.

Сейчас прямо за мной грозно взмывал сочный куст крапивы. Бросая мне инжир, Чунка приметил его и крикнул мне по-абхазски:

— Ты что, решил ее крапивой отстегать?! От крапивы она только развопится на весь Чегем. Я же тебе сказал — хрясни ее по башке хорошей фасолевой подпоркой! Ты же просился на медвежью охоту. Это и будет тебе проверкой. Хотя, может, ты и прав. Может, как раз наоборот. Может, сначала надо проверить тебя на медведице, а потом пускать на эту невероятную старуху.

Вдруг Чунка дотянулся до огромного, спелого инжира с красной разинутой пастью, осторожно сорвал его, окликнул Деспину и, поцеловав инжир, перебрал его ей. Деспина ловко поймала его, ослепи-

тельно улыбнулась Чунке и, для устойчивости слегка откинувшись спиной на ствол дерева, стала двумя пальчиками очищать инжир от кожуры.

Тетушка Хрисула, видевшая все это, от возмущения онемела. В тишине некоторое время было слышно, как шкурки шлеп! шлеп! шлеп! падают на широкие инжировые листья. Когда тетушка Хрисула пришла в себя, Деспина уже отправляла в рот сладостную мякоть плода.

— Деспина! — истошно закричала тетушка Хрисула и быстро, быстро залопотала, по-видимому, объясняя ей, что аристократическая девушка, оказавшись с чужим мужчиной на одном дереве, не может принимать от него плодов этого дерева, тем более плод, оскверненный его поцелуем. Она поднесла пальцы к губам, показывая до чего отвратителен был этот поцелуй.

Деспина ей что-то отвечала и, судя по движению ее рук, она показывала, что съела инжир, очистив его от шкурки и тем самым нейтрализовав действие оскверняющего поцелуя.

— Деспина! — в отчаянье крикнула тетушка Хрисула и, выбросив обе руки в стороны, что-то пролопотала, по-видимому, означающее: зачем вообще надо было есть этот инжир?!

— У меня один способ заставить замолкнуть эту старуху! — крикнул Чунка и, дотянувшись до инжира, сорвал его и вбросил в корзину, — это прыгнуть с дерева ей на голову вместе с корзинкой. И то сказать — сам я сломаю шею, а она только отряхнется и станет собирать инжиры, выпавшие из моей корзины.

Дожевывая инжир, Деспина что-то ответила тетушке Хрисуле и, судя по движению ее рук и взгляду на ветку, где стоял Чунка, она сказала, что инжир был брошен без ее одобрения и ей ничего не оставалось, как поймать его и съесть.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула, как бы отказываясь осознать самую возможность быть столь неосведомленной в простейших правилах хорошего тона. После этого она снова залопотала, беспрерывным движением рук поясняя свои слова, так что легко было понять, что она имела в виду. Она имела в виду, что даже поймав оскверненный инжир, Деспина могла с честью выйти из этого положения, просто перебросив этот инжир ей, тетушке Хрисуле.

Вся в солнечных пятнах, с лицом, озаренным солнцем, Деспина посмотрела на тетушку Хрисулу с высоты своей ветки ясными, синими глазками, как бы сама удивляясь простоте такого выхода и сожалея, что ей это вовремя не пришло в голову. При этом она рассеянно дожевывала оскверненный инжир, что, по-моему, особенно раздражало тетушку Хрисулу. Махнув рукой, тетушка Хрисула снова залопотала, и я как бы отчетливо услышал начало фразы:

— Оставь, пожалуйста.

— Ты ее трахнул фасоловой подпоркой, а ей хоть бы хны!?! — сказал Чунка, не глядя вниз. Он пробирался к концу ветки, упругими движениями ног то и дело пробуя ее крепость и придерживаясь одной рукой за верхнюю ветку. Почувствовав, что дальше ветка, пожалуй, не выдержит, он остановился, нашел глазами сучок, повесил корзину и, озираясь в поисках спелых инжиров, продолжил свою мысль, — я так и знал. Эту старуху может заставить замолкнуть только моя двустволка. Но надо сразу нажимать на оба курка, опять же сунув ей в рот оба ствола. Иначе глупость получится. Если от ружья до нее будет хотя бы один метр — пули в ужасе перед этой старухой разлетятся в разные стороны.

Вдруг Деспина перелезла со своей ветки на более высокую и скрылась в густой листве инжира. Тетушка Хрисула, воздев голову, несколько секунд молча ожидала, когда она высунется из листвы и кинет ей инжир. Но Деспина почему-то из листвы не высовывалась, а Чунка перелез на эту же ветку и, прежде чем скрыться в густой листве, нахально повесил корзину на сучок, как бы не скрывая, что теперь инжирные дела закончились и начались совсем другие дела. Все произошло в несколько секунд, если они и сговорились, то мы внизу этого не заметили.

— Деспина! — в ужасе крикнула тетушка Хрисула.

Никакого ответа.

— Деспина! — и опять безмолвие.

Тетушка Хрисула посмотрела по сторонам, явно стараясь узнать, нет ли случайных свидетелей этого позора. Взгляд ее упал на меня, она быстро заглянула мне в глаза, стараясь опередить меня, если я попытаюсь придать своему лицу притворное выражение. Решив, что опередила, она постаралась узнать, понимаю ли я смысл происходящего. Установив, что, к сожалению, понимаю, она захотела определить, смогу ли я, если случится самое худшее, по крайней мере, держать язык за зубами. Не сумев это определить и не желая тратить на меня драгоценные секунды и досадуя о уже потраченных, она с воплем подбежала к дереву и попыталась, двигаясь взглядом вдоль ствола, обнаружить исчезнувшую пару. Но обнаружить не удалось. Тогда она вдруг опустила глаза и взгляд ее упал на сандалии Деспины, и она несколько секунд растерянно глядела на них, как если бы Деспина унеслась на небо и было решительно непонятно, что теперь делать с ее сандалиями.

Потом, как бы встряхнувшись от гипноза, приковывавшего ее взгляд к сандалиям, она, крича и причитая, стала бегать вокруг дерева, стараясь найти такой разрыв в листве кроны, откуда можно было бы их увидеть. По интонациям ее голоса надо было понимать, что напрасно они думают, что спрятались от нее, что она их давно обнаружила, но так как она при этом все время перебежала с места на место, было ясно, что она их все-таки не видит.

Минуты через две или три из густой листвы раздался смех Деспины и хохот Чунки.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула с надрывным упреком и все-таки радуясь, что она, по крайней мере, жива.

Наконец, Деспина раздвинула листья и высунула свое смеющееся, озаренное солнцем лицо, а тетушка Хрисула, держась одной рукой за сердце, долго укоряла ее.

Тут высунулось из листвы смеющееся лицо Чунки. Он дотянулся до инжира, сорвал его и, кинув мне, крикнул:

— Да скажи ты ей, ради аллаха, раз уж ты не оглоушил ее фасоловой подпоркой — я не ястреб, чтобы на дереве склевать девицу, как цыпленка!

Когда брошенный Чункой инжир шлепнулся на мои ладони, тетушка Хрисула, не переставая укорять Деспину и Чунку, все-таки не удержалась, чтобы не поглядеть насколько хорош мой инжир.

Деспина сорвала инжир и, отводя руку, показала, что собирается его кинуть тетушке. Тетушка Хрисула с новой силой залопотала, замахала обеими руками, показывая, что после такого вероломного поступка, она не станет принимать у нее инжир. Но Деспина кинула инжир, и тетушка Хрисула как бы против воли его поймала и как бы против воли отправила в рот, продолжая укорять свою племянницу.

Чунка снова высунулся из листвы, дотянулся до хорошего инжира, сорвал его и с улыбкой, отводя руку, показал, что собирается его кинуть тетушке Хрисуле. Тетушка Хрисула замотала головой, задвигала руками, как бы заново залопотала, хотя и до этого не переставала лопотать, всем своим видом показывая, что вот уж от кого она теперь никогда не примет ни одного инжира.

— Дай бог, мне столько лет жизни, сколько ты от меня инжиров возьмешь, — сказал Чунка и кинул ей инжир.

Тетушка Хрисула как бы нехотя (раз уж летит) поймала инжир и как бы нехотя (раз уж в руках) отправила в рот.

— Клянусь молельным орехом! — крикнул Чунка по-абхазски, — эту старуху на нашей земле никто не переговорит, не переест и даже не перепыт! Дядя Сандро, может и смог бы ее перепыт, да ведь она его сначала заговорит до смерти, а там уж и перепыт!

Постепенно тетушка Хрисула успокоилась, вернее перешла на ту частоту лопотанья, на которой она находилась до того, как Деспина и Чунка скрылись в инжировой кроне.

Последнее замечание (не вообще, а на дереве) тетушка Хрисула сделала Деспине и Чунке, когда они слезали. Чунка опередил было Деспину, но тетушка Хрисула его остановила и велела пропустить ее вперед. Последовавшее пояснение можно было понять так, что если „аристократико корице“, влезая на дерево с чужим мужчиной, пропускает его вперед, то слезая с дерева, чужой мужчина, наоборот,

должен пропустить ее — так принято.

Мягко, хотя и достаточно увесисто, Деспина спрыгнула с дерева и, взяв в руки сандалии, нашла глазами зеленый островок травы, подошла к нему и, тщательно протерев подошвы босых ног, надела сандалии. Тетушка Хрисула, глядя на нее, слегка кивнула, одобряя, что Деспина хотя бы в этом сама разобралась и поступила так, как поступают в таких случаях девушки ее круга.

Спрыгнув с дерева, Чунка в знак полного примирения, протянул тетушке Хрисуле корзину с инжирами с тем, чтобы она выбрала оттуда самые спелые. Несколько мучительных мгновений тетушка Хрисула боролась с собой, то заглядывая в корзину, то с укором на Чунку, потом с еще большим укором на Деспину, стараясь подчеркнуть, что в сущности основная тяжесть вины лежит на ней, так как она первая скрылась в инжировой кроне.

Она даже на меня посмотрела пронизательным взглядом, стараясь почувствовать, не выветрился ли у меня из головы этот порочный эпизод. И я, чтобы угодить ей, кивнул головой в том смысле, что выветрился. Тогда тетушка Хрисула выразила своим взглядом недоумение, как бы спрашивая, как я мог понять значение ее взгляда, если этот порочный эпизод действительно выветрился у меня из головы?

После этого она протянула руку в корзину и, давая знать, что не слишком долго выбирает, вытащила оттуда три инжира и, показав смеющемуся Чунке, что она вытащила только три инжира и, как бы дав ему осознать проявленную скромность, она в виде маленькой награды за эту скромность вытащила еще один инжир.

Тетушка Хрисула обожала черный инжир.

х х х

Дядя Сандро, вечно присматривавший, кто бы из окружающих мог на него поработать, в один из приездов Деспины и тетушки Хрисулы, пренебрегая их происхождением, взял обеих на прополку своей приусадебной кукурузы. Тетя Нуца пыталась отговорить его, напоминая, что они гости и неудобно использовать их на такой тяжелой работе. Но дядя Сандро и глазом не моргнул.

— Греки в отличие от наших, — сказал он жестко, как бы во имя истины жертвуя национальным чувством, — не любят сидеть сложа руки.

Впрочем, Деспина и тетушка Хрисула охотно согласились помогать ему, тем более, что дядя Сандро обещал им за это два пуда кукурузы, правда, из нового урожая. Как видно, аристократы тоже иногда не пренебрегают случайным заработком.

Дня три или четыре они работали на его усадьбе. Дядя Сандро тоже недалеко от них помахивал мотыгой.

Иногда чегемцы останавливались возле усадьбы дяди Сандро, удивляясь, что Деспина мотыжит кукурузу, почти полностью закрыв лицо своим синим платком.

— Персючка, что ли? — гадали они, пожимая плечами.

Харлампо, прогоняя стадо мимо усадьбы дяди Сандро, тоже останавливался и выслушивал удивленные замечания чегемцев относительно закрытого лица Деспины. С сумрачным удовольствием глядя на свою невесту, он давал пояснения чегемцам по поводу этой странности.

— Деспина не персючка, — говорил он, воздев палец и усмехаясь наивности чегемцев, добавлял: — Деспина аристократиса.

Он хотел сказать чегемцам, что аристократическая девушка не станет мотыжить кукурузу с открытым лицом, как обычная крестьянка, но вот так полностью прикроет его, оставив щелку для глаз, чтобы лицо ее всегда оставалось чистым и белым.

Постояв так некоторое время, Харлампо отгонял коз в заросли лещины, чтобы они, не дожидаясь его, начинали пастись и, перемахнув через плетень, подходил к тетушке Хрисуле и брал у нее мотыгу.

Может, Харлампо и начинал мотыжить, чтобы показать тетушке Хрисуле, какой работающий муж будет у ее племянницы, но постепенно он входил в азарт, в самозабвенье труда, а Деспина, низко склонившись к мотыге, старался не отставать от него.

Комья земли так и выпрыгивали из-под мотыги Харлампо, так и заваливали кукурузные корни, срезанные сорняки так и никли под вывороченными глыбами, столбики пыли так и вспыхивали под его ногами, а он все взметывал мотыгой, ни на мгновение не останавливаясь для передышки, и только изредка на ходу менял руки, резким движением головы стряхнув с лица пот, и продолжал мотыжить, иногда разворачиваясь в сторону Деспины и помогая ей дотянуть свою полосу, а потом снова шаг за шагом продвигаясь вперед. А Деспина тоже старалась не отставать от него, мелко-мелко, быстро-быстро действуя своей мотыгой.

А дядя Сандро в это время, продолжая помахивать своей мотыгой, с грустной укоризной поглядывал на изумленных чегемцев, как бы напоминая им, что он их всю жизнь именно так учил работать, а они, увы, мало чему научились.

Напряжение трудового экстаза все усиливалось и усиливалось и даже отчасти с точки зрения тетушки Хрисулы становилось излишним, хотя и она опасливо любовалась ими.

— Деспина, — произносила она время от времени, как бы предлагая им слегка утихомириться.

Глядя на эту самозабвенную пару один из чегемских фрейдистов вдруг произнес:

— Размахались мотыгами! Небось, им кажется — они вроде не

на поле Сандро, а друг с дружкой усердствуют!

— В точку попал! — хором согласились с ним несколько чегемцев, стоявших рядом, и было видно, что у них сразу же отлегло на сердце, они поняли, что им незачем убиваться на работе, незачем завидовать этой видоизмененной любовной игре.

Кстати, вспоминая высказывания чегемцев в таком роде и сравнивая их с цитатами из книг венского фокусника, которые мне попадались, я поражаюсь обилию совпадений. Так как заподозрить чегемцев в том, что они читали Зигмунда Фрейда, невозможно, я прихожу к неизбежному выводу, что он когда-то под видом знатного иностранца проник в Чегем, записал там всякие байки и издал под своим именем, нагло не упомянув первоисточник.

Я так думаю, что в течение множества лет, пользуясь безграмотностью моих земляков, мир разбазаривал чегемские идеи, подобно тому, как древние римляне беспощадно вырубали абхазский самшит. Теперь-то я подоспел и кое-что добираю, но многое безвозвратно потеряно.

Возьмем, например, теорию прибавочной стоимости. В сущности говоря, это чегемская идея. Нет, я не отрицаю, что Маркс ее открыл сам. Навряд ли он мог побывать в Чегеме, даже если бы Энгельс, как всегда, бедняга, взял на себя расходы на это путешествие.

Но ведь эту же теорию сам без всякой подсказки открыл безграмотный чегемский крестьянин по имени Камуг, которого многие чегемцы принимали за сумасшедшего, хотя и неопасного для жизни людей.

(Нам, как говорится, не то обидно, что этот безумный мир многих гениальных людей принимает за сумасшедших. Некоторые из гениальных людей с этим примирились, лишь бы их не трогали. Но нам то обидно, что этот безумный мир, осуществляя свои безумные представления о справедливости и равновесии, часто сумасшедших людей объявляет гениальными, при этом он подсчитывает, сколько гениальных людей объявлено сумасшедшими и именно столько же сумасшедших людей объявляет гениальными. И многие гениальные люди, зная, что по их количеству сумасшедшие люди будут объявляться гениальными, приходят в ужас. Им жалко человечество и они, скрывая свою гениальность, нередко погибают от запоя. Но это очень большая тема и не будем ее здесь касаться.)

Наш милый Чегемчик тоже не вполне избежал безумий этого мира. Да, конечно, чегемцы гениального Камуга считали сумасшедшим, но зато к чести чегемцев надо отнести то, что они за всю свою историю ни одного сумасшедшего не объявили гениальным. В этом мои чегемцы молодцы.

Камуг имел такую привычку. Каждый раз перед тем, как идти на мельницу и приступить к лушению кукурузных початков, он ло-

мал надвое каждый початок и половину сломанных початков, принеся на кукурузное поле, зарывал в землю. Когда у него спрашивали, почему он так делает, он не ленился в течение всей своей жизни объяснять людям смысл своего великого открытия.

— Из одного зерна, — говорил Камуг, — в среднем можно получить один хороший кукурузный початок. В одном початке, в среднем, двести кукурузных зерен. Достаточно взять с початка сто зерен, чтобы покрыть расходы на еду землепашца и его семьи, на семенной запас, на содержание плуга, мотыг, серпов. Значит, кому принадлежат остальные сто зерен? Земле. Она работала на твой урожай, она заработала половину его, и надо ей вернуть то, что принадлежит ей.

И он неизменно возвращал земле половину сорванных початков. Жена его от этого очень страдала и даже вопреки его воле одно время стала откапывать эти сломанные початки, кое-как очистить их и потихоньку скармливать курам. Камуг, узнав об этом, пришел в неслыханную ярость, тем более, что жена не сознавалась, как долго она этим занимается, и он не знал, сколько он задолжал земле.

Одним словом, он избил жену, что по абхазским обычаям считается очень позорным, и выгнал ее из дому, что тоже не украшает абхазца, но считается более терпимым. Можно сказать, что в поведении Камуга с женой стихийно, в зачаточной форме проявилась идея диктатуры пролетариата, стоящего на страже интересов трудящейся земли.

В следующий раз бедняге Камугу жениться было очень трудно. Как честный человек, сватаясь, он объяснял родственникам своей будущей жены, почему и как он будет распределять урожай кукурузы со своего поля, одновременно, правда, без всякой пользы, пытаясь заразить их своим примером.

— Из одного зерна, — начинал Камуг объяснять им свою теорию, и родственники женщины, к которой он сватался, иногда начинали мрачнеть, иногда трусливо поддакивать, а иногда немедленно прекращали переговоры в зависимости от собственного темперамента и понимания степени опасности его безумия.

Иногда Камуг сватался к вдовушкам или девицам, которых родственники очень уж хотели сбить с рук, и они, пытаясь как-нибудь смягчить, облагородить его версию распределения урожая кукурузы, намекали ему, что понимают его теорию как неизвестный, но в сущности добрый чегемский обычай приносить жертву богу плодородия.

Но Камуг со всей прямотой (кстати, на определенном этапе свойственной носителям этой идеи) отвергал такую версию и говорил, что он преследует только одну цель — справедливо возвратить земле то, что она заработала. Наконец, ему удалось посвататься к многодетной вдовушке, отец которой, видимо, в знак безразличия нео-

добрения его теории, велел передать своему будущему зятю:

— Половину урожая с нее уже собрали, пусть попробует собрать вторую половину.

Новая жена Камуга, освоившись в его доме, решила внести поправку в теорию Камуга. Соображения ее, видимо, не лишённые какой-то хитрости, остались чегемцами непоняты.

— Раз уж ты решил изводить половину урожая, — сказала она мужу, — зачем его закапывать в землю... Разбрасывай его просто так по полю...

Камуг, говорят, посмотрел на нее и выразительно постучал себя по лбу.

— Да ты, я вижу, еще глупее, чем та жена, — сказал он, — та хоть курам скармливала кукурузу, заработанную землей, а ты хочешь этим сойкам-пустомелям ее скормить. Не выйдет!

Больше новая жена не вмешивалась в его теорию, но в нее стали вмешиваться дикие кабаны, случайно дорывшись до заработанной земли кукурузы. Жил он немного на отшибе, поблизости от леса. Кстати, там-то на отшибе всегда и возникают великие идеи.

По ночам дикие кабаны все чаще и чаще стали посещать его усадьбу. Камуг теперь каждый раз все глубже и глубже закапывал в землю заработанную землей кукурузу. Но дикие кабаны своими погаными, длинными рылами все равно докапывались до нее.

Камуг стал зарывать кукурузу в самых разных местах своей усадьбы, но они все равно ее находили. Тогда Камуг стал по всему приусадебному участку малыми порциями закапывать кукурузу, чтобы не все доставалось кабанам, чтобы и земле кое-что перепало. Но дикие кабаны, эти сухопутные акулы чегемских лесов, в поисках кукурузы к весне перерыли своими рылами весь приусадебный участок Камуга. (Кстати, слово „рыть” не от слова ли „рыло”. То есть, то, что роет. Как плодороден Чегем. Стоит прикоснуться к его делам, как попутно делаешь небольшие открытия даже в русской филологии.)

Глядя на перерытый дикими кабанам приусадебный участок Камуга, чегемцы по-своему оценили случившееся.

— Да теперь ему и пахать не надо, — говорили они, не такой уж он сумасшедший, этот Камуг.

Камугу слышать такое было очень обидно и он, решив доказать свое полное бескорыстие, взялся за ружье. Он стал по ночам дежурить на своем приусадебном участке и до следующей весны убил пятнадцать кабанов.

Как истинный абхазец, хоть и открыватель всемирной идеи, Камуг свинины не ел. Оттащив за хвост убитого кабана к изгороди, он давал знать местным чегемским эндурцам, и те приходили к нему и по смехотворно низкой цене покупали его добычу.

— Я беру деньги только за порох, пули и бденье, — говорил Камуг.

— Вот это чуднее всего, — рассуждали чегемцы по этому поводу, — какая бы чума на нашу голову ни свалилась, а эндурцам, глядишь, все на пользу.

Измученный ночными бдениями Камуг приспособил для передышки иногда дежурить свою жену. Но тут восстали чегемские старейшины. Смириться с таким нарушением абхазских обычаев они не могли.

— Женщина по нашим законам оскверняет оружие, — говорили они, — а оружие бесчестит женщину. Неужто он этого не знает?

Тем более год тому назад остроглазый охотник Тендел, побывавший в городе, принес оттуда неслыханную весть.

— Светопреставление! — закричал он, вступая в Чегем, и рассказал об увиденном.

Оказывается, он шел вечером по городу и заметил возле одного магазина старуху с ружьем в руках да еще с глазными стеклами на носу, сторожившую магазин. Старуха с ружьем в руках, охраняющая магазин, да еще в очках — это потрясло воображение чегемцев.

Многие чегемцы нарочно ездили в город посмотреть на эту удивительную старуху. Они подолгу стояли поблизости от нее, жалея ее и удивляясь такому варварскому обращению со старой женщиной.

— Чтоб я оплакал тех мужчин, что выставили тебя на позорище, — говорили одни по этому поводу.

— Бедная, — говорили другие, — вместо того, чтобы возиться с внучатами, она с ружьем в руках и с глазными стеклами на носу сторожит казенный магазин.

— Что случилось с русскими, — разводил руками кто-нибудь из чегемцев, — какая порча на них нашла, что они своих матерей выставляют сторожить магазины?

— Да они всегда такими были, — находился какой-нибудь скептик.

— Нет, — качал головой кто-нибудь постарше, — мы их помним совсем другими. Ктой-то под них подкапывается...

— Уж не эндурцы ли?

— Не, эндурцы, пока нас не изведут, за других не возьмутся...

Бедная старушка, бдительно следившая за этими непонятными ночными делегациями чегемцев, однажды не выдержала и засвистела в свисток, призывая милиционера.

— Да у нее еще свистулька на шее! — поразились чегемцы, насколько не обеспокоенные ее призывным свистом, а еще более потрясенные количеством предметов, находящихся при старухе, несовместимых с обликом почтенной старой женщины: ружье, глазные стекла, свистулька.

— Теперь свисти не свисти, — сказал один из чегемцев, — просвистели твою старость твои родственники с мужской стороны, чтоб

я их оплакал.

Милиционер, явившийся на призывный свист, к своему несчастью, оказался абхазцем, и ему, вместо того, чтобы водворять порядок, пришлось обороняться и от чегемцев и от сторожихи.

— За что ее так?! — подступились к нему чегемцы, — она что — сирота?!

Пытаясь объяснить причину, по которой старуху выставили сторожить магазин, милиционер сказал, что дело не в ее сиротстве, а в том, что новый закон теперь признал в городах равенство мужчин и женщин. Такое смехотворное равенство чегемцы никак не могли признать и удивлялись милиционеру, почему он, будучи облеченным властью и при оружии, признает такое глупое равенство.

С другой стороны, сторожиха пыталась узнать о причине любопытства чегемцев и требовала от милиционера решительных мер.

— Они грабить не будут, — успокаивал ее он, — они просто никогда не видели сторожих, немножко дикие горцы.

Когда один из чегемцев, чуть-чуть понимавший по-русски, перевел остальным слова милиционера, чегемцы не только не обиделись, но увидели всю эту картину в новом истинном свете ее безумного комизма.

Неудержимо хохоча и вспоминая отдельные детали этой встречи, особенно им казалось смешным, как она свистела в свисток, раздувая щеки и не сводя с чегемцев глазных стекол, они отправились ночевать к своему родственнику.

— Мы, жалея бедную старуху, удивлялись ее дикости, — смеялись чегемцы, — а они, оказывается, в это время нас считают дикарями! Ха! Ха! Ха!

— Выставить на ночь старуху с ружьем в руках, с глазными стеклами на носу и со свистулькой на шее — уж дичее этого и эндурец не придумает! Ха! Ха! Ха! Ха!

— И наш милиционер туда же! — вспоминали они попытки милиционера объяснить это позорище каким-то там равенством мужчины и женщины, признанной властью в городах.

И вот не прошло и года после такого светопреставления, как в самом Чегеме появился человек, заставляющий свою жену с ружьем в руках предостерегать диких кабанов. Этого терпеть было нельзя.

— Ты бы еще купил глазные стекла и выставил бы ее с ружьем, как ту русскую сторожиху, — язвительно заметил один из старцев, когда Камуг вошел в комнату, где сидели старейшины.

— Да повесил бы ей свистульку на грудь, как дитяти, — сказал другой.

— Неужто ты не знаешь, — добавил третий, — что по нашим обычаям женщина оскверняет оружие, а оружие бесчестит женщину. Отправить жену в ночь с ружьем, все равно, что отправить ее в ночь с чу-

жим женщиной. Какой ты после этого муж, если отправляешь в ночь собственную жену с чужим женщиной?!

Но тут самый старый из старейшин властным, но не оскорбительным движением руки остановил старцев и сказал Камугу, склонившему повинную голову, спокойные, мудрые слова.

— По нашим обычаям, сынок, — сказал он, — женщина может взять в руки оружие только в одном случае — если в ее роду не осталось мужчин, которые могли бы отомстить за пролитую кровь. Тогда женщина — герой, и наш народ ее славит в песнях и сказаниях. Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружье и стреляла, да еще в такое гяурское животное, как дикая свинья, такого позора мы, сынок, не потерпим. Или покинь село или оставь жену в покое.

И Камугу пришлось смириться. Истощенный ночными бдениями, бедняга Камуг умер до своего срока. В сущности, его можно назвать истинным мучеником идеи и причислить его к лику революционных святых.

Никак не оспаривая первенство Маркса, я предлагаю переименовать закон о прибавочной стоимости в закон Маркса-Камуга, подобно тому, как закон сохранения веса веществ называют законом Ломоносова-Лавуазье.

Я думаю, было бы справедливо, если бы имя нашего гениального самоучки, хотя бы и с опозданием вошло в историю. В конце концов, он это заслужил своим открытием, своими страданиями и самоотверженной защитой трудящейся земли от паразитов-кабанов.

* * *

— Что случилось с русскими? — с каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чегемцы, сколько я их помню.

Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чегемцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием Амавролей.

Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того, чтобы лежать в земле и слиться с землей.

Вообще, чегемцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Отчасти, может быть, это чувство вызвано тем, что они о жизни великого человека узнали впервые тогда, когда услышали о его смерти и о несправедливом непредании его праха земле. До этого о существовании Ленина кроме дяди Сандро и еще, может быть, двух-трех чегемцев никто не знал.

Я думаю, так возник чегемский миф о Ленине. Чегемцы про не-

го говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, что Хотел Хорошего, но не Успел.

По представлению чегемцев, над которыми в мое время молодежь втихомолку посмеивалась, Ленин был величайшим абреком всех времен и народов. Он стал абреком после того, как его старшего брата, тоже великого абрека, поймали и повесили по приказу царя.

Его старший брат не собирался становиться абреком. Он собирался стать учителем, как и его отец. Но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге в те времена, как и в Абхазии, тоже бывали всенародные скачки. И вот старший брат Ленина, увлеченный скачками, не заметил, что слишком высовывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему почетному месту, чтобы любоваться скачками.

Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошастью, а царь на то и царь, чтобы не останавливаясь ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкесску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стегнул его камчой, сплетенной из львиной шкуры, и поехал дальше.

С этого все началось. Оказывается, род Ленина был очень гордым родом, хотя люди этого рода всегда бывали учителями или метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенного ему при народе даже царем Николаем.

Кстати, по абхазским обычаям самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку — это ударить его палкой или камчой. Такое оскорбление смывается кровью и только кровью оскорбителя. Ударил камчой или палкой, значит приравнял тебя к скоту, а зачем жить, если тебя приравнивали к скоту?!

Кстати, удар камчой или палкой считается нешуточным оскорблением, иногда приводящим даже к пролитию крови, и в том случае, если кто-то без разрешения хозяина ударил его лошадь. Особенно возмутительно, если кто-то по невежеству или из присущей ему наглости ударил лошадь, на которой сидит женщина. Конечно, если женщина промолчит, а никто из родственников этого не заметил, все может обойтись мирно. Но если ударивший лошадь вовремя не принес извинений, дело может кончиться очень плохо.

Бывает так. Кавалькада односельчан едет в другое село на свадьбу или поминки. Вдруг лошадь, на которой, скажем, сидит женщина, заупрямилась переходить брод, то ли чувствуя, что всадница не очень-

то уверена в себе, то ли еще что.

И тут может случиться, что едущий сзади сгоряча, не спросясь, стеганул эту лошадь, чтобы она шла в воду. И как раз в это мгновение обернулся кто-то из ее родственников и видел всю эту картину во всей ее варварской непристойности. Нет, тут он, конечно, промолчит, чтобы не разрушать общественное мероприятие, в котором они принимают участие.

Но кристаллизация гнева в душе этого родственника уже началась почти с химической неизбежностью. Однако всадник, легкомысленно ударивший лошадь, на которой сидела женщина, еще может все исправить.

Стоит ему подъехать к омраченному родственнику и сказать:

— Не взыщи, друг, я тут стеганул вашу лошадь невзначай...

— О чем говорить! — отвечает ему тот с вполне искренним великодушием, — скотина, она на то и скотина, чтобы стегать ее. Выбрось из головы! Не мучься по пустякам!

Но мы отвлеклись. А между тем, царь Николай стеганул камчой брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева.

Брат Ленина ушел в абреки, взяв с собой двух-трех надежных товарищей, с тем, чтобы кровью царя смыть нанесенное ему на людях оскорбление. Но жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищами.

И тогда Ленин еще мальчиком дал клятву отомстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеусый, он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай был довольно добрый и слишком доверчивый царь. Он не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промашку.

Ленин ушел в абреки, двадцать лет скрывался в сибирских лесах, и жандармы всей России ничего с ним не могли поделать. Наконец, он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. По другой версии он его только ранил, а Большеусый позже его прикончил. Но так или иначе, царь уже не в силах был удержать власть, и Ленин ее перевернул.

Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем и воспользовался Большеусый. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него.

Первое, что он там написал — Большеусого отогнать от власти, потому что он — вурдалак.

Второе, что он там написал — не собирать крестьян в колхозы.

Третье, что он там написал — если уж совсем не смогут обойтись

без колхозов, не трогать абхазцев, потому что абхазцу, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. Но так как абхазцы, хотя и малочисленная, но исключительно ценная порода людей, их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев и родственных связей.

Четвертое, что он там написал — за всеми государственными делами не забывать про эндуцев и постоянно приглядывать за ними.

Пересказывая завещание Ленина, чегемцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Как же чегемцам после этого было не любить и не чтить Ленина?

Кстати, весть о завещании Ленина, я думаю, принес в Чегем некогда известный командир гражданской войны, дядя Федя, живший в Чегеме то у одних, то у других хозяев. Он иногда запивал с таинственной для Чегема длительностью. А так как в Чегеме все пили, но алкоголиков никогда не бывало, его запои чегемцами воспринимались как болезнь, присущая русским дервишам.

— Ему голос был, — говорили чегемцы, — поэтому он бросил все и пришел к нам.

Чегемцам это льстило. Подробнее о дяде Феде мы расскажем в другом месте. Это был тихий, мирный человек, в сезон варения водки сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это ответственное время не запивавший.

Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом, после победы революции стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвинутых он откровенно признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе. Его несколько раз снижали в должности, и вдруг в один прекрасный день он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в курской губернии до германской войны, делать не может.

Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми им в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе — он не выдержал.

Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, протащил по всей России, переволок через Кавказский хребет и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очнулся в Чегеме с чудом уцелевшим орденом Красного Знамени на груди.

Но о нем — в другом месте, а здесь мы продолжим чегемскую легенду о Ленине. Значит, Ленин написал завещание или Бумагу, как говорили чегемцы, но Большеусый выкрал ее и сжег. Однако Ленин, как мудрый человек, хотя и сломленный смертельной болезнью, успел

прочесть ее своим родственникам.

После смерти Ленина Большеусый стал уничтожать его родственников, но те успели пересказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большеусый стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге. И он уничтожил тьму тьму людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить.

И вот тело Ленина выставили в домике под названием Амавзолей, проходят годы и годы, кости его просят в землю, но их не предадут земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения. И они его нашли. Они решили, что Большеусый, гордясь, что он победил величайшего абрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом.

И все-таки чегемцы не уставали надеяться, что даже Большеусый, наконец, смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина. С великим упорством, иногда переходящим в отчаянье, чегемцы годами и десятилетиями ожидали, когда это случится.

И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили или тем более из России (откуда приезжали те, что служили в армии), чегемцы неизменно спрашивали:

— Что слышно? Того, что Хотел Хорошего, но не Успел, собираются предавать земле или нет?

— Да вроде не слышать, — отвечает пришелец.

И чегемцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом, непреданием земле костей покойника, тоскующих по земле.

И не то, чтобы чегемцы день и ночь только об этом и думали, но души многих из них свербил этот позор неисполненного долга.

Бывало, с мотыгами через плечо идут на работу несколько чегемцев. Идут, мирно переговариваясь о том, о сем. И вдруг один из них взрывается:

— Мерзавцы!!!

— Кто — эндурцы? — спрашивают у него опешившие спутники.

— Эндурцы само собой, — отвечает, успокаиваясь, тот, что взорвался, — я о тех, что Ленина не хоронят...

— Так у нас же не спрашивают...

Или, бывало, уютный вечер в какой-нибудь чегемской кухне. Вся семья в сборе в приятном ожидании ужина. Весело гудит огонь в очаге, и хозяйка, чуть отклонив от огня котел, висящий на очажной цепи, помешивает в нем мамалыжной лопаточкой. И вдруг она оставляет мамалыжную лопаточку, выпрямляется и, обращаясь к членам семьи, жалостливо спрашивает:

— Так неужто Того, что Хотел Хорошего, но не Успел, так и не предадут земле?

— Эх, — вздыхает самый старший в доме, — не трогай наш больной зуб, лучше готовь себе мамалыгу.

— Ну, так пусть сидят, где сидят, — с горечью восклицает женщина, берясь за мамалыжную лопаточку. И неясно, что она имеет в виду, то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа.

Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чегемца, в глубокой задумчивости проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес.

— ... Придумали какой-то Амавролей...

И скрылся за поворотом тропы, как видение.

Или, случалось, стоит чегемец на огромном каштане и рубит толстенную ветку. И далеко вокруг в знойном воздухе раздается долгое, сиротское: тюк! тюк! тюк! тюк!

Врубив топор в древесину, распрямится на минуту, чтобы, откинувшись на ствол, перевести дух, и вдруг замечает, что далеко внизу по верхнечегемской дороге проходит земляк. По его одежде он догадывается, что тот идет из города.

— Эй, — кричит он ему изо всех сил, — идущий из города! Того, что Хотел Хорошего, но не Успел, предали земле или нет?!

И прохожий озирается, стараясь уловить, откуда идет голос, чувствуя, что откуда-то сверху (не с небес ли?) и, может быть, так и не поймав взглядом стоящего на дереве земляка, он машет отрицательно рукой и кричит, вскинув голову:

— Не-ет! Не-ет!

— Ну так пусть сидят, где сидят! — сплюнув в сердцах, говорит чегемец и неизвестно, что он имеет в виду — то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. И снова, выдернув топор — неизбывное, долгое, сиротское: тюк! тюк! тюк! тюк!

Или, скажем, заболел какой-нибудь чегемец, залежался в постели на полгода или больше. Приходят навещать его односельчане, родственники из других деревень, приносят гостинцы, рассаживаются, спрашивают о здоровье.

— Ох! Ох! Ох! — стонет больной в ответ на вопросы о здоровье, — что обо мне спрашивать... Я давно мертвый да вроде бедняги Ленина похоронить меня некому...

Смерть Сталина и водворение его в мавзолей было воспринято чегемцами как начало возмездия. И они сразу же стали говорить, что теперь имя его и слава его долго не продержатся.

Поэтому узнав о знаменитом докладе Хрущева на двадцатом

съезде, они нисколько не удивились. В целом одоббив содержание доклада, они говорили:

— Хрущит молодец! Но надо было покрепче сказать о вурдалачестве Большеусого.

И опять чегемцы удивлялись русским:

— Что с русскими, — говорили они, — мы здесь в Чегеме и про бумагу, написанную Лениным, знали и про все вурдалачества Большеусого. Как же они об этом не знали?

Вопреки либеральному ликованию в стране, когда гроб с телом Сталина убрали из мавзолея, чегемцы приуныли.

— Надо же было все наоборот сделать, — говорили они в отчаяньи, — надо было Ленина похоронить, а этого оставить, написав на амавзоле: „ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ВУРДАЛАК, ВЫПИВШИЙ НАШУ КРОВЬ”. Неужели им некому было подсказать?

И несмотря на все превратности жизни, чегемцы упорно продолжали ждать, когда же, наконец, предадут земле Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел.

* * *

Но хватит отвлекаться. Будем рассказывать о Харлампо и Деспине, раз уж мы взялись о них говорить. А то эти отвлечения, чувствую, рано или поздно, изведут меня до смерти, как извели беднягу Камуга его ночные бдения.

Когда Деспина и тетушка Хрисула уезжали в Анастасовку, мы, дети и тетя Нуца во главе с Харлампо провожали их до спуска к реке Кодор.

Перед прощанием тетушка Хрисула ставила на землю корзину, наполненную орехами, чурчхелами и кругами сыра. Деспина держала в руках живых кур со связанными ногами. Меня почему-то слегка беспокоило, что вот она берет с собой наших кур, а ведь они никогда не несутся двухжелтошными яйцами.

Несколько минут длилось горькое прощание влюбленных.

— Харлампо, — говорила Деспина, и ее синие глазки наполнялись слезами.

— Деспина, — глухо, с грозной тоской выдыхал Харлампо, и скулы его начинали дышать желваками.

— Харлампо!

— Деспина! — глухо, сдержанно, с такой внутренней силой говорил Харлампо, что куры, чувствуя эту силу, начинали тревожно кудахтать и взмахивать крыльями на руках у Деспины.

— Деспина, — вмешивалась в этот дуэт тетушка Хрисула, сама расстроенная и стараясь успокоить племянницу, которая приподняв сильную руку, сжимавшую кур, утирала слезы.

— Харлампо, — успокаивала тетя Нуца своего пастуха и погла-

живала его по широкой спине.

Тетушка Хрисула, наконец, бралась за свою корзину, и они ушли вниз. А мы глядели им вслед, и длинные косы Деспины, позолоченные солнцем вздрагивали на ее спине, и платок долго синел.

— Эй, гиди, дунья! (Эх, мир!) — говорил Харлампо по-турецки и, поворачиваясь, уходил к своим козам.

— Уж лучше бы они совсем не приезжали, — вздыхала тетя Нуца, бог знает о чем задумавшись. И все мы, опечаленные этим прощанием, омытые им, я думаю, неосознанно гордясь, что на земле существует такая любовь и неосознанно надеясь, что и мы когда-нибудь будем достойны ее, уходили домой, жалея Харлампо и Деспину.

* * *

Теперь нам придется изобразить фантастическое любовное безумство, приписанное чегемцами Харлампо и в сущности являющееся отражением их собственного безумства.

Читатель помнит, что Харлампо на следующий день после умыкания Тали объелся орехов и в состоянии орехового одурения погнался за ее любимой козой, добежал до мельницы, где был перехвачен еще более, чем он, могучим Гераго, связан и погружен в ручей, в котором сутки пролежал с пятипудовым жерновом на животе для противоборства течению и окончательного заземления вонзившейся в него молнии безумия.

Через сутки ореховая одурь испарилась, горячечный мозг остыл в ледяной воде, а молния безумия, покинув его тело, заземлилась. Отогревшись у мельничного костра, Харлампо пришел в себя и вместе с козой был отправлен в Большой Дом. Один из чегемцев, который тогда был на мельнице и на некотором расстоянии последовавший за ним, ничего особенного в его поведении не обнаружил. Только коза иногда робко оглядывалась.

Вскоре Харлампо полностью оправился, и чегемцы как-будто забыли про этот случай. Но, оказывается, не забыли. На следующий год одна из коз в стаде старого Хабуга оказалась яловой. Явление это достаточно обычное. К несчастью, яловой оказалась именно та коза, за которой гнался Харлампо.

— У-у-у! — говорят, сказал один из чегемцев (впоследствии чегемцы никак не могли припомнить, кто именно сказал это первым), — ясно, как день, от чего она ояловела. Да он с ней балует! Да он ни одного козла к ней не подпускает!

Вскоре это открытие стало достоянием всего Чегема. В Большом Доме ни на мгновение не поверили этому слуху, и тетя Нуца, принявшая эту весть, как личное оскорбление, насмерть переругалась с несколькими женщинами, пытавшимися на табачной плантации поды-

мать эту тему.

Надо сказать, что многие чегемцы эту весть восприняли с юмором, но были и такие, что не на шутку обиделись за честь чегемского скота, а через свой скот и за собственную честь.

Они обратились к старейшинам Чегема с тем, чтобы они велели Хабугу изгнать Харлампо из села, но старцы заупрямились. Старцы потребовали показания очевидца, но такового не оказалось в доступной близости. Многие чегемцы оглядывали друг друга, как бы удивляясь, что оглядываемый до сих пор принимался за очевидца, а теперь почему-то не сознается.

Впрочем, это их ненадолго смутило. Чегемцы уверились, что раз весь Чегем говорит об этом, такого и быть не может, чтобы хоть один не видел своими глазами баловство Харлампо. Было решено, что теперь, когда дело дошло до старейшин, этот неуловимый очевидец застеснялся, чтобы не омрачать отношений со старым Хабугом.

При всем безумии, охватившем Чегем, ради справедливости надо сказать, что чегемцы даже в этом состоянии оказались настолько деликатными, чтобы самому Харлампо впрямую не предъявлять своих обвинений.

И только вздорный лесничий Омар вконец осатанел, узнав о подозрениях чегемцев. Ни честь козы старого Хабуга, ни честь чегемского скота сама по себе его не интересовала. Но в его дурную башку засела уверенность, что Харлампо на козе и даже вообще на козах не остановится, а непременно доберется до его кобылы, которая обычно паслась в котловине Сабида и о привлекательности которой он был самого высокого мнения.

— Увижу — надвое разрублю! — кричал он, — как разрубал чужеродцев в германскую войну!

Некоторые родственники Омара, стыдясь его вздорности, говорили, что он стал таким в „дикой дивизии”, где, якобы, возле него на фронте разорвался снаряд. Но старые чегемцы, хорошо помнившие его, говорили, что до германской войны он был еще хуже, что, наоборот, в „дикой дивизии” он даже слегка пообтесался.

Лесничий Омар множество раз незаметно спускался в котловину Сабида, зарывался там в папоротниках и часами следил оттуда за поведением Харлампо.

Однажды мы с Чункой ели чернику в котловине Сабида, как вдруг пониже нас на тропе появился Омар и стал быстро подыматься, цепляясь шашкой, висевшей у него на боку, за плети сассапарилия, нависавшие над тропой. Он явно возвращался после многочасовой слежки за Харлампо.

— Ну что, застукал? — спросил Чунка, издеваясь над Омаром, но тот, конечно, этого не понимал.

Омар обернулся на нас с лицом, перекошенным гримасой сом-

нения и несколько раз, раскидывая руки и медленно приближая их друг к другу, показал, что вопрос этот остается на стадии головоломной запутанности.

— Два раза прошел возле моей кобылы, — сказал он мрачно, как бы уверенный в преступности его намерений, но в то же время, как человек, облеченный властью закона, понимая, что все-таки этого недостаточно, чтобы разубить его надвое.

— Близко прошел? — спросил Чунка.

— Первый раз метров десять было, — сказал Омар, стараясь быть поточней, — второй раз метров семь.

— Видать, примеривается, — сказал Чунка.

— Разрублю! — крикнул Омар, проходя мимо и гремя шашкой по неровностям кремнистой тропы, — слыхано ль дело, меня две власти приставили следить за лесом, а этот безродный грек заставляет меня следить за скотом. Поймаю — разрублю!

Но поймать Харлампо он никак не мог и от этого его самого все чаще и чаще сотрясала падучая неистовства. Он его не только не мог застать со своей кобылой, но и с козой не мог застать. Однако сама невозможность поймать его с четвероногой подругой не только не рассеивала его подозрений, а, наоборот, углубляла их, превращала Харлампо в его глазах в коварно замаскированного извращенца-вредителя.

К вечеру, когда Харлампо со стадом возвращался из котловины Сабиды, некоторые чегемцы, тоже возвращавшиеся домой после работы, иногда останавливались, чтобы пропустить мимо себя стадо Харлампо, поглазеть на него самого, на заподозренную козу и посудачить.

Некоторые женщины после работы на табачной плантации или в табачном сарае, несколько отделившись от мужчин, тоже останавливались и с любопытством следили за Харлампо и его козой. Те, что не знали, какая именно коза приглянулась Харлампо, подталкивая других, вполголоса просили показать ее.

— Ты смотри какую выбрал!

— Вроде бы грустенькая!

— Притворяется!

— Впереди всех бежит — гордится!

— Не, прячется от него!

— Как же! Спрячешься от этого вепря!

Мужчины молча, с угрюмым недоброжелательством оглядывали стадо и самого Харлампо и, пропустив его мимо себя, начинали обсуждать случившееся. Но в отличие от женщин, они не останавливались на интимных психологических подробностях, а напирали на общественное значение постигшей Чегем беды.

— Если мы это так оставим, эндурцы совсем на голову сядут!

- А то не сидят!
- Вовсе рассядутся!
- Да они ж его и подучили!
- А какая им выгода?
- Им все выгода – лишь бы нас принизить!
- Хоть бы этот проклятуший отец Деспины выдал бы, наконец, за него свою дочь!
- А зачем она ему? Ему теперь весь чегемский скот Деспина!
- Да он теперь весь наш скот перехарлампит!
- То-то я примечаю, что у нас с каждым годом скотина все больше яловеет!
- По миру нас пустит этот грек!
- Неужто наши старцы так и не велят Хабугу изгнать его?!
- Наши старцы перед Хабугом на цыпочках ходят!
- Они велят доказать!
- Что ж нам рыжебородого карточника приманить из Мухуса, чтобы он на карточку поймал его с козой?
- Как же, поймаешь! Он свое дело знает!
- А через сельсовет нельзя его изгнать?
- А сельсоветчикам что? Они скажут: – Это политике не мешает...
- Выходит, мы совсем осиротели?
- Выходит...

Харлампо молча проходил мимо этих недоброжелательно молчащих чегемцев, с сумрачной независимостью бросая на них взгляды и показывая своими взглядами, что он и такие унижения предвидел, что все это давно было написано в книге его судьбы, но ради своей великой любви он и это перетерпит.

Иногда среди этих чегемцев оказывались те парни, которые раньше предлагали ему овладеть Деспиной и тем самым вынудить ее отца выдать дочь за Харлампо. И сейчас они напоминали ему своими взглядами, что напрасно он тогда не воспользовался их советом, что воспользуясь он в свое время их советом, не было бы этих глупых разговоров. Но Харлампо и эти взгляды угадывал и на эти взгляды с прежней твердостью, отрицательным движением головы успевал отвечать, что даже и сейчас, окруженный клеветой, он не жалеет о своем непреклонном решении дожидаться свадьбы с Деспиной.

Однажды, когда мы с Харлампо перегоняли стадо домой, из зарослей папоротников выскочил Омар и, весь искореженный яростью бесплодной слежки, со струйкой высохшей пены в углах губ (видно, ярость давно копилась), дергаясь сам и дергая за рукоятку шашки, побежал за нами, то отставая (никак не мог выдернуть шашку), то догоняя и, наконец догнав, с выдернутой шашкой бежал рядом с нами, тесня Харлампо и осыпая его проклятиями.

— Греческий шпионка! — кричал он по-русски, — моя лошадь! Секим-башка!

Сейчас это выглядит смешно, но я тогда испытал внезапно отяжливший мое тело физиологический ужас близости отвратительно-го, нечеловеческого зрелища убийства человека. Единственный раз вблизи я видел лицо погромщика, хотя, разумеется, тогда не знал, что это так называется. И самое страшное в этом лице были не глаза, налитые кровью, не струйки засохшей пены в углах губ, а выражение своей абсолютной, естественной правоты. Как будто бы человек на наших глазах перестал быть человеком и выполняет предназначение переставшего быть человеком.

К этому ужасу перед возможным убийством Харлампо еще добавлялся страх за себя, боязнь, что он на Харлампо не остановится, ощущение того, что он и меня может рубануть после Харлампо. Как-то трудно было поверить, что он после убийства Харлампо снова сразу станет человеком и перестанет выполнять предназначение переставшего быть человеком, и было подлое желание отделиться, отделиться, отделиться от Харлампо.

И все-таки я не отделился от него, может быть потому, что вместе со всеми этими подлыми страхами я чувствовал с каждым мгновением вдохновляющую, вырывающую из этих страхов красоту доблести Харлампо!

Да, единственный раз в жизни я видел эллинскую доблесть, я видел поистине сократовское презрение к смерти и ничего более красивого я в своей жизни не видел!

Наверное, метров пятьдесят, пока мы не поднялись до молельного ореха, Омар, изрыгая проклятья, теснил Харлампо, взмахивая шашкой перед его лицом, иногда стараясь забежать вперед, то ли для того, чтобы было удобней рубить, то ли для того, чтобы остановить Харлампо перед казнью.

Но Харлампо, не останавливаясь, продолжал свой путь, иногда окриком подгоняя отставшую козу, иногда рукой отстраняя трясущуюся перед его лицом шашку, отстраняя не с большим выражением заинтересованности, чем если бы это была ольховая ветка, нависшая над тропой. И он ни разу не взглянул в его сторону, ни разу! И только желвак на его скуле, обращенной ко мне, то раздувался, то уходил, и он время от времени горестно и гордо кивал головой, давая знать, что слышит все и там наверху тоже слышат все и понимают все, что терпит Харлампо!

На подступах к сени молельного ореха Омар отстал от нас, издали продолжая кричать и грозиться. И вдруг мне тогда подумалось на мгновенье, что священная сень молельного ореха своей силой остановила его. И Харлампо, продолжая идти за козами, бросил на меня взгляд, который я тогда до конца не понял и который только сей-

час понимаю, как напоминание: — Не забудь!

По детской чуткости тогда я много ночей терзался подлостью своего страха и ясным, унижительным сознанием своей неспособности вести себя так, как вел Харлампо. Я тогда не понимал, что только великая мечта может породить великое мужество, а у Харлампо, конечно, была эта великая мечта.

До старого Хабуга, безусловно, доходили отголоски этих безумных слухов, хотя и в сильно ослабленном виде. Когда в Большом Доме заговаривали об этом, тетя Нуца то и дело выглядывала в дверь, чтобы посмотреть, нет ли его поблизости. Чегемские глупцы, а, к сожалению, их в Чегеме тоже было немало, при виде старого Хабуга делали единственное, что может сделать глупец со своей глупостью — скромно проявлять ее.

Но однажды один из них не удержался. Несколько чегемцев стояли поблизости от Большого Дома, по-видимому, в ожидании, когда Харлампо пройдет со своим стадом. И тут на дороге появился старый Хабуг. Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука — корм для козлят. И когда он прошел мимо них, шелестя холмом свежих ореховых листьев и почти покрытый ими и, может, именно из-за этой прикрытости его, осмелев, один из ожидающих Харлампо, выскочил на дорогу и крикнул вслед уходящему Хабугу, как бы ослабленному этой огромной, шумящей листьями кладью, как бы отчасти даже буколизированному еу:

— Так до каких же нам пор терпеть твоего козлоблуда!!!

Старый Хабуг несколько мгновений молча продолжал идти, и холм ореховых листьев за его спиной равномерно вздрагивал. Потом из-под этой движущейся рощи раздался его спокойный голос:

— Вы бы собственные зады поберегли от усатого козла, чем заниматься моими козами...

Опешив от неожиданности ответа, этот чегемец долго стоял, стараясь осознать слова старого Хабуга и, наконец осознав, всплеснул руками и плачущим голосом крикнул ему вслед:

— Так не мы ж его содержим в Кремле, русские содержат!

В конце концов, слухи о козлоблудии Харлампо докатились до Анастасовки, хотя в Большом Доме не исключали, что Омар тайно туда уехал и там обо всем рассказал.

Однажды к вечеру в Большом Доме появились тетушка Хрисула и Деспина. Уже издали по их лицам было ясно, что они о чем-то знают. Деспиночка похудела, и ее синие глазки словно выщвели и теперь казались гораздо бледней ее косынки.

Тетушка Хрисула начала было жаловаться, но старый Хабуг остановил ее и сказал, что сначала надо поужинать, а потом обо всем поговорить. Тетушка Хрисула тихо присела у очага на скамью и, глядя на огонь, сидела, подпершись худенькой, словно птичья лапка, ла-

донью, и скорбно покачивая головой. Деспина сидела на тахте и грустно отворачивалась, когда Чунка пытался с ней заигрывать.

Ничего не подозревавший Харлампо пригнал стадо, вошел во двор с дровами на плече и, издав свой обычный очаголюбивый грохот, сбросил их у кухонной стены. Услышав этот грохот, тетушка Хрисула еще более скорбно закачала головой, словно хотела сказать: он этим грохотом очаголюбия тоже хотел нас обмануть.

Войдя на кухню и увидев Деспину, опустившую голову, когда он вошел, и тетушку Хрисулу, которая даже не повернулась в его сторону, он понял, что они все знают, и сумрачно замкнулся.

Почти молча сели ужинать и, о боже! тетушка Хрисула едва приоткрылась к еде.

— Мир перевернулся, — сказал Чунка по-абхазски, — тетушка Хрисула малоежкой сделалась!

— Да замолчи ты! — прикрикнула на него тетя Нуца и воткнула в дымящуюся мамалыгу тетушки Хрисулы большой кусок сыру. Она очень волновалась и хотела как-нибудь смягчить ее.

Поужинав, вымыли руки и все расселись у очага на большой скамье, а Харлампо сел отдельно на кушетке и этим слегка напоминал подсудимого.

Тетушка Хрисула начала. Это был долгий греческий разговор с горькими, взаимными упреками, с постоянными печальными жестами тетушки Хрисулы в сторону Деспины. Мне показалось, что мелькнуло и упоминание о двухжелтошных яйцах. Деспина время от времени всплакивала и терла свои голубые глазки концом голубого платка.

В глазах Харлампо горел сомнамбулический огонь отчаянья. Голос его делался все резче и резче. Никогда таким голосом он не говорил с тетушкой Хрисулой. Это было восстание демоса против аристократов!

Он представил перечень унижений, пережитых им из-за жестокого упрямства отца Деспины, ее патеро! На пальцах для полной наглядности он перечислил годы насильственной разлуки с любимой и, перечисляя, все выше и выше подымал свой голос:

— Эна! Диа!!! Трио!!!! Тесара!!!! Пенде!!!!!!

Пять загнутых пальцев отметили невероятные страдания пяти лет. Но и этого не хватило, пришлось загнуть еще три пальца на другой руке. Он застыл на некоторое время с приподнятыми руками и загнутыми в мощный кулак пальцами одной из них и почти готовым кулаком второй руки. Казалось, еще два года, и Харлампо набросится с кулаками на отца Деспины и всех аристократов Анастасовки, если там еще есть аристократы.

(Я вижу Харлампо так ясно, как будто все это было вчера. И опять никак не могу избавиться от навязчивого ощущения его сходства с обликом нашей интеллигенции. Вот так же и она в пересчете на

исторические сроки ее терпения, не пройдет и пятидесяти лет, как набросится на своих аристократов!)

Тетушка Хрисула не без понимания выслушала могучий выпад Харлампо, она как бы признала, что восстание против аристократов имело некоторые основания.

Однако она не растерялась и сама пошла в атаку. Иногда они оба, как к судье, обращались к дедушке Хабугу, переходя на турецкий язык, хотя он и по-гречески понимал хорошо. Тетя Нуца тоже время от времени вставлялась, пытаясь на своем чудовищном турецком языке защищать Харлампо. Когда она особенно коверкала слова, Чунка в ужасе хватался за голову, показывая, что такой выговор обязательно угробит дело Харлампо.

Обвинение тетушки Хрисулы сводилось к тому, что теперь отец Деспины не захочет иметь дело с Харлампо, а другие греки не захотят жениться на Деспине.

— Кто такая Деспина? — по словам тетушки Хрисулы, будут спрашивать греки из других сел.

— Деспина, — будут отвечать им греки из Анастасовки, — это та „аристократийко кóрице“, чей жених предпочел ей козу.

— Кондрепесо, Харлампо?! — обращалась тетушка Хрисула к Харлампо, который тоже как бы отчасти признавал значительность доводов тетушки Хрисулы.

Разговор был долгим, сложным, запутанным. Оказывается, тетушка Хрисула перед тем, как явиться в Большой Дом, инкогнито пришла на мельницу и узнала у Гераго о том, что Харлампо, гоняясь за козой, прибежал на мельницу.

Харлампо и дедушка Хабуг объяснили ей, что дело его с козой ограничилось этой бесцельной и безвредной беготней.

Зачем, зачем, вопрошала тетушка Хрисула, ему надо было бегать за козой, когда в Анастасовке его дожидается невеста, белая, как снег, и невинная, как ангелица? Услышав ее слова, Деспина снова всплакнула.

Харлампо сказал, что все это получилось, потому что он объелся орехов и заболел ореховой дурью. Тетушка Хрисула презрительно отрицала само существование такой болезни. И она привела доказательство. Тетушка Хрисула сказала, что когда они в последний раз уходили с Деспиной из Большого Дома в Анастасовку, она по дороге съела почти полкорзины гречских орехов и никакой ореховой дурью не заболела.

— Правда, Деспина? — обратилась она к племяннице, но отозвалась Чунка.

— Конечно, правда! — воскликнул он по-турецки, кто же в этом усомнится!

— Нет, ты не видел, — сказала тетушка Хрисула, взглянув на Чун-

ку, — Деспина видела.

Деспина, грустно кивнув головой, подтвердила слова тетушки Хрисулы. И тут Харлампо, видимо, решил окончательно расплываться с аристократами. По-турецки, чтобы всем была понятна дерзкая прямота его слов, он сказал, что она не заболела ореховой дурью, потому что и она и ее брат и так от рождения безумны. (Делидур!)

— Да, — подтвердила тетушка Хрисула, горестно качая головой, — Хрисула, конечно, безумная, раз она разрешила своей невинной овечке обручиться с этим дьяволом.

— Ну, от овечки до козы не так уж далеко! — крикнул Чунка по-абхазски.

— Да замолчи ты, бессовестный! — замахнулась тетя Нуца на него.

Деспина снова беззвучно заплакала и снова стала утирать свои синие глазки концом своего синего платка.

И тут старый Хабуг сказал свое слово. Он сказал, что отделяет Харлампо тридцать коз в счет его будущей работы. Он сказал, что рядом с усадьбой дяди Сандро он высмотрел хороший участок для Харлампо. Он предложил там выстроить дом и этой же осенью сыграть свадьбу и поселить в нем молодых. Он сказал, что дрань и доски они начнут заготавливать с Харлампо с завтрашнего дня.

Медленно бледнея, Харлампо медленно встал с кушетки. Выражая взглядом безусловную власть над Деспиной, власть, выстраданную восемью годами ожиданий, он протянул непреклонную руку в сторону старого Хабуга и сказал непреклонным голосом:

— Вот твой отец, Деспина! Другого отца у тебя нет, Деспина! Фийлисе тон патеро су, Деспина! (Поцелуй своего отца, Деспина!)

И Деспина вскочила, Деспина расплакалась, Деспина рассмеялась и мгновенно преобразилась в прежнюю цветущую, веселую девушку. Она подбежала к старому Хабугу и, наклонившись, нежно обняла его и поцеловала в обе щеки. Старый Хабуг осторожно отстранил ее от себя, как переполненный сосуд, угрожающий пролиться на него непристойной для его возраста влагой молодого счастья.

— Теперь меня, Деспиночка! — крикнул Чунка по-русски.

И Деспина, взглянув на Чунку, весело расхохоталась, и тетушка Хрисула тоже мгновенно преобразилась в прежнюю тетушку Хрисулу и совсем прежним голосом предупредила племянницу:

— Дес-пи-на!

Преображение ее было столь удивительным, что все рассмеялись.

Через пять месяцев Харлампо справил свадьбу в своем новом доме, и тамадой на свадьбе был, конечно, дядя Сандро. На свадьбе было выпито много вина, спето много греческих и абхазских песен. Чунка рядом с тетушкой Хрисулой танцевал „сиртаки”, пытаясь или делая вид, что пытается рассказать о том, как они с Деспиной рвали инжир, и тетушка Хрисула с негодованием бросалась на него и закрывала ему

рот. Разумеется, тетушка Хрисула на этой свадьбе всех переговорила, переела, но перепить дядю Сандро ей все-таки не удалось.

По сложным психологическим соображениям старый Хабуг вместе с тридцатью отделенными козами, отдал и ту, заподозренную в особых симпатиях Харлампо. Оставь он ее у себя, дурноязыкие стали бы говорить, что он это сделал, чтобы не расстраивать семейную жизнь Харлампо.

Мне запомнилась картина, может быть, самого безоблачного семейного счастья, которую я видел в своей жизни. Вместе с несколькими женщинами мы, мальчики, идем от табачной плантации к табачному сараю. У женщин на плечах большие корзины с табаком.

Вот мы проходим мимо дома Харлампо. Харлампо стоит в загоне среди коз и придерживает за рога ту злополучную козу, наконец-то родившую козленка. А Деспина, беременная Деспина с большим животом, в широком цветастом платье, с подойником в руке, присаживается на корточки возле козы и начинает ее доить. А Харлампо сумрачно и победно озирается на нас, и я чувствую, что теперь сумрачность Харлампо — это маска, защищающая его счастливую жизнь от сглаза судьбы. Глядя на нас, он как бы приглашает обратить внимание на строгое, классическое, естественное, которое только могло быть и есть, расположение их фигур возле козы.

— Чтой-то он придерживает козу? — говорит одна из женщин, не поленившись остановиться и осторожно, чтобы удержать огромную корзину в равновесии, оборачивается к другой.

— Еще бы, — говорит другая с такой же корзиной на плече, — козе ж обидно...

Но она вдруг осекается, может быть, покоренная могучим, спокойным струением гармонии этой картины ветхозаветной идиллии.

Харлампо придерживает козу за рога, и сквозь сумрачную маску его лица, я чувствую, чувствую неудержимое, победное клочкотание его счастья. И в моей душе смутно брезжит догадка, что к такому счастью можно придти только через такие страдания. И сейчас, вспоминая эту картину и вспоминая то изумительное, сладостно растекающееся в крови чувство благодарности чему-то непонятному, может быть, самой жизни, которое я тогда испытал, глядя на Харлампо и Деспину, я думаю, у человека есть еще одна возможность быть счастливым — это умение радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение.

Через три года у Харлампо было трое детей. Первую, девочку, в честь тетушки назвали Сулой. Целыми днями тетушка Хрисула возилась с детьми. Сама Деспина к этому времени стала лучшей чегемской низальщицей табака, но сравняться с Тали она, конечно, не могла. Однако для молодой, аристократической женщины, рожающей каждый год по ребенку, это было немалым достижением.

После того, как Деспина родила третьего ребенка, тетушка Хрисула пришла в Большой Дом и сказала, что в течение одного года собирается дежурить у постели Деспины и просила кого-нибудь из женщин Большого Дома время от времени подменять ее. Когда у нее спросили, зачем она должна дежурить у постели Деспины, она отвечала, что надо не допускать Харлампо к постели Деспины, чтобы та отдохнула от беременности, хотя бы на год.

Тетя Нуца справилась у старой Шазины: принято ли по нашим обычаям дежурить не только у постели больного, но и у постели замужней женщины? Та отвечала, что по нашим обычаям тоже это принято, но разрешается дежурить только близким родственникам и поэтому обитательницы Большого Дома не могут сторожить у постели Деспины.

— Буду дежурить одна, пока сил хватит, — вздохнув, сказала тетушка Хрисула.

Но тетушка Хрисула, если и дежурила, то недолго, потому что грянула Отечественная война, и всю молодежь Чегема вместе с Харлампо забрали в армию.

В отличие от многих наших близких, в отличие от бедняги Чунки, которого убили в начале войны на западной границе, Харлампо вернулся домой. Да, он вернулся, и жизнь его была счастлива вплоть до 1948 года, когда его вместе с Деспиной и детьми, и тетушкой Хрисулой, и всеми греками Черноморья выслали в Казахстан.

... Грузовик возле правления колхоза. К этому времени машины стали подниматься до Чегема. Кузов, переполненный несколькими отъезжающими семьями. Рыдания женщин уезжающих и женщин, прощающихся с ними.

Шагах в двадцати от машины на бревнах уселись нахоленные, отчужденные, как орлы за вольером, чегемские старцы. Уже не постукивая, как обычно, посохами о землю, а угрюмо опершись на них, они неодобрительно поглядывают в сторону машины, изредка перебрасываясь словами.

Они как бы осознают, что происходящее должно было быть ими остановлено, но понимая, что не в силах ничего сделать, они чувствуют гнет вины за собственное молчание, оскверненность своей духовной власти.

...Зареванная Деспина то и дело прыгивает с кузова в толпу, чтобы обняться с теми, с кем не успела попрощаться. Тетушка Хрисула в черном платье стоит в кузове и кричит что-то непонятное, воздев худую руку к небесам. (Отцу народов мало было тысячи русских крестьянок, высланных в Сибирь, которых он, надо полагать, пробовал на роль боярыни Морозовой для картины нового, неведомого Сурикова, ему еще понадобилось тетушку Хрисулу попробовать на эту роль.)

Двое бледных, растерянных автоматчиков в кузове и внизу еще более бледный, с трясущимися губами офицер, старающийся унять лезущих, кричащих, протягивая руки в кузов машины, прыгивающих на землю и вновь водворяемых в кузов.

И над всем этим ревом, заплаканными лицами, протянутыми руками, сумрачное, бесслезное лицо Харлампо, с желваками, то и дело сокращающимися под кожей щек, с глазами, обращенными к чегемцам. Он покачивает головой, как бы напоминая о пророческом смысле своего всегдашнего облика. Он как бы говорит: да, да, я это предвидел и потому всю жизнь своим сумрачным обликом готовился к этому.

Офицер, отчаявшись отогнать чегемцев от машины, что-то крикнул автоматчикам, и они, прыгнув вниз и держа перед собой автоматы в горизонтальном положении, как шлагбаумы, стали отжимать толпу. Но так как задние не отходили, толпа не отжималась, а сжималась. И словно от самого сжатия толпы в воздухе сгушалось электричество спертого гнева. И офицер, вероятно, лучше других чувствовавший это, пытался опередить возможный взрыв нервного напряжения.

И все-таки взрыв произошел. Два мальчика-подростка, абхазец и греченок, обнявшись, стояли у машины. Один из солдат несколько раз пытался отцепить абхазского мальчика от его уезжающего друга. Но мальчики не разнимали объятий. И тогда солдат, тоже, вероятно, под влиянием нервного напряжения, толкнул мальчика прикладом автомата.

На беду тут же стояли двое дядей и старший брат мальчика. Все трое пыхнули разом! Брат мальчика и один из дядей выхватили ножи, а второй дядя вырвал из кармана немецкий „вальтер”.

Женщины завыли. Оба солдата, прижавшись спинами к кузову машины, выставили автоматы, а офицер, стоявший рядом с ними, забыв о своем пистолете, все повторял, как пластинка с иглой, застрявшей в борозде:

— Вы что?! Вы что?! Вы что?!

Брат мальчика все норовил выбрать мгновение и сбоку наброситься с ножом на солдата, ударившего мальчика. Первый дядя, держа его под прицелом своего „вальтера” и угрожая им, пытался его отвлечь, чтобы создать такое мгновение. Второй дядя грозил ножом второму автоматчику, державшему под прицелом того, что грозил „вальтером” первому солдату. Обе стороны, не сговариваясь, разом распределили, что кому делать.

И неизвестно, чем бы это все кончилось, если б на крики женщин, поняв, что в толпе случилось что-то ужасное, старейшина Чегема не поднялся бы с места. Он всадил свой посох в землю, расправил свои белые усы и пошел в сторону толпы, не меняя на лице выражения угрюмой, отчужденной нахохленности.

Он шел ровным, спокойным шагом, словно уверенный в том, что

если то, что случилось в толпе, можно ввести в разумные рамки, то оно, то, что случилось, и так его подождет. А если невозможно обуздать разумом то, что случилось, тогда и торопиться некуда.

Люди расступались, когда он, все еще нахохленный, вошел в толпу, которая пыталась ему рассказать суть случившегося и он, видно, сразу же поняв эту суть, теперь только брезгливо отмахивался от лишнего шума.

Ничего не говоря, он подошел к этим троим и, мгновенно определив степень опасности каждого, не ожидая сопротивления и даже не задумываясь о возможности сопротивления, небрежно вырвал нож из руки брата мальчика, потом из руки первого дяди пистолет, потом из руки второго дяди нож и все это почти не глядя отбросил в сторону, как железный мусор, как отбрасывает крестьянин к изгороди камни, вынутые из пахоты.

После этого он повернулся к мальчику, из-за которого все это произошло, и с размаху сильно шлепнул его ладонью по голове. У мальчика с головы слетела войлочная шапочка, но он, не поднимая ее, повернулся и пошел сквозь толпу, нагнув голову и, видимо, сдерживая слезы обиды. Так и ушел, ни разу не оглянувшись.

— Ты бы у них отнял автоматы, а мы бы поглядели, — нервно крикнул владелец „вальтера”, — а то привыкли над нами куражиться!

Толпа неодобрительно зашумела.

— Солдат — казенный человек, — сказал старец, обращаясь к толпе, — он делает, что ему сказали... На Большеусого, видать, снова нашло вурдалачество... Время, в котором стоим, такое, что даже, если тебя палкой ударят, надо смолчать...

— Эх, время, в котором стоим, — вздохнули в толпе.

Старец повернулся и пошел к своим товарищам, ожидавшим его, приподняв нахохленные головы и не проявляя никаких внешних признаков любопытства.

— В машину! — крикнул офицер солдатам и сам вскочил в кабину, стараясь опередить толпу. Солдаты взлетели в кузов, но толпа опять успела облепить его.

Машина засигналила и тихо тронулась. Грянул прощальный рев, а офицер, высунув руку в окно, конвульсивно махал ею, чтобы остающиеся отцепились и продолжал махать, пока они окончательно не отстали.

...Сегодня не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится и слух мой осиротел. Я с детства привык к нашему маленькому Вавилону. Я привык слышать в воздухе родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турецкую речь, эндурскую речь (да, да, дядя Сандро, эндурскую тоже!) и теперь, когда из этого сладостного многоголосья, из брызжущего свежестью щебета народов, выброшены при-

вычные голоса, нет радости слуху моему, нет упоения воздухом родины!

...Вот так Харлампо и Деспина исчезли из нашей жизни навсегда. Но я надеюсь, они сильные люди и там на сухой казахстанской земле укоренились, зажили своим домом, своим хозяйством, и тетушке Хрисуле, надо думать, нашлось, что пожевать. Но в Казахстане, по моему, нет инжира, а тетушка Хрисула так любила инжир, особенно черный.

Впрочем, с тех пор прошло столько времени, что тетушка Хрисула, конечно уже умерла, и я уверен, что светлая душа ее сейчас в садах Эдема вкушает столь любимый ею черный инжир.

БРИГАДИР КЯЗЫМ

В течение войны и двух послевоенных лет в Чегеме трижды исчезала из колхозного сейфа большая сумма денег. И так как ключ от сейфа каждый раз был только у бухгалтера и бухгалтер никак не мог объяснить, куда делись деньги, его сажали.

Неделю назад был взят под стражу третий бухгалтер, когда обнаружилось, что из сейфа исчезло сто тысяч рублей. Бухгалтера отправили в кенгурийскую тюрьму, а председатель колхоза Аслан Айба пришел в Большой Дом просить помощи у Кязыма.

Кязым по праву считался одним из самых умных людей Чегема. К тому же всем было известно, что он раскрыл несколько преступлений, совершенных в Чегеме и окрестных селах, преступлений, которые не могла раскрыть кенгурийская милиция.

В простой крестьянской жизни всякий дар человека, если смысл этого дара ясен и нагляден, признается окружающими спокойно и безоговорочно. Тогда как в интеллигентной среде, где наглядность того или иного дара как бы менее очевидна, то есть она чаще всего выражается в словах и подтверждается или опровергается словами же, оценки людей гораздо более запутаны и авторитеты гораздо чаще ложны.

Например, хороший поэт как будто бы не менее самоочевиден, чем хороший хозяин, но оспорить ценность стихов хорошего поэта легче, чем оспорить дар хорошего крестьянина, состояние поля или скотины которого слишком явно говорит за себя.

К тому же крестьянин, который хозяйствует хуже своего соседа, если бы стал утверждать, что на самом деле он хозяйствует лучше, выглядел бы вдвойне глупо. Продолжая получать урожай со своего поля меньший, чем у соседа, он бы еще потерял уважение односельчан.

А между тем, в интеллектуальной среде дурная мысль, утверждая, что она богаче благородной мысли, может по многим причинам временно затмить ее и может собрать больший урожай признания. Поэтому в интеллигентной среде соблазн лицемерия сильнее и больше возможностей для саморазвращения души.

Но именно поэтому лучшая часть интеллигенции нравственно мощней лучшей части крестьянства, потому что душа ее постоянно закаляется в борьбе с ложью и демагогией.

И именно по этой же причине большая часть крестьянства нравственно выше большей части интеллигенции, потому что большая часть интеллигенции самоутверждается за счет постоянного подвирания, а большей части крестьянства в сущности незачем подвирать.

Вот почему молодой председатель колхоза Аслан Айба, не испытывая никакого стеснения, приехал сегодня в Большой Дом просить помощи у неграмотного бригадира Кязыма.

Сейчас они оба сидели на скамье у кухонного очага и разговаривали об этом деле. Кязым сидел, положив нога на ногу и обхватив руками колено, глядя на огонь, слушал председателя.

— Ну, этих двоих взяли до меня, — говорил председатель, пошлепывая камчой по полу, — и я поверил, что они проворовались... Но я никак не могу поверить, что мой бухгалтер, бедняга Чичико, забрал из кассы такие деньги. И на что он мог надеяться? Может, дал кому-нибудь из своих городских родственников, есть у него там торгаш один, а тот не успел вернуть? Голова лопается, а понять не могу.

— Все эти три воровства сделаны одной рукой, — сказал Кязым, продолжая глядеть в огонь... — А так как третий раз украли деньги, когда двое бухгалтеров уже сидели, правильно будет думать, что эта рука принадлежит совсем другому человеку.

— Но кому же, — пожал плечами председатель и хлопнул камчой по полу, — ключ всегда был только у бухгалтера. Умоляю, подумай об этом как следует.

— Я подумаю, — сказал Кязым, скручивая сигарку. Скрутив ее, он наклонился к огню, озарившему его красивую, коротко остриженную голову с впалыми щеками и с маленькими глубоко посаженными глазами. Он приподнял головешку и, щурясь от дыма, прикурил и бросил обратно в очаг брызнувшее искрами полено.

Через несколько минут они вышли из кухни, и Кязым отвязал председательского каракового жеребца, привязанного к перилам кухонной веранды и, придерживая нетерпеливого коня, помог председателю сесть на него.

Был жаркий летний день, но небо покрывали разорванные, куда-то плывущие облака, и солнце то появлялось, то исчезало. И если с чегемских высот глядеть на окружающие холмы и долины, они были в тенистых и солнечных пятнах, как шкура неведомого животного.

Кязым провожал председателя к верхним воротам двора, мягко ступая по зеленой траве чувяками из сыромятной кожи. Он шел своей легкой, как бы ленивой походкой, однако свободно поспевающей за пританцовывающим жеребцом.

Сейчас они говорили о новом табачном сарае, который Кязым вместе с помогавшим ему Кунтой покрывал дранью. Он обещал председателю через неделю закончить работу.

Кязым распахнул ворота, и жеребец, выйдя на верхнечегемскую дорогу, защелкал по камням нетерпеливыми копытами.

— Прощу, как брата, подумай как следует! — перекрикивая щелкающие копыта своего коня, бросил назад председатель и огрел камчой внезапно вспыхнувшего и залоснившегося червонными подпалинами жеребца — солнце глянуло из-за облаков.

— Ладно, — сказал Кязым, невольно любуясь сильным, уносящим за поворот дороги щелканье жеребцом.

Щелканье это, грустной сладостью отдавшееся в душе Кязыма, наконец, смолкло, и он перевел взгляд на улы, стоявшие от него налево вдоль плетня. Руки его с большими разработанными кистями были по привычке засунуты за оттянутый ремешок тонкого кавказского пояса, что невольно подчеркивало особенность его фигуры с необычайно впалым животом и выпуклой грудью.

Со двора раздавался почти несмолкающий смех и визг детей. Это его младшая дочка Зиночка со своей ровесницей рослой Катусхой, дочкой Маши, катали на овечьей шкуре его четырехлетнего сына.

На неровностях зеленого двора девочки пытались сдернуть из-под малыша шкуру, на которой он восседал, вцепившись крепкими ручонками за ключья свалявшейся шерсти. Большая черная дворняга тоже принимала участие в игре и, полаивая, трусила за шкурой. Когда малыш шлепался со шкуры, девочки продолжали бежать, делая вид, что не заметили потери. Но тут их догоняла собака и, вцепившись в шкуру, шутиливо рыча, пыталась их остановить, чтобы они подобрали малыша.

— Упал! — раздраженным голосом кричал им вслед маленький Гулик, как если бы речь шла не о нем, а о каком-то постороннем предмете. Именно постоянство этой интонации и поза малыша смешили девочек, и они, заливаясь хохотом, как бы спохватывались, что шкура опустела. А малыш издали каждый раз почему-то не меняя позы, в которой он очутился, слетев со шкуры, сердито смотрел им вслед, как бы говоря: — Вот дуры-то, никак не научатся катать меня!

Кязым, не вынимая цыгарки изо рта, стоял возле ульев, вслушиваясь не то в дружный гул пчел, влетающих и вылетающих из летков или ползающих вокруг них, не то вслушиваясь в далекую песню женщин, нижущих табак в табачном сарае, не то в брызжущие радостью голоса детей, волочущих по двору овечью шкуру.

На самом деле он слушал все это и одновременно думал о том, что случилось с колхозным сейфом. Он чувствовал, что этот мотор уже включился и то, что он слышит и видит вокруг, уже не мешает, а, наоборот, помогает спокойно думать.

Продолжая думать о своем, он подошел к крайнему улью, выплюнул окуроч, нагнулся и плавно, чтобы не раздражать пчел, обхватив двумя руками колоду, приподнял ее. По тяжести колоды он почувствовал, что в ней накопилось достаточно меда. Обычно он так определял, пора качать мед или нет. После долгой, дождливой погоды, он так же определял, есть ли мед в улье, делая мысленную скидку на отяжелевшую от дождя колоду.

Сейчас он решил вскрыть ульи. Возвращаясь на кухню, он мимоходом залюбовался озаренными солнцем лицами босоногих девочек, волочащих шкуру, и своим малышом, важно восседающим на ней. Увидев, что Кязым на мгновение остановился и смотрит на них, собака, бежавшая за шкурой, тоже остановилась, словно спрашивая у хозяина: — Не выглядит ли это постыдным, что я взрослая, умная собака забавляюсь с детьми?

Но тут Кязым перевел взгляд на свою рыжую корову, стоявшую у противоположной стороны двора, уныло опустив голову со струйкой слюны, стекающей изо рта. Рыжуха уже целую неделю не паслась, она только пила мучной отвар, который готовила ей жена Кязыма. Она не подпускала к себе теленка, потому что у нее под выменем образовалась огромная опухоль и чтобы насильно выдоить корову, кому-нибудь приходилось придерживать ее за рога.

Пока он глядел на нее, солнце зашло за облако, и сразу потускнел зеленый двор и брызжущие весельем голоса детей как бы отдалились. Кязым вспомнил, что сегодня к вечеру он просил подойти четверых соседских парней и он вместе с ними собирался свалить корову и вскрыть опухоль.

На том конце двора хлопнула калитка. Это жена его Нуца поднялась с родника с медным кувшином на плече. Чуть наклоненная вперед, тонкая, худая, она мерными и сильными шагами пересекала двор. Он вошел в кухню вслед за ней и когда она, охнув, опустила кувшин с плеча и поставила его возле дверей, он взял со стола кружку и, наклонив мокрый, ледяной кувшин, налил себе воды и медленно выпил.

— Когда ж ты возьмешься за Рыжуху, — сказала жена, тяжело переводя дыхание, — жалко животную, да и я с ней замучилась.

— Сегодня вечером, — ответил он и прошел в кладовку. Там он снял висевший на стене таз, вложил в него охапку специально засушенного конского помета, лежавшего в деревянном корыте, вышел на кухню, достал из очага пылающую жаром головешку и сунул ее в таз. Помет сразу же задымил едким пахучим дымом. Он достал с очажного карниза кривой обоюдоострый нож для срезания сог, жена подала ему большое ведро, и он, взяв его в одну руку, а другой придерживая свой дымарь, вышел из кухни.

— Ох, и закусает тебя когда-нибудь пчелы, — сказала ему вслед жена, но он ей ничего не ответил. Он всегда вскрывал ульи без сетки

и рукавиц.

— Пепе мед будет доставать! — закричала Зиночка и вместе со своей двоюродной сестричкой, бросив шкуру, побежала за ним. Так почему-то называли его дети. Малыш Гулик тоже, стараясь не отстать, однако и не выпуская шкуру, ковылял за ними. И только собака осталась на месте и теперь сидела, слегка склонив свою большую голову, по опыту зная, что хозяин не любит, чтобы подходили к нему, когда он вскрывает ульи.

Кязым обернулся и строго посмотрел на детей, показывая, чтобы они не шли за ним. Дети остановились. Малыш тоже стал, все еще придерживая шкуру.

Кязым снова стал подниматься к ульям и снова услышал за собой шорох волочащейся шкуры. Он обернулся и снова молча и строго посмотрел на детей сквозь клубы дыма, поднимающегося из таза. Малыш, все еще сжимающий в руке край шкуры, теперь был впереди. Он меньше других чувствовал силу отцовской строгости и потому теперь оказался впереди. Но на этот раз девочки прониклись сознанием власти обычаев, не разрешающих ни подходить, ни разговаривать вблизи человека, вскрывающего ульи. Зиночка взяла за руку малыша и, шепотом уговаривая его, повернула назад.

Тихими, плавными шагами Кязым подошел к крайнему улью. Осторожно, чтобы не звякать, поставил ведро, опустил таз и положил рядом нож. Таз все гуще и гуще продолжал дымить едким дымом лошадиного помета. Он любил этот запах, как и все, что связано с лошадьёю. Да, как все, что связано с лошадьёю, но об этом лучше было не думать.

Он наклонился над ульем, крепко ухватился обеими руками за середину верхней части раздвоенной колоды, приподнял ее и, перевернув, поставил на землю. Из колоды пахнуло сильным запахом свежего меда. Пчелы взволнованно загудели вокруг него. Он так переставил таз, чтобы движением дыма подальше оттеснить пчел. Таз дымил все гуще и гуще.

Перевернутая половина колоды была почти заполнена ровными рядами золотящихся и темнокоричневых сот. Он взял в руки нож и стал медленными плавными движениями соскабливать сочащиеся соты и, приятно чувствуя ладонями их легкую тяжесть, перекладывать в ведро. Одна пчела исхитрилась укусить его в кисть руки и застряла на ней, не в силах вытащить жала. Он спокойно отщелкнул ее пальцем другой руки и продолжил работу. Примерно, половину сот он вытащил из колоды, а остальное оставил на прокорм пчелам. Так, медленно переходя от одного улья к другому, он откачал все десять. Ведро с верхом было наполнено сочащимися, янтарными и темно-коричневыми сотами. В ячейках некоторых из них шевелились полузадохшиеся пчелы.

Солнце снова выглянуло из-за облака и засверкало в слитках сот, дробясь в темнокоричневых и опрозрачивая янтарные. Кязым воткнул нож в соты, взял в одну руку ведро, в другую все еще дымящийся таз и, подойдя к изгороди, вывалил в кусты крапивы остатки дымящегося помета.

Боль в искусанных ладонях напомнила ему о корове, он глянул туда, где она стояла. К ней подошел теленок и несколько раз попытался ткнуться ей в вымя, но она каждый раз отодвигалась от него, а потом даже отогнала его рогами. Не в силах осознать причину раздражения матери, теленок уныло постоял, а потом отошел к другим телятам и стал щипать траву.

— Пепе мед достал! Пепе мед достал! — кричали одновременно Зиночка и маленький Гулик, пока он переходил двор. Катуша, стоя рядом с ними, застенчиво рдела, стыдясь из-за своей чрезмерной роста так откровенно радоваться предстоящему лакомству.

Они вслед за ним вошли в кухню. Малыш все еще волочил за собой шкуру. Дети уселись на скамью возле кухонного очага. Нуца раздавала им железные миски и, отрезая большие куски сот, шмякала каждому из них в миску.

— Мащ-аллах! (Благодать!), — сказала она и прямо с кончика ножа отправила себе в рот большой кусок сот.

— Смотри, нож не проглоти, — сказал Кязым, взглянув на жену.

— Может, попробуешь? — спросила она у него, жуя и смачно обсасывая вошину.

Кязым сморщился — он не любил сладкого.

— Полей мне, — сказал он и вышел на веранду. Жена вынесла ему кувшинчик с водой, и он с мылом тщательно вымыл свои липкие от меда, искусанные пчелами ладони.

Потом он покурил, сидя у огня, с удовольствием прислушиваясь к чмоканию детей, к их радостным восклицаниям, к их пугливым выкрикам, когда они отмахивались от пчел, вслед за медом влетевших в кухню. Кязым насмешливо потеплевшими глазами косился на малыша, который, наконец, бросил свою шкуру и обеими руками записывал в рот куски сочащихся сот.

— Я буду у себя в комнате, — сказал он жене, вставая, — кто бы ни спрашивал, говори, что меня нет.

— Хорошо, — сказала Нуца и, приподняв ведро с медом и взяв в другую руку таз, пошла в кладовку, где повесила таз на место, а мед переложила в кадку.

Почти до самого вечера Кязым лежал у себя на кушетке и думал, изредка выходя на кухню, чтобы прикурить от очажного огня. Корова все еще неподвижно стояла у штакетника и, только если к ней подходил теленок, она отодвигалась, и он, уныло, постояв возле нее, снова отходил к двум другим телятам.

— Подымайся, ребята пришли, — сказала жена, входя в комнату, где лежал Кязым.

— Ага, — сказал он и, привстав, еще несколько мгновений, очнувшись от своих мыслей, сидел как бы спронею. Потом он встал и пошел на кухню.

Четверо молодых парней сидели на кухонной скамье и весело болтали, ложками доставая соты из железных мисок и сплевывая выжеванную вощину в огонь. Увидев его, ребята встали, смущенно замолкая и как бы по инерции дожевывая то, что у них оставалось во рту. Он посадил их движением руки, показывая, что они могут продолжать баловаться угощением. Налив из кувшина кружку воды, он вышел на веранду и уселся на скамью возле точильного камня. Плеснув воды на камень, он вынул из футляра, висевшего у него на поясе, нож и доточил его.

— Вынеси-ка первача! — крикнул он жене, плеснув остатки воды на лезвие ножа. Жена принесла из кладовки поллитровую бутылку розовой чачи. Он открыл бутылку, заткнутую оструганным куском кукурузной кочерыжки и, не скупясь, облил с обеих сторон лезвие ножа пахучей виноградной водкой. Продолжая держать нож в руке, он закупорил бутылку и крикнул на кухню:

— Вставайте, сладкоежки!

Ребята, посмеиваясь и дожевывая вощину, вышли из кухни. Держа в одной руке нож, а в другой бутылку с чачей, Кязым вместе с ребятами вышел во двор.

Собака, увидев в его руке нож, потянулась за ними, думая, что он собирается резать корову и ей, как это бывает в таких случаях, кое-что перепадет.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и она, остановившись посреди двора, стала издали следить за ними.

Кязым первым подошел к корове. Опустив голову и не пытаясь отгонять мух, кружащихся возле нее и ползающих вокруг ее печальных глаз, она стояла у штакетника. Кязым поставил бутылку, прислонив ее к штакетнику, и вонзил нож в одну из планок. Потом он разогнулся и встал перед головой коровы, содрал ладонью мух, лепившихся возле ее глаз, и, придерживая ее одной рукой за рога, другой стал почесывать холку.

— Вы будете придерживать ее с той стороны, — сказал он двоим парням, — чтобы она не грохнулась на землю, а вы по моему знаку сдерните ее с ног.

Он выбрал глазами двоих, что покрепче, и поставил их возле коровы, чтобы они обеими руками одновременно выдернули из-под нее заднюю и переднюю ногу. Двое других, поставленные с другой стороны, должны были в это время подхватить корову, чтобы она мягко легла на землю.

По знаку Кязыма двое парней, те, что присели на корточки, взявшись обеими руками за дальнюю от себя переднюю и заднюю ногу коровы, дернули изо всех сил, но корова устояла. Несколько раз он им подавал знак, но то ли сил у них не хватало, то ли они не успевали это сделать одновременно, но корова только вздрагивала, переступала с ноги на ногу, но не падала.

— А ну-ка отойдите, — сказал Кязым, и оба парня, сидевшие на корточках, красные не столько от предыдущего напряжения, сколько от стыда, распрямились. Он поставил одного из них держать корову за рога, а другого присоединил к тем, что должны были ее подхватить.

Он присел на корточки и, приговаривая ласковые слова, стал поглаживать переднюю и заднюю ноги коровы, чтобы она расслабилась.

— Приготовьтесь, — сказал он парням, не меняя ласковой интонации, чтобы скрыть от коровы то, что он собирался сделать и, обхватив своими большими ладонями ноги коровы у самых бабок — йех! мощным и резким движением вырвал из-под коровы обе ноги, но она, словно спохватившись, пыталась несколько секунд устоять на двух, а потом опрокинулась, но ее подхватили стоявшие с другой стороны ребята и не дали ей рухнуть.

— Ну и силища, — сказал один из тех, что приседал на корточки, — заживо нас похоронил...

— Так мы ж дети войны, — отшутился второй, — а Кязым Николаевский, на мясе вырос...

Да, Кязым знал, что все еще силен, но сердце у него ни к черту не годилось. После особо тяжелой работы или крепкой выпивки оно слишком давало о себе знать. Да и сейчас он несколько минут сидел на корточках, стараясь отдышаться.

Отдышавшись, он наклонился и стал рассматривать большую опухоль, вздувшуюся у самого вымени.

— Держите ее, — сказал Кязым и стал, осторожно нажимая на сосцы, выдаивать корову. Корова вздрагивала при каждом нажиме и тихо стонала. Молоко было розовым от крови. Отдоив ее, он потянулся за ножом, вытащил его, перенес в правую руку и стал поглаживать место опухоли, стараясь понять, куда брызнет гной и не оказаться на его пути. Он поднес к опухоли нож.

— Сейчас изо всех сил держите! Особенно задние! — приказал он ребятам.

Двое парней придерживали корову за задние ноги, один за передние, а один за рога, чтобы она не ушиблась, ударившись головой о землю.

Кязым полоснул острым, как бритва ножом вдоль по опухоли. Корова сдавленно мыкнула и дернулась изо всех сил. Фонтан гноя выхлестнул из раны.

— Крепче держите! — яростно заорал Кязым и еще раз полоснул ножом по опухоли, на этот раз поперек первого надреза. Теперь гной шел вместе с кровью.

Кязым обеими руками сдавливал живот коровы вокруг раны, чтобы как можно больше крови и гноя вышло из нее. Корова стонала, как человек. Кязым взял в руки бутылку, открыл ее, и опять приказав ребятам, как можно крепче держать корову, стал медленной вливать в рану огненную чачу. Корова то и дело вздрагивала, шумно отдувалась, стонала. Он вливал долго, замедленно, стараясь, чтобы водка, как можно глубже проникла в распахнутую рану.

— Хоть бы нам немного оставил, — пошутил один из парней. Кязым оставил его слова без внимания. Такая шутка по абхазским обычаям была не по возрасту фамильярной.

Корову отпустили и отошли на несколько шагов. Она полежала, полежала, а потом, пару раз дернувшись, перевернулась на живот, встала на ноги и отошла на несколько шагов. Почувяв кровь, собака стала медленно подходить к тому месту, где до этого лежала корова.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и собака, отпрыгнув, отошла на середину двора, дожидаясь, когда они отойдут от коровы. Но тут жена Кязыма принесла на лопатке горячую золу из очага и тщательно присыпала те места, куда пролилось молоко, кровь и гной.

х х х

На следующее утро Кязыма разбудил радостный голос жены:

— Рыжуха пасется! — крикнула она, входя в комнату, где он лежал. Кязым встал, оделся и вышел на веранду. Корова паслась посреди двора. Если приглядеться, можно было понять, что она не так охотно щиплет траву, как обычная корова, но все-таки это был явный признак, что она выздоравливает.

Пока он умывался, к ней подошел теленок, но она на этот раз не дожидаясь, когда он ткнется ей в вымя, бодро отошла от него на несколько шагов и снова стала щипать траву. Теленок уныло постоял, словно все еще силясь понять, что случилось с матерью, а потом стал вяло пощипывать траву.

Жена с ведром и хворостиной в руке пошла на скотный двор доить коз.

— Лошадь не выпускай! — крикнул он ей, утираясь полотенцем.

— Куда это ты собрался? — обернулась Нуца.

— Куда надо, — сказал он и пошел на кухню.

Восемнадцать лет он жил со своей женой, и она, ревнуя его ко всем его делам, не относящимся к дому и хозяйству, всегда пыталась отлучить его от этих дел, и хотя за все эти годы ей ни разу не удалось это, она так и не смирилась и не оставляла своих упорных, хотя и обре-

ченных попыток.

Он зашел на кухню, разгреб спрятанные в золе еще непогасшие угольки, потом вышел на кухонную веранду и принес оттуда охапку дров и сухих веток. Наломав веток, сгреб угольки и, дуя на них и накладывая сверху пучок наломанных веток, выдул огонь, и когда он как следует занялся, подложил дров.

Потом он зашел в кладовку, где на стене гирляндой висела низка сухого табака. Выдернув из нее охапку листьев и вернувшись на кухню, он сел верхом на скамью. Беря из вороха табачных листьев по одному листу, он, положив его на скамью разглаживал своей большой ладонью приятно похрустывающий лист и, как следует разгладив, придавливал его к скамье растопыренными пальцами, а другой рукой, взявшись за черенок, осторожно, чтобы не повредить лист, отпарывал его вместе со всеми прожилками, вылезавшими сквозь его растопыренные пальцы. Отпарывая черенки, он аккуратно складывал листья, как складывают деньги, и может быть, получал от этого не меньше удовольствия, чем торговец, приводящий в порядок шальную выручку, или удачливый игрок. Потом он перегнул всю пачку, что тоже нередко проделывают владельцы денег и не только шальных и, вынув свой нож, с хрустом перерезал ее, что полностью исключает всякое, даже отдаленное сходство с действиями владельцев денег.

Сложив перерезанную пачку листьев и сравнив оба надреза, он стал тонкими стружками состругивать табак. Нарезав его до последнего маленького комочка, который он вместе с черенками отшвырнул в огонь, он разрыхлил и распушил руками кучерявящиеся стружки табака и, вынув из кармана свою большую кожаную табакерку, плотно набил ее.

Как и всякому истинному курильщику эта возня с табаком доставляла ему удовольствие. Он вынул клочок газетной бумаги, оторвал от нее на цыгарку, промял в пальцах, насыпал табаку, свернул, прикурил от огня и с удовольствием затянулся.

Вошла жена с полным ведром молока.

— Пора бы разбудить твоих лежебок, — сказал он, вставая.

— Оставь детей, — ответила Нуца, переливая молоко сквозь цедилку в котел, — пусть спят до завтрака.

Он снял с кухонной стены уздечку и вышел во двор.

— Куда это ты собрался? — крикнула жена ему вслед, голосом заранее осуждая его поездку.

— В правление, — ответил он, не останавливаясь.

— Что это ты там потерял? — крикнула она вслед его стройной, высокой фигуре, пересекающей двор. Он ей ничего не ответил.

С тех пор, как его любимая лошадь Кукла, во время войны мобилизованная для доставки боеприпасов на перевал, вдруг сама вернулась домой, до смерти замученная, со стертой спиной, а главное, он

был в этом абсолютно уверен, со сломленным духом, с навсегда испорченными скаковыми качествами, он дал себе слово никогда не заводить лошадей. Ни один человек в мире не знал, как он пережил тогда порчу любимой лошади, и он дал себе слово больше никогда в жизни не заводить лошадей. Куклу он продал, чтобы вид ее не терзал душу.

И все-таки недавно его друг Бахут, который тоже был лошаадником и кое о чем догадывался, предложил ему эту лошадь.

— Посмотри, — сказал Бахут, — не понравится — вернешь, а понравится — купишь...

После той последней лошади он боялся полюбить какую-нибудь лошадь. И он старался к этой лошади относиться, как к обычной домашней скотине, и как будто это ему удавалось, но что-то во всем этом было не то. Лошадь была хорошая и ему, прирожденному лошааднику, надо было породниться с ней, но память о той боли вызывала боязнь ее повторенья и он удерживал себя. И это в глубине души его порождало ощущение вины перед лошаады, и он был уверен, что сама лошадь чувствует его несправедливое равнодушие к ней, его холодность. Разумеется, ни одному бы человеку в мире он не признался в этом. Он был прирожденный лошаадник и до войны неоднократно брал призы на скачках, но с этим, он считал, навсегда покончено.

Он зашел на скотный двор, поймал лошадь, надел на нее уздечку и, приведя во двор, привязал к кухонной веранде.

— Говори людям, что Нури в городе растратил деньги и попал в беду, — сказал он жене, войдя в кухню, — говори людям, что нам нужно у кого-нибудь занять пятьдесят тысяч рублей.

Нури был младшим сыном Хабуга. Перед войной он, повздорив с мужем своей сестры и будучи необычайно вспыльчивым парнем, запустил в него топором, и тот умер от кровотечения. Дело удалось замаять, потому что властям никто не жаловался, однако на семейном совете Нури был навсегда изгнан из семейного клана и Чегема.

Но после войны, когда старого Хабуга уже не стало, когда столько близких не вернулось домой и сам Нури был тяжело ранен, отношение к нему смягчилось. Он стал изредка приезжать в Чегем из города, где он жил, и только сестра, беззаветно любившая своего мужа, не прощала его, не виделась с ним и не разговаривала.

— Да ты что надумал! — услышав слова мужа, воскликнула Нуца и, обернувшись к нему, так и застыла с мамалыжной лопаточкой в руке.

— Так надо, — твердо сказал Кязым и, скрутив цыгарку, нагнул ся и ткнул ее в жар очага.

— Да во всем Чегеме не найдется таких денег! — воскликнула жена.

— Думаю, кое у кого и больше найдется, — сказал он, усмехнувшись.

— Да чтоб я отрыла кости своих покойников, если во всем Чегеме найдутся такие деньги! — воскликнула жена.

— Оставь в покое кости своих покойников, — сказал он, — и займись своей мамалыгой.

— Ты лучше скажи мне, что ты надумал! — опять тревожно спросила жена, и он, в который раз подивился ее упорству. Восемнадцать лет она неизменно спрашивала у него, что он надумал, и за это время он ни разу не признался ей в том, что он надумал, и все равно она каждый раз, когда он что-нибудь затевал, пыталась вытянуть из него его помыслы. Но он никогда ей не открывался в своих помыслах и тем более сейчас не мог открыться, потому что она своим куцым бабьим умом могла все испортить.

— Делай, как я тебе сказал, — проговорил он твердо, — когда надо будет, узнаешь!

Она поняла, что ничего от него не добьется и некоторое время молча мешала мамалыжную заварку своей лопаточкой.

— Смотри, в беду не попади, — вздохнула она через минуту и стала сыпать муку в мамалыжный котел.

— Авось, не попаду, — сказал он.

Нуца молчала, но по глухому, яростному стуку мамалыжной лопаточки о дно котла, он понимал, что она сдерживает раздражение.

Дети встали, и старшая дочь, семнадцатилетняя Ризико, взяв кувшин, пошла на родник за водой.

— Опухли со сна, — сказал он, обращаясь к старшему сыну Ремзику и дочке Зиночке, потиравшей свое сонное, хорошенькое личико.

— Оставь детей! — бросила жена, с трудом проворачивая мамалыжной лопаточкой густой замес мамалыги.

— Пепе, конфет привези! — строго сказал ему малыш, перековыляв через порог кухонной двери. Увидев лошадь, привязанную к перилам кухонной веранды, он понял, что отец куда-то едет и решил немедленно извлечь пользу из этого факта. Кязым молча глянул на малыша насмешливо потеплевшими глазами.

— Погонишь коз в глубину котловины Сабида и веди их все время вдоль ручья, — сказал он старшему сыну, севшему на кушетке, — там выпасы хорошие.

— Знаю без тебя, — огрызнулся сын.

— Как ты с отцом говоришь? — обернулась к сыну Нуца.

Кязым промолчал. Ремзику было пятнадцать лет, и он уже стыдился, что его заставляют пасти коз. Это было то странное и новое, что медленно, но неостановимо входило в Чегем. Почему-то все стыдились пастушить, чего никогда не стыдились их отцы и деды.

Позавтракав вместе с семьей, Кязым вынес остатки мамалыги и стал кормить собаку, молча дожидавшуюся своего часа у порога кухонной веранды. Небольшими ломтями он бросал ей мамалыгу, чтобы

она не подавилась от жадности. Лоснясь на солнце черной шерстью, она, благодарно помахивая хвостом, клацнув зубами, ловила добычу и почти мгновенно, как бы давясь удовольствием, ее проглатывала.

Потом он вымыл руки и оседлал лошадь.

— Соли купи, раз уж ты едешь туда, — сказала жена и, вынеся мешочек, попыталась приторочить его к седлу. Но он взял у нее мешочек и сунул его в карман. Он знал, что в доме еще достаточно соли, но жена этой просьбой как бы привязывала его к семье, от которой, как ей казалось, он все норовит оторваться ради каких-то особых мужских или общечегемских дел.

Он отвязал лошадь, молча перекинул через седло свое легкое, сильное тело и зарысил через двор на верхнечегемскую дорогу.

Минут через сорок он въехал в сельсоветовский двор и, привязав лошадь у коновязи, поднялся в правление колхоза. Две счетоводки, одна молодая девушка, а другая женщина его возраста, склонившись к своим столам щелкали счетами. Казалось, их печальные лица все еще излучали траур по арестованному бухгалтеру.

— У себя? — кивнул он на председательскую дверь.

— Да, — ответили обе, вставшие при его появлении. Лицо той, что была старше, тихо оживилось отсветом далекой нежности. Он рукой им показал, чтобы они садились, и прошел в кабинет председателя.

Эта женщина, его ровесница, всю жизнь любила Кязыма, о чем он, вероятно, никогда не догадывался. В юности она считала его настолько умнее и красивее себя, что никогда ни ему, ни кому другому не раскрывалась в своей любви. Она считала, что он достоин какой-то необыкновенной девушки и у него как будто была такая из села Атары и между ними было слово, так говорили люди. Но та девушка вдруг вышла замуж за другого человека, а Кязым через много лет женился на своей теперешней жене. Что там случилось, она не знала. Прошли годы, она сама вышла замуж, родила детей, но чувство не прошло, прошла боль, и она продолжала издали следить за его жизнью и тревожиться за него, потому что знала, что у него большое сердце.

Минут двадцать он находился в кабинете председателя и сейчас обе женщины удивлялись, что из кабинета не доносится голосов. Ясно было, что там нарочно говорят очень тихо. Наконец, скрипнул отодвинутый стул, и они услышали голос Кязыма:

— Только, чтобы ни один человек не знал, иначе все сорвется...

— О чем ты, Кязым, — раздался голос председателя, — это умрет между нами...

Дверь открылась, и Кязым вместе с председателем вышли в комнату, где сидели счетоводки.

— А у тебя в сводке ошибка, — сказал Кязым, усмешливо глядя на девушку. Последнее слово он сказал по-русски. Оно легко вошло

в абхазский язык, как некое важное государственное понятие, которое в переводе звучит не вполне точно.

— Разве? — спросила девушка, густо краснея. Она знала, что он никогда не ошибается.

— А ну берись за свою щелкалку, — сказал он, подходя к столу.

Он знал, что она ненарочно ошиблась, но ему всегда доставляло удовольствие уличать в ошибках и поправлять грамотных людей. Он стал перечислять работы, проделанные его бригадой за последний месяц. И когда она перемножала гектары прополотой кукурузы и табака, шнурометры нанизанных табачных листьев, он стоял над ней, каждый раз в уме умножая быстрее и называя цифру раньше, чем она выщелкивала ее на счетах.

— Ну вот, умница, видишь, — говорил он, когда названная им цифра совпадала с той, которую она выщелкнула. Если она ошибалась, а иногда она ошибалась и от того, что председатель на нее смотрел и Кязым стоял над душой, он говорил:

— А ну перещелкай наново!

И она перещелкивала, и все получалось так, как он говорил.

— Эх, — сказал председатель, когда он закончил проверку сводки, — если б кое у кого в Кенгурске была такая голова, мы бы к чему-нибудь вышли.

— Бери выше! — не удержалась ровесница Кязыма.

— Ну это ты брось, — сказал председатель.

На столе у девушки лежала свежая газета, и Кязым вспомнил, что у него кончается бумага на курево. До войны он всегда покупал папиросную бумагу, но почему-то после войны ее не стало.

— Что-нибудь стоящее написано? — спросил Кязым у председателя, показывая рукой на газету. Он это спросил с обычной своей дуршливой серьезностью, о которой председатель прекрасно знал.

— Ладно, ладно, бери, — сказал он, не желая, чтобы Кязым распространялся по этому поводу перед работницами правления.

— Нет, если что нужно, тогда зачем же, — сказал Кязым, свертывая газету и кладя ее себе в карман, — ей бы цены не было, если б ее без закорючек выпускали.

— Ну, хватит, — сказал председатель, пытаясь пресечь уже не вполне безопасные даже для Чегема разговоры.

— Так я же не про все говорю, — добавил Кязым, — я только про те, что присылают нам, деревенским...

Женщина улыбнулась.

— Умный человек, а дурь всякую болтаешь, — ворчливо заметил председатель и, слегка подталкивая Кязыма, вывел его на веранду.

Кязым спустился с крыльца и подошел к своей лошади. Тут он вспомнил наказ жены, а вернее, своего малыша.

— Продавец у себя? — спросил он, уже держась за луки седла и

обернувшись к председателю, все еще стоявшему на крыльце. Лавка была расположена в здании правления, но с задней стороны.

— За товаром уехал в Кенгурск, — сказал председатель.

— Хоть бы раз я увидел его товары, — сказал Кязым, усаживаясь на лошадь и носком ноги находя стремя, — а он только и делает, что ездит за товарами.

Он поехал обратно. Солнце ушло за облака и сразу же потемнел огромный сельсоветовский двор, но совсем рядом, метров за двести, купы каштановых деревьев, белеющая камнями дорога, зелень кукурузного поля были все еще озарены как бы особенно радостным солнцем. И лошадь, словно чувствуя это, словно стараясь быстрее войти в золотистую полосу света, быстро зарысила в сторону дома.

На полпути он свернул с дороги и подъехал к дому бывшего председателя колхоза Тимура Жванба или попросту Теймыра, как говорят абхазцы.

— О, Теймыр! — крикнул он, подъезжая к воротам. Рыжая собака с лаем выскочила из-под дома, но, подбежав к воротам, узнала Кязыма. Застыдившись, что она не сразу его узнала, она слегка повернула голову в сторону и несколько раз взлаяла, показывая, что она и раньше лаяла по другому поводу.

Тимур свою собаку почти не кормил, и она кормилась по соседским дворам и нередко добредала до дома Кязыма. Тимур и раньше был скуповат по чегемским понятиям, а после того, как его окончательно сняли с должности председателя и отправили на пенсию, присвоив ему неведомый титул Почетного Гражданина Села, он совсем осатанел, одичал и оскотинился, как говорили чегемцы.

Он очень не хотел, чтобы его снимали с должности председателя, и ожидал, что, по крайней мере, ему дадут какую-нибудь другую должность в Кенгурске. Но никакой должности ему райком не дал, потому что он всем надоел, однако зная и побаиваясь его сутяжничества (ему ничего не стоило написать куда надо, что в кенгурийском райкоме окопались недобитые троцкисты), райком дал ему этот неведомый, но утешительный титул Почетного Гражданина Села.

Не исключено, что райком, давая ему этот титул и зная его любовь ко всяким знакам отличия, проявил немалую психологическую тонкость. В то время во всем Кенгурийском районе только еще один человек имел звание Почетного Гражданина Села. Так что, если бы Тимур Жванба переехал в Кенгурск в поисках руководящей должности, хотя бы и самой маленькой, он как бы автоматически лишился звания Почетного Гражданина покинутого села.

Прожив в Чегеме больше пятнадцати лет, Тимур так и не научился по-настоящему хозяйствовать, хотя время от времени пробовал у себя на усадьбе всякие вздорные новшества. Так, он в один год половину своей усадьбы засеял арбузными семенами, хотя арбуз в

условиях Чегема не вызревал и весь урожай ему пришлось скормить скотине. В другой раз он закупил полсотни мандариновых саженцев, но все они высохли той же зимой.

И с каждым годом, по наблюдениям чегемцев, он все больше оскотинивался, скупел, подсчитывал каждое яйцо, снесенное курицей и, если курица не снеслась, по словам чегемцев, он обвинял жену, что она тайно съела яйцо. В доме его уже давно вместо молока пили только пахтанье и, наконец, он выдал замуж дочерей, позорно, по-чегемским понятиям, без приданого, почти голышом. Впрочем, обе его дочери были хороши собой и вполне благополучно устроились.

Одним словом, Тимур Жванба с его природной высотобоязнью в горном селе Чегем всегда выглядел странноватым, а после снятия его с должности председателя, он выглядел особенно нелепым, как городской сумасшедший, почему-то попавший в деревню. Роль деревенского дурачка в Чегеме давно была закреплена за Кунтой, и он с ней неплохо справлялся, так что чегемцам Тимур был ни к чему.

И хотя чегемцы посмеивались над ним, однако относились не без опаски. С одной стороны он, несмотря на то, что был снят с должности, продолжал ходить в чесучевом кителе, как бы намекая, что власть он не потерял, но она видоизменилась, что давало немало поводов для далеко идущих предположений. Кроме того, он, несмотря на общепризнанную дурость, отличался немалой, как выражаются чегемцы, хитроговнистостью.

Так, он выследил одного чегемца, который в глухом лесу имел тайный загон, в котором держал пять незаконных коров. Тимур сам потом, хвастаясь, рассказал, что он заподозрил этого крестьянина, потому что снопы кукурузной соломы, которые чегемцы обычно вздымают и укладывают на обрубленное дерево, растущее на усадьбе, так вот этот висячий стог, как он заметил, у этого крестьянина уменьшается с быстротой, не соответствующей количеству его домашнего скота. После этого он выследил его и разоблачил. Крестьянина, конечно, не тронули, но коров отобрал колхоз.

Случай этот, как легко догадаться, не усилил симпатии чегемцев к Тимуру, потому что все они всеми доступными им способами старались сохранить скот и никогда не понимали и не могли понять, чем это мешает государству. Чтобы пасти тридцать коз нужен тот же пастух, который может пасти и триста коз, а в условиях наших вечнозеленых зарослей козы в искусственных кормах не нуждаются. Так в чем же дело?

Тот, кто решил не давать крестьянам разводить скот, вероятно, думал, что крестьянин, потеряв интерес к собственному скоту, приобретет интерес к колхозному? Но этого не случилось и не могло случиться.

Сейчас у ворот дома Тимура Кязым снова возвратился мыслями к нему. Он и раньше много раз задумывался, почему люди, добывающие свой хлеб под крышами контор, когда их ударяет судьба, опускаются гораздо быстрее, чем обыкновенные крестьяне. Он это заметил и по жизням многих снятых с должностей кенгурийских начальников.

Думая об этом, он пришел к такому выводу. Тех, кто зарабатывает свой хлеб под казенной крышей, все время точит страх, что их выгонят из-под этой крыши. А когда их на самом деле выгоняют из-под крыши, у них уже нет запаса сил, чтобы сохранить свое достоинство.

А такие, как мы, крестьяне, думал он, зарабатывающие свой хлеб не под крышами контор, а под открытым небом, никогда не испытывают этого страха, потому что работающего под небом из-под неба никуда не прогонишь, потому что небо везде, и когда его ударяет судьба, у него все-таки остается запас сил, не подточенных постоянным страхом.

У нас корень крепче, думал он. Но и веря в то, что у крестьян корень крепче, он все чаще и чаще с тупой болью осознавал, что хоть и крепче наш крестьянский корень, но и крепость его небеспредельна, и порча времени, подымаясь с долинных городков, доходит до Чегема то тайно, то явно, а главное неостановимо.

Из кухни вышла жена Тимура и стала приближаться к воротам. Глядя на эту замызганную, пожилую женщину, трудно было поверить, что в молодости она была учителькой и работала с мужем в кенгурийской школе. Подозрительно поглядывая на Кязыма, она подошла к воротам.

- Теймыр дома? — спросил Кязым, хотя знал, что его нет дома.
- Нету его, — сказала хозяйка, — может, чего передать?

Кязым замялся и не ответил. Он сейчас внимательно оглядывал окна дома. Рама крайнего справа окна явно подгнила. Остальные рамы были целые. Это надо запомнить, подумал он.

- А где Теймыр? — наконец, спросил Кязым, нарочно выждав.
- Он уехал в Атары, — ответила жена, — а что ему передать?

Кязым знал, что он уехал в Атары.

- А когда приедет? — спросил Кязым.

— Вечером обещал, — отвечала жена, оживляясь тревожным любопытством, — зачем он тебе?

— Да вот у нас беда, — неохотно ответил Кязым, — брат в Кенгурске в плохое дело вляпался. Если в ближайшие дни не достану пятьдесят тысяч, он в тюрьму попадет. Думал, может, Теймыр мне займет...

— Да ты что, спятил! — всплеснула руками жена Тимура, — мы отродясь не видели таких денег!

— Брат в беду попал, — задумчиво повторил Кязым, — думал, может, Теймыр займет, поделится...

— Поделится?! — повторила хозяйка с гневным изумлением, — да чтоб я похоронила своих детей, если у нас в доме есть хоть какие деньги, а не то что пятьдесят тысяч!

— Так ведь жена не всегда знает, что есть у мужа, — вразумительно сказал Кязым.

— Да знать-то о чем?! — снова всплеснула руками жена Тимура, — ты, я вижу, совсем рехнулся! Я ж тебе по-абхазски говорю — мы и денег таких отродясь не видели!

— Ну, ладно, — сказал Кязым, поворачивая лошадь и уже как бы самому себе вслух, — я-то думал займет, поделится...

— Да делиться-то чем, очумелый, — крикнула ему вслед жена Тимура, а Кязым, уже не различая слов ее долгих проклятий, сворачивал на верхнечегемскую дорогу.

Минут через десять он снова повернул с верхнечегемской дороги и поднялся к дому старого охотника Тендела.

Тендел сидел у самогонного аппарата в тени грецкого ореха. Он сидел боком к воротам и следил за тоненькой струйкой алкоголя, стекающей по соломинке в бутылку. Сейчас был особенно заметен на его лице его сломанный ястребиный нос.

— О, Тендел! — крикнул Кязым, останавливая лошадь у ворот.

Тендел вскочил со скамейки, костистый, не по годам проворный старик, и глянул издали на Кязыма, сверкая своими желтыми ястребиными глазами.

— Спешься, Кязым, спешься! — издали закричал Тендел, приближаясь, — испробуй моего первача! Светопреставление! Птицу на лету сечет, птицу!

Голос Тендела был до того пронзителен, что с первыми звуками его лошадь Кязыма шарахнулась было, но он ее удержал. Старый охотник явно попробовался своего питья, пока его варил.

— Не могу, — сказал Кязым, останавливая Тендела, пытавшегося распахнуть ворота перед мордой его лошади, — я по делу спешу. Хочу спросить, когда ты пирушку устраиваешь?

У Тендела внук возвратился из армии, и он собирался отпраздновать это событие.

— Послезавтра, — сказал Тендел, несколько сообразуя свой голос с близостью собеседника, однако все так же полыхая желтыми ястребиными глазами, — уж тебя-то известили бы!

— Теймыра думаешь звать?

— Как же его не позвать, разрази его молния, сосед!

— Правильно, зови его вместе с женой!

— А то не придет на дармовщинку-то! — зазвенел Тендел так, что лошадь опять попыталась шарахнуться, — моя бы воля, я бы их

в адское пекло пригласил!

— Хорошо, — сказал Кязым, поворачивая и без того все время воротившего морду коня, — я, может, немного запоздаю, без меня садитесь!

— А то б не сели! — крикнул Тендел, — спешься все-таки, Кязым, не пожалеешь! Испробуй моей грушевой! Птицу на лету сечет, анассыни!

Но Кязым уже спускался к верхнечегемской дороге.

х х х

Остальную часть дня до вечера Кязым крыл дранью новый табачный сарай. Кунта помогал ему. Вечером, когда они закончили работу, Кязым договорился с ним, что они завтра с раннего утра отправятся в лес щепить дрань. Кунта не понимал, для чего им надо щепить дрань, когда ее еще оставалось на несколько дней работы. Но, как всегда, подчиняясь воле Кязыма, не стал перечить — ему видней.

Кязым нарочно решил щепить дрань и завтра и послезавтра, чтобы до самой пирушки в доме старого Тендела не встречаться с Теймыром.

Рано утром, прихватив сыр и чурек, Кязым на целый день ушел с Кунтой в лес. Он предупредил жену, чтобы она, если его спросит Теймыр, не говорила, где он. Когда он вечером, побледневший от усталости, пришел домой, жена ему сказала, что Теймыр трижды заходил и спрашивал его.

Она об этом говорила ему, поливая из кувшинчика воду, а он, закатав рукава на сильных, волосатых руках и заложив воротник сатиновой рубашки, умывался.

— Ну и что ты ему сказала? — спросил Кязым, подставляя огромные ладони под струю воды.

— Я ему сказал, что ты пошел на поля, — ответила жена.

— А он что? — спросил Кязым и, не дожидаясь ее ответа, плеснул на лицо воду и с хрустом потер ладонями зашетилившиеся щеки.

— А он спросил: — Правда ли, что брат твой попал в беду?

Жена подала Кязыму мыло, и он, намылив руки и лицо, снова подставил ковш ладоней под струю воды. Нуце хотелось побыстрее ему все рассказать, но она подчинялась его ритму. Снова плеснув на лицо воду и снова подставив под струю ладони, он наконец спросил:

— А ты что?

— А я говорю: — Правда! — как ты научил.

— А он что?

— А он говорит: — Какого дьявола твой муж просил поделиться?!

Чем это я должен делиться?!

— А ты что?

— А я говорю: — Откуда я знаю! Это ваше мужское дело.

— Правильно, — одобрил ее Кязым, протирая мокрыми руками свою крепкую с выпуклым кадыком шею, — я вижу — ты умница.

— А он еще два раза приходил. Говорит: — Не нашел его ни на плантациях, ни на кукурузниках. — А я говорю: — Может, в правление ушел. — А он говорит:

— Ну, я его там перехвачу! — Никогда в жизни я столько не врала!

— Ты умница, — сказал Кязым, разгибаясь, — другого слова не подберешь.

— То-то же, — сказала Нуца довольная, — хоть раз в жизни признал меня умной.

— Ну-ну, — сказал Кязым и, сняв с ее плеча полотенце, вытер лицо и руки.

Отдав жене полотенце, он вошел в кухню и, усевшись перед огнем на скамью, стал сворачивать цыгарку. Он сильно устал за этот день, но был доволен и тем, что они с Кунтой много драни нащепили, и тем, как вел себя Теймыр, и особенно тем, что он это его поведение предвидел.

— Если завтра придет Теймыр, — сказал он жене, подумав, — скажи ему, что я пошел с Кунтой щепить дрань в котловину Сабида.

— Я что-то ничего не понимаю, — удивилась Нуца, ставя узкий, длинный столик между очагом и скамьей, — разве вы не над домом Исы щепили дрань?

— Ничего, — сказал Кязым, — пусть походит.

— Лопни мои глаза, — сказала Нуца, вынимая мамалыжной лопаточкой из котла порции дымящейся мамалыги, накладывая их на чисто выскобленный столик и пришепывая мамалыжной лопаточкой, — если я чего понимаю. Не стыдно морочить почтенного, хотя бы по возрасту, человека.

— Сукин сын он, а не почтенный человек, — сказал Кязым.

— Все же бывший председатель, — заметила Нуца, беря из тарелки и втыкая в каждую порцию мамалыги по два куска сыра, — хоть и не любил наш дом.

— Сукин сын он, а не председатель, — сказал Кязым, насмешливо потеплевшими глазами глядя на малыша, который пробирался к своему месту рядом с ним. Дети расселись, и Нуца присела на край столика.

— Так что ж ты у него деньги просишь? — спросила она, энергично отщипывая горячую мамалыгу от своей порции.

— А вот это уже не твое бабье дело, — сказал Кязым и, вынув из мамалыги размякший сыр, вяло надкусил его.

Вечером, когда он, бледный от усталости, с топориком — цалдой, перекинутым через плечо и поддерживающим вязанку дров на другом плече, вернулся домой, жена его встретила руганью. Она сказала, что Теймыр опять приходил, и она ему сказала, что муж ушел щепить дрань в котловину Сабиды, и он там полдня прорыскал и, не найдя Кязыма, вернулся в Большой Дом и до того здесь разорался, что сбегались женщины из табачного сарая.

— Все идет, как надо, — сказал Кязым, — подогрей мне воду, я побреюсь и вымоюсь.

Он наладил бритву и, глядя в зеркальце, поставленное на очажный карниз, время от времени прикладывая к лицу мокрую горячую тряпку и после этого смазывая щеки мылом, тщательно побрился.

— Пепе, — сказала старшая дочка, — какой ты стал красивый. Дай я тебе волосы подровняю сзади, а то ты зарос.

— Ну, ладно, — согласился он и уселся на скамью у очага.

Щелкая ножницами, дочка стала выравнивать ему волосы. Она всегда с удовольствием стригла его.

— Ты почти совсем не седой, пепе, — щебетала она, склонившись к его голове, — и у тебя никакой лысины нет.

— Ага, — согласился он, покорно склонив свою голову.

— Почему ты не заведешь усы, пепе? — спросила дочка, — тебе усы пойдут.

— Обойдусь, — сказал он, вставая и отряхивая плечи.

Потом он вымылся в кладовке, переоделся в чистое белье, надел серую шерстяную рубаху, новые черные шерстяные галифе, натянул мягкие кавказские сапоги, перепоясался своим тонким поясом с ножом в кожаном футляре и, сдвинув назад складки рубахи на своем поджаром животе, вышел на кухню.

После этого он уселся у очага и целый час там просидел, покуривая и сдержанно заигрывая со своим Гуликом. Малыш сидел на овечьей шкуре и, склонив свое пухловатое лицо, нежно озаренное огнем очага, строил из кукурузных кочерыжек вавилонскую башню. Он параллельно ставил две кочерыжки, сверху поперек нижних ставил еще две и так постепенно росла башня, но в какое-то мгновение она обрушивалась, и малыш, как и все несмышлениши, не понимая, что вавилонская башня на то и вавилонская башня, что обречена рухнуть, раздраженно сопя, начинал ее снова возводить. Именно об этом думал Кязым, хотя, конечно, и не этими словами, поглядывая на своего малыша, и иногда, наклонившись, подправляя неровно поставленные кочерыжки.

Нуца уже начинала готовиться к ужину, когда он вышел из дому. Было прохладно, и он, поеживаясь, стал подыматься на верхнегем-

скую дорогу. Ночь была звездная, ясная. Облака, целых два дня кроившие и перекраивавшие небо, так и не сумев его обложить, куда-то скрылись.

Так кончается ничем, подумал Кязым, всякое слишком затянувшееся дело. Луны еще не было, но белые камни верхнечегемской дороги посвечивали в темноте. Косогор над дорогой темнел зарослями бирючины, ежевики, держи-дерева. Между теменью кустов, как странные призраки допотопных животных, серели огромные валуны. Оттуда доносилась песнь цикад.

Язык вселенского безмолвия и грусть вечности угадывались в покорном тиканье цикад, тогда как далекий лай собак напоминал о тепле человеческого жилья, об уюте временной радости жизни. Казалось, вечность грустит о недоступном ей уюте временной радости жизни, а уют временной радости жизни сладок душе человека самой недоступностью вечной жизни на этой земле.

Кязым вдруг вспомнил свою первую любимую лошадь, своего прославленного вороного иноходца, которого он имел в дни далекой молодости. Эту лошадь много раз пытался у него купить известный лошадиник Даур. Он жил в селе Джгерда. Даур много раз предлагал Кязыму большие деньги за его лошадь, потом он предлагал ему большие деньги и хорошую лошадь впридачу, но Кязым, гордый за своего скакуна, никогда не соглашался его продать.

Потом Даур смирился и больше не заговаривал с ним об этом, но стал часто заезжать к нему домой и многие говорили Кязыму:

— Ох, уведет твоего иноходца этот человек! Ох, недаром зачистил он к тебе! Приглядывается!

Но Кязым не верил в коварство этого человека. Так ему подсказывало сердце, хотя и ему казались странноватыми эти наезды Даура: то ночь застала его в Чегеме, то гроза заставила свернуть с дороги, то еще что-нибудь. Так продолжалось около двух лет.

Однажды Кязым, случайно проснувшись на рассвете, увидел, что постель его гостя пуста. Они спали в одной комнате. Он решил, что тот по нужде вышел из дому, но прошло достаточно много времени, а тот все не возвращался. Кязым встревожился. Он встал, быстро приоделся и вышел во двор. Подходя к конюшне, он заметил, что дверь ее приоткрыта и почувствовал, что кровь в его теле остановилась.

Он шагнул в приоткрытую дверь и замер. Даур стоял возле его лошади, гладил ее длинную гриву, почесывал холку и нашептывал ей какие-то слова, иногда целовал ее в морду. Нет, конокрад так себя не ведет!

Потрясенный увиденным, Кязым отшатнулся от дверей, как если бы случайно застал влюбленных за ласками, непредназначенными для чужих глаз. Он сам любил лошадей, но чтобы взрослый мужчина ласкал лошадь и целовал ее в морду, как мальчишка, этого он никогда не слы-

хал.

Так вот почему Даур стал часто ездить к нему, вот почему ночь или непогода заставляла его в Чегеме! Его тоскующая душа тянулась сюда, жаждала видеть полюбившуюся лошадь, трогать ее, нашептать ей нежные слова.

Кязым тихо вернулся в дом и лег в свою постель. Примерно через час в комнату вошел Даур.

Утром они встали, позавтракали, немного выпили, и гость собрался в дорогу. Кязым, разумеется, ни слова не сказал о том, что он видел. Когда домашние, провожая гостя, вышли из дому и Махаз, младший брат Кязыма, подвел лошадь Даура к веранде, Кязым вошел в конюшню, вывел под уздцы своего иноходца и поставил его рядом с лошадью Даура.

— Ты что, Кязым, тоже собрался куда-то? — спросил Даур.

— Нет, — сказал Кязым и, подойдя к его лошади, взялся за подпруги.

— Я уже затянул их, — сказал гость, еще не понимая, в чем дело.

— А я решил их ослабить, — усмехнулся Кязым и, отпустив подпруги, снял седло и, не глядя на бледнеющего Даура, перенес седло на свою лошадь. Все, кто был рядом, застыли изумленные, а бледный Даур молчал и только плетть камчи, которую он держал в руке, тихо-тихо подрагивала. Так говорили потом домашние, рассказывая об этом.

— Я меняю свою лошадь, — сказал Кязым, прерывая неловкое молчание, — она мне поднадоела... Твоя лошадь не хуже...

— Кязым, ты даже сам не знаешь, что ты сделал, — промолвил Даур и больше ничего не мог сказать. Он уехал.

Кязым знал, что сделал и никогда не жалел о том, что расстался с любимой лошадью. Это было совсем не то, что потом случилось с Куклой. Это было все равно, что отдать любимую дочь за достойного человека. И он ее отдал и никогда не жалел об этом.

Конечно, Даур потом пригласил его к себе, устроил в его честь большой пир и подарил ему серебряный кинжал редкой работы.

— Кязым, — несколько раз, склоняясь к нему, говорил на пиру Даур, — помни, что ты утолил мою жизнь, а мне недолго осталось! Но я теперь ни о чем не жалею!

— Чтоб твой язык отсох, Даур! — дважды вскричала его бедная мать, уловив его слова, — зачем ты убиваешь меня!

Но Даур в ответ ей ничего не говорил. Тогда Кязым не придавал большого значения его хмельным признаниям, хотя и знал, что кровь лежит на его роду. Его дядя двадцать лет назад убил по законам кровной мести представителя рода Тамба. Дядю арестовали, выслали в Сибирь и он там умер. У дяди не было детей, и Даур мог стать жертвой будущего кровника. Но, с одной стороны, сам дядя погиб, с тех пор

прошло двадцать лет и можно было надеяться, что там в роду Тамба, удовлетворившись смертью дяди Даура, остыли.

Как водится в таких случаях, тот род, за которым кровь, избегает возможных встреч с родом, за которым остается право на выстрел. Представители его не посещают места, где живут их враги и, собираясь на какие-нибудь свадебные или поминальные пиршества не близких людей, путем сложных расчетов вычисляют через многоступенчатость родства возможность появления на этих сборищах своих кровников, и если эта возможность более или менее реальна, избегают их.

Примерно через год после того, как Кязым отдал своего иноходца Дауру, тот проезжал в десяти километрах от села, где жили его кровники.

Поравнявшись с мельницей, он решил прикурить от мельничного костра и, спешившись, зашел на мельницу. Мельница работала, но мельник спал на лежанке.

Даур не стал его будить. Нагнувшись, он прикурил от костра, а когда повернулся к выходу, увидел, что в дверях с топором в руке, стоит сын человека, убитого его дядей. Как потом выяснилось, тот искал заблудившуюся корову и, оказавшись рядом с мельницей и увидев лошадь, привязанную возле нее (нет, он не знал, чья это лошадь), решил зайти на мельницу и спросить у путника, не видел ли тот где-нибудь на дороге корову.

Смерть Даура была страшной и быстрой. Кровник этот молча, неимоверной силы ударом топора, отсек ему голову. Голова рухнула в костер и выкатилась из него, а плеснувший из огня фонтан искр посыпался на мельника.

Спросонья, ничего не понимая, тот привскочил с лежанки и увидел перед собой безголовое тело человека, которое, еще мгновение постояв, тоже рухнуло. Кровник схватил отрубленную голову и, загасив затлевшие на ней волосы, поставил ее на лежанку рядом с мельником, который к этому времени, оказывается, уже сошел с ума. Он не выдержал перехода от мирного сна под шум мельничных жерновов к такой ужасной яви.

Кровник не стал скрывать, обо всем рассказал сам, его судили и отправили в Сибирь. Кстати, много лет спустя, он тоже там умер на строительстве Комсомольска на Амуре. Эта история долго помнилась в Кенгурийском районе. И каждый раз, когда Кязым вспоминал ее, хотя с тех пор прошло почти тридцать лет, в ушах его звучало хмельное пророчество Даура:

— Кязым, ты утолил мою жизнь, а мне немного осталось!

По народной примете месть сына, если он был во чреве матери, когда его отца убили, бывает особенно свирепой. Так и было на этот раз. Не яд ли материнского горя, думал Кязым, всасывает плод в таких случаях?

Думая об этом, он дивился мудрости народных примет и верил, что есть судьба и есть люди, которые ее чувствуют. Даур был таким. Он чувствовал судьбу так же, как чувствовал лошадь.

И если нет судьбы, почему именно поблизости от мельницы у него сломалось кресало? В кармане трупа Даура нашли сломанное кресало. Или он, волнуясь от близости опасного села, слишком сильно ударил кресалом о камень и оно сломалось? А потом, устыдившись своего волнения, спешил и зашел на мельницу? Но почему именно в это время мельник спал? Если б он не спал, возможно, он сумел бы встать между ними. И такое бывало. Почему так далеко забрел кровник в поисках коровы и почему именно в этот час он подошел к мельнице?

Есть судьба человека и есть судьба рода, думал Кязым. И он по опыту своей жизни точно знал, что есть роды, где многие хорошо чувствуют лошадь. Таким был род Даура. Есть крепкожилые роды, где многие люди обладают огромной телесной силой, хотя выглядят обычно. Таким был род его кровника. И есть роды, где часто рождаются мудрые, а есть роды, где часто рождаются хитрые, и есть роды, легкие на подъем, и есть роды тяжелодумов, и есть роды, где много сердечных людей. Но таких мало или они быстрее вымирают?

И бывают роды, уже ошибочно думал Кязым, переходя на себя, которым не дается грамота. Сам-то он никогда не ходил в школу, потому что в его время никакой школы в Чегеме не было. Но сейчас дети его плохо учились, и он, внешне насмешничая над ними, в глубине души болезненно переживал это.

...Когда он подходил к дому Тендела, оттуда уже доносился нестройный гул голосов, из которого время от времени вырывался пронзительный голос самого хозяина. Кязым открыл ворота и пересек двор, удивляясь и настораживаясь от того, что собака не дает о себе знать. У самого дома она вырвалась из-под лестницы, соединяющей кухонную веранду с горницей, и почти молча, яростно взрыкнув, кинулась на него. Выбросив ей навстречу правую ногу, он вдвинул носок сапога в ее распахнутую пасть. Собака, завыв от боли, отскочила. И уже издали обрушила на него истерический лай. К этому времени с криками выскочили из дому Тендел и его внук.

— Да что она, взбесилась, что ли?! — заорал Тендел и швырнул в собаку дровину, подхваченную на кухонной веранде. Швырок оказался точным, и собака, завыв, скрылась в темноте.

— Неужто укусила? — спросил Тендел, подходя к Кязыму.

Кязым приподнял ногу и в полосе света, льющегося из распахнутой двери дома, рассмотрел сапог. Он был цел.

— Нет, — сказал Кязым, — меня не так-то просто укусить.

— Очумела, своих не узнает! — крикнул Тендел, сверкнув глазами в темноту, куда убежала собака.

— Старается, — усмехнулся Кязым, — чтобы после пирушки ей перепало побольше.

Когда они вошли в большую комнату, где происходило праздничное пиршество, гости радостно повскакали, приветствуя его и раздвигаясь, чтобы уступить ему место. Кязым сел напротив Тимура, злобно и подозрительно поглядывавшего на него. Жена его вместе с хозяйкой и невесткой Тендела обслуживала сдвинутые столы. Потом она уселась в конце стола, где сидели еще две женщины. Все шло, как надо.

— Мир перевернулся, — крикнул Бахут с того конца стола, где он сидел рядом с Тенделом, — Кезым на выпивку опоздал!

Бахут был мингрельцем и произносил его имя на свой лад. Они любили друг друга, хотя, конечно, никогда в жизни не говорили об этом, а, наоборот, бесконечно подтрунивали друг над другом.

— Опоздал, — сказал Кязым, поудобней усаживаясь, — потому что домой к Теймыру заходил, а он, оказывается, уже здесь.

— Чего это ты ко мне заходил? — спросил Тимур, исподлобья поглядывая на него глазами затравленного кабана.

Хозяйка поставила перед Кязымом тарелку с мамалыгой и мазнула на нее шматок аджики.

— Да жена моя говорила, что ты заходил ко мне несколько раз, — сказал Кязым миролюбиво и, взяв из большой тарелки кусок мяса, притронулся им к аджике и, надкусив как всегда без аппетита, стал жевать. Лениво жуя, он смотрел на Тимура, и в глубине его маленьких синих глаз таилась насмешка.

В свежевывытом чесучевом кителе Тимур сидел перед ним, все еще крепкий, бритоголовый, с тем волевым выражением власти, которую он уже утратил, но все еще хранил на лице. По этому выражению Кязым мог узнать начальника в любой толпе и было непонятно, их выбирают по этому выражению или оно вырабатывается от власти над людьми. Но в глубине темных глаз Тимура не было власти, Кязым это ясно видел, а была смертная тоска по власти, и страх, и неуверенность.

— Так ты же все прячешься от меня? — сдерживая себя, тихо клокотнул Тимур.

Хозяйка поставила Кязыму чайный стакан и налила в него вино. От водки, которая, якобы, сечет птицу на лету, он отказался. Кязым не спеша приподнял стакан и, пожелав благодати дому, выпил и снова взялся за мясо. Тимур, наклонив вперед бритую голову, ждал.

— Чего это мне прятаться от тебя, — сказал Кязым и надкусил мясо, — я ничего не украл, чтобы прятаться...

Вяло жуя, он смотрел на Тимура, и в глубине его маленьких, синих глаз таилась насмешка.

— Какого дьявола ты приходил ко мне за деньгами, — сказал Ти-

мур, сдержанно клокоча, — откуда у меня такие деньги?

В общем шуме их разговор пока еще не привлекал внимания застольцев.

— Нет так нет, — сказал Кязым, смеясь одними глазами и выпив вино, твердо поставил стакан на стол, — я же не насильно их у тебя беру...

— Ты ведь сказал моей жене, чтобы я поделился, — клокотнул Тимур, и Кязым заметил, что даже его бритая голова побагровела, — это как понять?

— Так и понимай, — ответил Кязым, продолжая смеяться глазами.

Оказывается все же остроухий старый охотник уловил внешний смысл их разговора.

— Нашел у кого деньги просить! — с того конца стола закричал Тендел, сверкая своими ястребиными глазами, — да Теймыр, как та синица, которой сказали, что ее помет — лекарство. Так после этого она все норвила над морем какнуть!

— Поделиться, — мрачно усмехнулся Тимур, не обращая внимания на крики Тендела, — откуда у меня такие деньги...

— Вот ты удивляешься, что я у тебя просил деньги, — сказал Кязым, — а надо бы удивляться, что ты два дня меня ищешь, чтобы сказать — у тебя денег нет.

— Ну и что? — спросил Тимур, замирая с мослаком в руке и стараясь не дать себя перехитрить.

— Да разве человек, — сказал Кязым, продолжая посмеиваться одними глазами, — которому нечего дать, ищет человека, который у него просил деньги? Ведь если человек, у которого просили деньги, ищет человека, который просил деньги, значит, они у него есть и он хочет поделиться.

— Я тебя искал, кулацкое отродье, — изо всех сил сдерживаясь, тихо клокотнул Теймыр, — чтобы сказать, до чего я жалею, что не упек вас в тридцатом в Сибирь!

Тут Тимур сгоряча преувеличил свои возможности. Во времена коллективизации в Абхазии мало кого тронули, а из Чегема и вовсе ни одного человека не выслали. Истинный народный оратор, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба тогда на многочисленных сходках уговорил народ, тонкими иносказаниями он дал ему понять, что разделяет его тревогу, но надо смряться, чтобы сохранить себя. И народ, поварчивая, смирился.

— Да, — сказал Кязым, теперь состругивая ножом кусочки мяса с кости и отправляя их в рот, — тут ты промахнулся. Потому как ключ тогда у тебя был в руках, а теперь у меня.

— Какой ключ?! — спросил Тимур, и страх застыл в его глазах. С приоткрытым ртом, он, не шевелясь, смотрел на Кязыма.

— Ключ от власти, — приспустил поводья Кязым, продолжая по-

смеиваться своими синими глазами, — так что теперь он у меня в руках.

— Власть? Подумаешь, бригадир, — презрительно сказал Тимур, глядя в Кязыма и стараясь поверить, что он именно это имел в виду и в то же время чувствуя ужас бессилия перед двойственностью его намеков. И эта двойственность намеков, этот просвет, позволяющий уйти от прямого ответа, был хуже, чем если бы Кязым его прямо обвинил в том, на что он ему как бы подмигивал своими невыносимо смеющимися глазами.

А между тем, кое-кто из окружающих уже посматривал на них, хотя никто не понимал того, что стоит за их разговорами.

— Оставь ты этого вырыгу, Кязым! — крикнул с того конца стола Тендел, опять сверкнув в их сторону ястребиными глазами.

Все рассмеялись. Тендел иногда употреблял слова, которые никто не понимал. И сложность их понимания была в том, что иногда в обычной речи у него выскакивали слова из особого охотничьего языка, понятного только посвященным. А иногда он сам бессознательно так выворачивал обычные слова, что они звучали необычно. Именно это и случилось сейчас.

— Что это еще за вырыга? — смеясь, стали спрашивать у Тенедела.

— Вырыга, — просто объяснил Тендел, — это такой человек, который не столько пьет, сколько вырыгивает.

— Лучше я отсыду от него, — сказал Тимур, шумно вставая, — а то этот человек доведет меня до преступления!

— Я даже знаю, какого по счету, — сказал Кязым, взглянув на него, и, смеясь одними глазами, приподнял ладонь, как бы готовый для наглядности показать на пальцах количество преступлений Теймыра.

Тимур опустил бритую голову и, что-то бессвязно бормоча, перешел и сел поближе к Тенделу.

— Хватит бурунчать, — миролюбиво сказал ему старый охотник, — ты, Теймыр, давно безрогий, а все боднуть норовишь. Лучше сиди здесь и слушай мой рассказ.

Старый Тендел стал рассказывать историю своей женитьбы. При этом жена его, еще очень бодрая старушка, стоявшая над столами с чистым полотенцем, перекинутым через руку, приподняв брови от старания вникнуть в каждое слово, слушала его рассказ, словно дело касалось не ее, а какой-то другой женщины. Дополнительный комизм ее облика, не оставшийся незамеченным застольцами, заключался в том, что она одновременно с искренним любопытством к рассказу, выражала всем своим видом бдительную готовность тут же ответить на скрытые или откровенные выпады мужа, оскорбляющие достоинства ее рода. Готовность эта, как показывал ее достаточно большой опыт, была не излишней.

По словам Тенедела, это случилось в дни его далекой молодости,

когда он еще не выдурился. Тут гости прервали его рассказ дружным смехом, выражая этим смехом уверенность, что он еще и до сих пор не выдурился. Тендел не обратил ни малейшего внимания на этот смех, а жена его, просияв от удовольствия, радостно закивала головой: дескать, так оно и есть, дескать кому, как не ей знать, что он еще не выдурился!

Так вот, продолжал Тендел, в те дни, когда он еще не выдурился, пришлось ему кутить в одном доме в селе Кутол. И там, когда гости порядочно выпили и начались пляски, в круг вошла хозяйская дочь в белом платье. В знак необыкновенной плавности ее танца, в знак непорочной чистоты ее скольжения кто-то из близких девушки поставил ей на голову бутылку с вином, и она в таком виде, ни разу не качнувшись, сделала два круга. Кто его знает, сколько бы кругов она еще сделала, но тут Тендел не выдержал. Не в силах иначе выразить свой восторг перед девушкой и ее искусством, он выхватил свой „смит-вессон” и выстрелом разбил бутылку на голове девушки.

Девушка, по словам Тендела, прервала танец (было бы странно, если б она продолжала его, вся облитая красным вином), а гости и хозяева просто омертвели от этой неслыханной дерзости. Первым опомнился сам Тендел.

— Считайте, что я в вашем доме „бросил пулю”! — крикнул он, надо думать, уж во всяком случае не менее пронзительным голосом, чем в старости, и, перепрыгнув через стол, бросился к выходу.

Он вскочил на своего коня, стоявшего у коновязи, и не теряя времени на открывание ворот, прямо перемахнул через плетень и, сопровождаемый грохотом выстрелов, к счастью, ни одна пуля не задела его, галопом влетел в лес, расположенный недалеко от дома.

„Оставить пулю” по абхазским обычаям вот что означает. Родственники жениха, приехавшие свататься в дом невесты и договорившиеся обо всем, оставляют хозяевам газырь с пулей и стреляют в воздух. Газырь с пулей и выстрел в воздух, скорее всего символизируют несущность договора, право на смертоносный исход в случае нарушения его с той или другой стороны.

Но жених-самозванец, „оставляющий пулю” да еще таким образом, — это было неслыханной дерзостью.

Однако, вернемся к Тенделу. Проскакав около трех верст, лошадь его неожиданно грянула о землю, и когда Тендел, выпростав ногу из стремени, встал, она была мертва. Не понимая, в чем дело, Тендел ее обошел и вдруг увидел, что живот лошади распорот чуть ли не на целый метр. Заглянув в рану, Тендел был поражен — внутри было пусто. Видно, когда он перемахивал через плетень, лошадь напоролась на кол, и у нее вывалился желудок.

— Теперь вы мне скажите, — пронзительно закричал Тендел, — кто-нибудь слышал про лошадь, которая, спасая хозяина, с вывален-

ным нутром проскакала три версты?!

Тут гости стали смеяться, говоря, что лошадь могла потерять желудок где-нибудь по дороге, может быть, совсем близко от того места, где она рухнула на землю.

— Нет! Нет! — закричал Тендел, — я почувствовал, когда перемахнул через плетень, как что-то шмякнулось подо мной, да сгоряча не оглянулся!

Тендел зацокал языком, с необыкновенной живостью переживая гибель любимой лошади и, обратил теперь свой взыскующий ястребиный взгляд на жену, как бы поражаясь неравноценности жертвы и полученной награды.

Тут жена его потупилась и, неожиданно взяв полотенце, лежавшее у нее на руке, перекинула его через плечо, как бы милосердием волшебства на миг создав мираж того белого платья и именно через это волшебство, как и должно быть, призывая его к справедливости, то есть к необходимости ту лошадь сравнивать с той девушкой, а не с этой, хоть и бодрой, но отжившей старушкой.

Тендел посмотрел на нее, но то ли не поняв ее намека, то ли не придав ему значения, повернул свой ястребиный взгляд на застольцев и продолжал рассказ.

По словам Тендела, родители и братья той полюбившейся ему девушки (видно, все-таки поняли намек), поклялись никогда не отдавать свою дочь и сестру за этого безумного головореза. Видать, продолжал Тендел, они, не слишком доверяя своему дому и своей храбрости (тут жена его насторожилась, но оскорбление было недостаточно четким, и она промолчала) и, зная о его неслыханной дерзости, припрятали свое чудище (нет, не поняли намека) у родственника, жившего в другом селе. Он был еще более дерзкий головорез.

— По их разумению, — после насмешливой остановки добавил старый Тендел.

При этом жена его всем своим обликом выразила готовность дать отпор явно приближающемуся, но еще недостаточно приблизившемуся оскорблению ее рода.

— Но они, — сказал Тендел столь многозначительно, что теперь не только жена, но и гости с доброжелательным любопытством стали ожидать приближающееся оскорбление, однако Тендел и на этот раз его избежал и продолжил, — не знали, что только я один держу в руках секрет этого человека.

Оказывается, именно этот родственник убил стражника два года тому назад и только один Тендел во всем Кенгурийском районе знал об этом. И этот человек не только не препятствовал ему, но, наоборот, помог тайно от своих родственников умыкнуть ее.

— Вот так она оказалась в моем доме, — закончил Тендел, — хотя толку от нее еще никто не видел. А теперь давайте выпьем, мои гости,

а то я вас совсем словами заморил!

Гости, взглянув на жену Тендела, благодарно прошумели, показывая, что утверждение о ее бестолковом пребывании в доме Тендела полностью отвергается обилием выпивки и закуски на столе.

— В каждом деле есть свой ключ, — сказал Кязым, — и кто его держит в руке, тому оно и служит.

— Истинно говоришь, Кязым! — закричал Тендел, — ключ от этого человека я держал в своих руках, а они, дурье, этого не знали!

Жена Тендела, несколько отвлекшаяся окончанием истории женитьбы и оживившимся застольем, вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки.

— Уж дурнее тебя, — отпарировала она, — не то, что в моем роду, в твоём роду нет!

— Молчи! Молчи! — закричал Тендел, — жалко, что я тебе тогда спьяну в голову не попал!

Когда Кязым произносил свои слова, Теймыр опустил голову и больше за время пирушки ее ни разу не поднял. Кажется, готов, подумал Кязым.

Кязым перевел взгляд на Бахута. Он вспомнил, что Бахут во время рассказа старого охотника, поерзывал, то отодвигая на затылок свою сванку, которую он снимал, только ложась в постель, то сдвигая ее на брови. Это был верный признак, что Бахут сам хочет рассказать свою знаменитую историю. И хотя почти все, сидящие за столом, ее слышали, а некоторые неоднократно, Бахут явно хотел рассказать ее еще раз.

— Слушай, Тендел, — сказал Кязым, — учти, что Бахут от тебя сегодня не уйдет, если не расскажет, как продавал свое вино.

— Нет, зачем, кацо, — стал ломаться Бахут, — если все слышали, я не буду рассказывать, но если люди не слышали — другое дело.

— Давай, давай, Бахут, — крикнул старый охотник, — а я потом кое-чего добавлю к тому, что ты расскажешь!

Гости одобрительно прошумели, показывая готовность, выпив по стаканчику, послушать историю Бахута. Бахут сдвинул свою сванскую шапочку на затылок и, залучившись своими маленькими масляными глазками, приступил к рассказу.

— О да, — начал он грузино-мингрельским присловьем, приблизительно означающим: так вот...

— О да, мы встретились с этим Вахтангом позапрошлой зимой на поминках в Анастасовке. И там же договорились. Я ему даю двадцать ведер вина, а он мне привозит двадцать пудов кукурузы.

Через три дня он приезжает на арбе, дело уже было к вечеру, и привозит мне кукурузу. Я открываю ворота и веду арбу к дому.

О да, мы выгружаем четыре мешка и вносим в кухню. А потом вместе с моим сыном, втроем выкатываем из подвала двадцативедер-

ную бочку и, положив доски, вкатываем ее на арбу. И тут он уже хотел уехать, но я на дурную свою голову, его удержал. Неудобно, человек первый раз пришел в мой дом и теперь, стакан вина не выпив, уйдет.

— Давай, — говорю, и веду его на кухню, — попробуй вино, что ты купил. Может, я тебе кислятину продал.

В шутку так ему говорю, а мы уже на кухне.

— Нет, — говорит он мне неожиданно, — я не буду пробовать вино, которое ты мне продал.

— Почему? — удивляюсь я.

— Потому что, — говорит, — кукурузу, которую я тебе привез, ты не взвесил, значит, ты мне доверяешь. Раз ты мне доверяешь, значит, я тебе тоже доверяю. Вино, которое я купил, пробовать не буду, но другое вино, пожалуйста, выпьем.

Уах! Но у меня другого вина нет. Одна „изабелла“. Было около десяти ведер „качичи“, но мы его давно выпили. Теперь, что делать? Мы уже на кухне, и жена накрыла на стол, а он требует другое вино. А другого вина у меня нет и так отпустить его тоже стыдно. И я говорю:

— Хорошо, будем пить другое вино.

О да, мы садимся за стол и начинаем пить. И я вижу — вино ему нравится, хорошо идет. Он хвалит мое вино, мне тоже приятно, и мы так сидим, пьем, а мои домашние все ушли спать. И вдруг он мне говорит:

— Слушай, мне это вино очень понравилось. Давай заменим то, которое я купил, на это вино. Я всю жизнь любил такое вино.

Уах! Теперь, что я ему скажу? У меня другого вина нет — одно вино. И я немножко так замаялся, не зная, что сказать, а он это по своему понял. Он понял, что я ему не хочу это вино продавать.

— Ты, — говорит, — не стесняйся, если это вино дороже. Я тебе еще кукурузу привезу, ради такого вина мне ничего не жалко!

— Слушай, — говорю, — дело не в этом. У меня сейчас нет другого вина.

Но я вижу — не верит и начинает обижаться.

— Зачем, — говорит, — ты для меня жалеешь это вино? Если в два раза больше стоит, в два раза больше дам!

— Слушай, — говорю, — дело не в этом. Идем попробуй, если то вино, которое я тебе продал, хуже, тогда ты будешь прав.

И вот мы среди ночи идем к арбе. Слава богу, кругом снег, все видно. Залезаем на арбу, я открываю бочку, вытягиваю шлангом вино, переливаю в банку и даю ему.

Про-бу-ет! Но вижу — не доверяет. Может, вино слишком холодное было, потому не понял, может, характер, еще не знаю. И он мне говорит:

— Ничего плохого про это вино не скажу, но то вино мне больше

нравится. Я всю жизнь мечтал про такое вино.

Уах! Что теперь я ему скажу? Что?!

— Слушай, — говорю, — у меня другого вина нет. Было около десяти ведер „качич“, давно выпили. Я тебя угостил этим вином, потому что неудобно было. Ты в мой дом пришел первый раз, и я хотел, чтобы ты стакан вина выпил в моем доме.

Нет, вижу, не доверяет и начинает цепляться.

— Значит, — говорит, — ты мне то же самое вино давал?

— Да, — говорю, — другого нет.

— Тогда, — говорит, — сейчас идем взвесим всю мою кукурузу!

— Зачем? — говорю.

— Потому что, — говорит, — ты не взвесил мою кукурузу, значит, ты мне доверяешь. А я попробовал твое вино — выходит, я тебе не доверяю. Если я тебе не доверяю и ты мне не доверяй!

Уах! Сейчас среди ночи взвешивать его кукурузу? А у меня безмен только десять кило берет. Это сколько раз надо вешать? — Бахут оглядел застольцев, как бы прося войти в его бедственное положение.

— Тридцать два раза! — смеясь, подсказал ему Кязым.

— Тридцать два раза! За это время я совсем с ума сойду от него! И тогда я так соображаю — эту бочку он уже не возьмет через свое ослиное упрямство. Но у меня еще одна двадцативедерная бочка стоит в подвале. Думаю — лучше ту бочку выкатить, а эту вкатить, чем еще полночи возиться с его кукурузой.

— Хорошо, — говорю, — у меня в подвале, как ты видел, еще одна бочка стоит. Как раз то вино, которое ты пил! Хочешь — бери!

— Давай, — кричит, — ту бочку! Не жалея хорошее вино на хорошего человека!

Что делать? Теперь сына, значит, надо будить. Вдвоем вкатить бочку не сможем. Но сына будить тоже стыдно. Скажет — взрослые люди глупости делают. Но еще хуже будет, если сына разбужу, а этот попробует вино и опять скажет — ты мне не то вино даешь. Потому что в подвале тоже холодно, а он вкус холодного вина не воображает.

— Хорошо, — говорю, — идем в подвал. Я тебе даю ту бочку, но ты сначала попробуй вино.

Еле-еле в кухне нахожу свечку — проклиная и жену и этого Вахтанга и эти поминки, где мы встретились. Идем в подвал, опять вытягиваю из шланга поллитровую банку и даю ему попробовать. Про-бу-ет!

— О! О! О! — говорит, — вот это вино я мечтал купить. Зови сына!

О да, потихоньку вхожу в дом и бужу сына. Молодой — крепко спит. Еле разбудил. Но правду тоже сразу сказать не могу — стыдно, кацо, стыдно!

— Бочку, — говорю, — сынок, надо на место поставить. Помогите!

— Что вы, — бурчит сын и одевается в темноте, — столько времени делали, если не могли сторговаться!

Мы выходим во двор и втроем скатываем бочку с арбы и вкатываем ее в подвал. И теперь начинаем выкатывать ту бочку, а сын ничего не понимает.

— Папа, — удивляется он, — что вы делаете? Это то же самое вино! Вы от пьянства совсем с ума сошли!

А этот проклятый Вахтанг, которого я на свою голову встретил на поминках, еще издевается надо мной.

— Ох, Бахути, — говорит, точно, как Кезым, говорит, — зачем ты сына, еще такого молодого, неправду учишь! Я против того вина слова не скажу! Но это вино как раз по моему вкусу!

Вижу, сын надулся, готов нас обоих убить. Кое-как вкатили эту бочку на арбу, и сын молча поворачивается и уходит.

О да, думаю, наконец, уедет этот проклятый человек. Провожая арбу до ворот. И вдруг он не останавливается? Останавливается!

И только тут я понял, что на поминках ни о каком деле договариваться нельзя. Ты с человеком на поминках договариваешься о деле, а он приезжает к тебе домой и устраивает твои поминки.

— Слушай, — говорит, — выходит, что я твое вино попробовал, а ты мою кукурузу не взвесил! Значит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю? Значит, ты ставишь из себя более благородный человек? Не выйдет! Идем, взвесим мою кукурузу!

Уах! Я уже готов и эту бочку ему отдать и кукурузу отдать, лишь бы он уехал! Но разве он согласится!

— Слушай, — говорю, все еще держу себя в руках, — вино одно дело, кукуруза другое дело! Если ты два-три литра моего вина выпил, это не значит, что я должен два-три кило твоей кукурузы скушать! Я и так на глаз вижу, сколько там пудов в мешках!

— Нет, — говорит, — выходит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю. Или взвесим мою кукурузу или забирай свое вино, а я беру свою кукурузу!

Значит, снова сына будить?! Он убьет меня! Но Бахут не был бы Бахутом, если бы не придумал, то что придумал.

— Слушай, — нарочно спокойно говорю, — сейчас поздно. Мы оба устали. Завтра приедешь и взвесим кукурузу.

— Нет, — говорит, — зачем завтра приезжать, когда я сегодня здесь.

Ну, тут я ему показал. Безумному человеку надо через его безумность вправлять ум.

— Значит, ты мне не доверяешь! — кричу я ему от души, — ты в моем доме принял хлеб-соль и ты боишься в моем доме до завтра оставить мешки! Ты думаешь, Бахут, как нищий, залезет в твои мешки, вытащит кукурузу, а завтра скажет, что там не хватает?! Ты плюешь на мой хлеб-соль!

О! О! О! Вижу — потух, как свечка.

— Что ты, что ты, Бахути, — говорит, — успокойся, ради бога, разбудишь семью. (Сейчас вспомнил мою семью!) Ты мне доверяешь и я тебе доверяю. Завтра приеду.

И так он уехал. Ни завтра, ни послезавтра, слава богу, не приехал, но бочку через одного человека прислал. И с тех пор я на поминках ни о каком деле ни с кем не договариваюсь. И вообще я перестал ходить на поминки, кроме поминок по самым близким людям.

Так закончил Бахут свою историю.

— Я его видел, Бахут, — закричал Тендел, — месяц тому назад, как раз на поминках!

— Такого человека только на поминках и встретишь, — сказал Бахут, надвигая на глаза свою сванку.

— Я ему говорю, — продолжал Тендел, — что у тебя там с Бахутом получилось? — А он говорит: — Что получилось да то получилось, что Бахути меня напоил и вместо бочки „качича” подсунул бочку „изабеллы”. А зачем мне за двадцать километров надо было ехать, чтобы купить „изабеллу”? „Изабеллу” я у себя в деревне тоже мог купить.

— Вайме! — сказал Бахут и дурашливо ударил себя руками по голове, как бы оплакивая самого себя.

— Я тоже его видел еще раньше! — крикнул один из застольцев под общий смех.

— Опять на поминках? — спросил Бахут.

— Нет, на базаре! — перекрикивая смех, продолжал тот, может быть, отчасти импровизируя, — и я, зная твою историю, спросил у него: — Что ты думаешь о Бахуте? — И он мне сказал: — Бахути неплохой человек. Хлебосольный человек. А то, что с вином получилось — это я сам виноват. Если покупаешь вино, сперва попробуй из бочки, которую берешь, а потом пей с хозяином, сколько хочешь. А я сперва выпил его „качич”, получил кейф, а потом, конечно, не понял то вино, которое он мне продал. Если б он бочку айрана поставил на арбу, я бы ее тоже взял, как вино. А так Бахути человек неплохой. Но одно плохое в нем есть: зачем он сына приучает неправду говорить?.. А так Бахути неплохой, хлебосольный человек был... Что-то я его давно не встречаю... Может, он умер? Тогда почему меня на поминки не пригласили?

— Если бог есть, — крикнул под общий смех Бахут, — я первый приеду на его поминки!

Выпив по последнему стакану за домашний очаг старого охотника Тендела, гости стали подыматься из-за столов. Тимур, выбрав удобное мгновенье, подошел и тихо сказал Кязыму:

— Поговорим.

— Ладно, — ответил Кязым, — только жену отправь вперед.

Светила луна, и ночь была ясной и тихой, когда они вышли на

верхнечегемскую дорогу. На дороге стоял Бахут, ожидая Кязыма. Им было по пути.

— Ты куда? — спросил Бахут, внимательно вглядываясь в Кязыма, а потом так же внимательно в Тимура.

— Нам нужно поговорить, — ответил Кязым просто.

— Может, подождать тебя? — спросил Бахут. Он что-то почувствовал.

— Нет, — сказал Кязым, — ты иди домой, я тоже скоро вернусь.

— Ну, как знаешь, — сказал Бахут, глядя вслед Кязыму, уходящему вместе с Тимуром. Высокая, легкая фигура удалялась рядом с бритоголовой, коренастой, долго белеющей чесучевым кителем.

— Что тебе надо? — тихо спросил Тимур, косясь на Кязыма. Сейчас они были одни на всей дороге. В лунном свете круглая, бритая голова Тимура с темнью глазниц казалась страшноватой.

И вдруг Кязым вспомнил из рассказов людей, сидевших в тюрьме, что арестантов бреют. Господи, подумал Кязым, если все правильно пойдет, его и брить не надо будет. А ведь он всю жизнь ходил бритоголовый, так что его в любой год можно было сажать, а лучше всего сразу семнадцать лет назад. Он уже тогда был бритоголовый, мелькнуло в голове у Кязыма и погасло.

— Пойми меня хорошенько, — сказал Кязым, не глядя на Тимура, — если б моему брату не грозила беда, я бы за это дело никогда не взялся. Ты мне дашь пятьдесят тысяч, я выручу брата, и мы забудем об этом деле. Как видишь, я не лучше тебя, а какой ты, мы с тобой знаем оба.

— Ты сначала покажи свою карту, — выдавил Тимур.

— Моя карта у меня в кармане, — ответил Кязым и тут же поправил себя, — твоя карта у меня в кармане.

Тимур остановился на дороге и уставился на Кязыма своими темными глазами, и круглая, бритая голова его в лунном свете казалась странной, потусторонней.

— Только без глупостей, — строго предупредил Кязым, глядя на Тимура. Он сунул правую руку в карман, вытащил ее, отвел в сторону и раскрыл ладонь. В ладони его сверкнул ключ от сейфа.

— Где взял?! — с трудом выдохнул Тимур, не сводя цепенеющего взгляда с ключа, тускло поблескивающего в руке Кязыма.

— Я же говорил, что заходил к тебе, — сказал Кязым, внимательно следя за Тимуром.

— О! — рыкнул Тимур и, вцепившись ему в руку обеими руками, стал вырывать у него ключ. Он был все еще сильным человеком, но Кязым был сильнее.

Несколько долгих секунд шла беззвучная борьба, и Кязым едва удержался от желания ударить левой рукой по ненавистному жилистому затылку Тимура, когда тот, не сумев расцепить его пальцев, стал

пытаться зубами поймать кисть его руки.

— Я же говорил — без глупостей, — с брезгливым раздражением напомнил Кязым, отводя руку от зубов Тимура и поняв, что тот рано или поздно поймает его кисть своими челюстями, с такой силой вывернул ему руки, что тот, застонав, повалился.

Кязым, с трудом переводя дыхание, положил ключ в карман.

— Вставай, не маленький, — сказал он и, подхватив Тимура, поставил его на ноги.

Сейчас они молча стояли друг против друга, тяжело дыша. Кязым дышал тяжелей, хотя был моложе Тимура.

— А чем я буду уверен, что ты не донесешь? — сказал Тимур, выравнивая дыхание.

— Я же сказал, — помолчав и отдышавшись, ответил Кязым, — что я не лучше тебя. Как же я донесу властям, если деньги нужны мне для брата?

— Ладно, пошли, — сказал Тимур, и они снова двинулись по дороге. Поглядывая на круглую, бритую голову Тимура, странную в лунном свете, Кязым напряженно думал, что тот еще может выкинуть. Да, я сломал его, думал Кязым, но он и сломанный на все способен.

Они подошли к воротам дома Тимура.

— Вот что, — сказал Кязым, останавливаясь, — если ты попытаешься выстрелить из дому, тебе это не поможет. Бахут видел, что я ушел с тобой. Ты будешь в тюрьме, куда бы ты ни оттащил мой труп. И деньги твои пропадут. Все! И вот, что еще. Если ты быстро не выйдешь из дому, я буду считать, что ты вынес деньги с заднего крыльца, чтобы перепрятать их в лесу. Тогда я, не дожидаясь тебя, иду к председателю и отдаю ему ключ. К утру тебя заберет кенгурийская милиция.

— Нет, — сказал Тимур, — я быстро выйду, они у меня разложены по тысяче рублей. Считать недолго.

— Вот и умница, — сказал Кязым, — всегда так раскладывай.

— Хорошо, — предложил Тимур, — я тебе даю деньги, а ты мне возвращаешь ключ.

— Не пойдет, — сказал Кязым.

— Почему?

— Потому что года через два, когда все успокоится, я сам открою железный ящик и возьму деньги. Вот тогда я тебе верну твои.

— Хитрый, — процедил сквозь зубы Тимур, — так я тебе и поверил...

— Но не хитрей тебя, — сказал Кязым, — это же надо спрятать ключ, когда сам был председателем, а первый раз взять деньги уже через одного председателя. Ловко!

— Я его случайно нашел в доме, — сказал Тимур.

— Это ты оставь на случай суда, — ответил Кязым, — но ведь мы решили обойтись без суда...

Тимур открыл ворота, пересек двор и поднялся в дом. Кязым подумал, что не мешает обезопасить себя от выстрела, если Тимур вдруг все-таки вздумает избавиться от него. Он отошел от ворот и стал в тени алычи, росшей возле изгороди. А если он выйдет с ружьем? Наверяд ли. А если все-таки выйдет? Метрах в сорока слева от усадьбы Тимура густой, заколюченный лес, спускающийся до самой верхнечегемской дороги. Если он все-таки выйдет с ружьем, придется бежать туда, подумал Кязым. Нет, навряд ли он решится на это, подумал Кязым, не спуская глаз с дома.

Минут через десять из дому вышел Тимур. В руках он держал белый сверток. Больше ничего у него не было. Он пересекал двор, издали тревожно взглядываясь в то место, где стоял Кязым и где его сейчас не было.

— Эй, — окликнул он Кязыма, озираясь. Кязым вышел из тени и подошел к воротам. Тимур стоял с той стороны ворот, держа деньги, увязанные в полотенце. Кязым взял в руки сверток и, раздвинув узлы, убедился, что там деньги.

— Не считать? — спросил Кязым, хотя знал, что теперь это неважно.

— Все честно, — угрюмо сказал Тимур.

— А то ведь я приду завтра, если нехватает, — сказал Кязым.

— Я же сказал — все честно, — повторил Тимур.

— Это на тебе похоже, — сказал Кязым, с трудом впихивая в карман огромный сверток.

Сделав несколько шагов от ворот, Кязым обернулся и сказал:

— Да... Собаку не надо бить за то, что впустила меня в дом... Собака не виновата...

— Ну, уж это мое дело! — крикнул ему вслед Тимур.

Спускаясь на верхнечегемскую дорогу, Кязым думал: что еще может выкинут Теймыр? Он решил — если вскоре раздастся вой и плач избиваемой собаки, значит Теймыр решил на ней сорвать ярость. Если же все будет тихо — не исключено, что он, опомнившись, погонится за ним с ружьем и тогда лучше всего идти не домой, а в противоположную сторону, к дому нового председателя. Но ему сейчас лень было идти к дому Аслана.

Он уже подходил к верхнечегемской дороге, когда сзади раздался визг избиваемой собаки. Кязым вздохнул и только спустился на дорогу, как вдруг сверху, с косогора, гремя осыпью камней, стал спускаться человек. Перехитрил!!! — молнией пронеслось в голове: жене поручил избить собаку, а сам лесом погнался за мной!

Через мгновение Кязым облегченно вздохнул: на дорогу выскочил Бахут. — Ты что там делал? — удивился Кязым.

— Я пошел за тобой, — сказал Бахут, — бесноватый мне не понравился... Что он тебе передал?

Кязым понял, что Бахут следил за ними из леса. Кязым ему все рассказал и, вынув сверток из своего оттопыренного кармана, передал Бахуту.

— Отдай председателю, — сказал он, — и скажи, чтобы сейчас же послал кого-нибудь в Кенгурск за милицией.

— А ты что? — спросил Бахут, запихивая в карман сверток.

— А я пойду спать, — сказал Кязым и пошел своим легким, ленивым шагом, с руками, по давней привычке засунутыми за оттянутый ремешок пояса.

Хотя Кязыму и в самом деле было лень идти к дому председателя, но все-таки он поручил Бахуту это дело по другой причине. Как ни мал был риск того, что Тимур, опомнившись, погонится за ним, он не хотел этот риск делить с Бахутом. У него, как и у Кязыма, ничего, кроме крестьянского ножа на поясе, не было. Так что он ему ничем не смог бы помочь, а риск он не хотел делить с ним.

х х х

Когда утром председатель колхоза вместе с работниками милиции и Бахутом, пришли в дом Тимура, тому сначала хватило выдержки изобразить гневное негодование. Но председатель раскрыл портфель и дал заглянуть в него Тимуру.

Увидев деньги, завернутые в полотенце, Тимур побледнел. Все же он не сразу сдался. Вторую половину украденных в последний раз денег он вернул, а об остальных сказал, что ничего не знает. Разумеется, ему никто не поверил. После трехчасового обыска все деньги были найдены.

К этому времени, прослышав о случившемся, многие крестьяне собрались во дворе Тимура. Председатель колхоза несколько раз выходил на веранду и, покрикивая, пытался заставить их идти на работу. Но никто не ушел, все ждали, чем закончится обыск.

Когда, закончив обыск, милиционеры вместе с Тимуром выходили из дому, председатель, шедший за ними, что-то вспомнил.

— Стой, — сказал он Тимуру, уже спускавшемуся с крыльца под гул и гневные выкрики собравшихся во дворе, — дай ключ от сейфа!

— Какой ключ? — обернулся Тимур, — его же выкрал у меня твой Кязым!

— Нет, — сказал председатель, — он тебе показал второй ключ.

Тимур на мгновение замер, пытаясь осмыслить то, что сказал ему председатель. И вдруг он молча ринулся в дом. Через минуту из задней комнаты раздался страшный грохот. Не зная, что подумать,

председатель и все остальные вбежали в дом.

В задней комнате дома Тимур катался по полу, с яростным иступлением стучая своей бритой головой об пол и повторяя:

— Обманул! Обманул! Обманул!

Рядом с ним валялись разорванные ключья большой фотографии его отца, осколки стекла и обломки рамы. Как выяснилось позже, ключ был заложен за этот портрет, висевший на стене.

Несколько минут Тимур бился, как в падучей, пока его не скрутили милиционеры, а Бахут, найдя в доме бутылку чачи, насильно, сквозь сжатые зубы Тимура, не влил ему в рот хорошую порцию этой чегемской валерьянки. Тут Тимур размяк, выпустил ключ, зажатый в судорожном кулаке, а потом встал.

Когда Тимур Жванба в сопровождении милиционеров и председателя колхоза вышли из дому, крестьяне, толпившиеся во дворе, стали плевать в его сторону, а сестра первого бухгалтера, сидевшего уже больше четырех лет, вырвавшись из рук придерживающих ее людей, вцепилась ногтями в его лицо. Ее едва оторвали от него, а сам он даже не сопротивлялся, погруженный в мрачную задумчивость.

Но в Чегеме редкое событие может обойтись без комического эпизода. Так получилось и на этот раз. Не успела мрачная процессия перейти большой двор Тимура, как жена его, словно очнувшись, с криками погналась за ней.

— Ну, теперь она ему покажет за дочерей! — высказал свою догадку один из собравшихся крестьян.

— Поздно вато вскинулась! — добавил другой, глядя вслед бегущей и кричащей на бегу жене Тимура.

Однако жена Тимура, подбежав к процессии, вцепилась в руку председателя колхоза.

— Полотенце! — закричала она, — мое полотенце!

— Какое полотенце?! — обернулся председатель, пытаясь отбросить ее руку.

— В котором деньги завернуты! — крикнула она, и тут председатель, поняв, о чем идет речь, извлек сверток из портфеля и под смех чегемцев, а может именно из-за смеха чегемцев, замешкавшись с развязыванием узлов, кинул ей в лицо полотенце.

— До чего же Теймыр ее доендурил, — смеялись крестьяне, — что она в такой час вспомнила о полотенце.

х х х

На этом, посмеиваясь сам, закончил свой рассказ Бахут. Они с Кязымом сидели на кухне Большого Дома, попивая вино у очага. Кроме Нуцы, все остальные уже легли спать.

— Но вот что ты мне скажи, — спросил Бахут, — почему ты решил, что именно он ворует деньги?

— Потому что, — сказал Кязым, оживленно поглядывая на Бахута, — я сразу понял, что все три воровства дело рук одного человека, и, значит, бухгалтеры тут не при чем. Тогда кто? Любой другой человек, забравшись в правление, должен был или сломать железный ящик или его унести. Но вор открывал ящик. Значит, у него был ключ. Второй ключ. Откуда взяться второму ключу? Я спросил у председателя, который до этого работал в двух колхозах, как там было с ключами. Он сказал, что обычно в правлении бывает два ключа от железного ящика, один держит председатель, другой держит бухгалтер. Значит, решил я, и у нас было два ключа. Где искать второй ключ? Бухгалтеров я отодвинул, они не виноваты. Значит, один из бывших председателей. А их у нас было три. Последний не мог держать второй ключ, потому что оба бухгалтера сели при нем, и они бы обязательно сказали, что был второй ключ. Но они ничего такого на суде не сказали. Теперь идет следующий председатель. Но при нем деньги никто не воровал и трудно подумать, что он, работающий за сорок километров от Чегема, мог узнать, когда в железном ящике будут деньги, и придти ночью в правление как раз в такое время, когда сторожа кто-то из близких домов пригласил за праздничный стол, как это у нас водится. Остается Теймыр. И я на нем остановился. Он — первый наш председатель, и если с самого начала было два ключа, они были при нем. А, во-вторых, и это главное, если он решив, сделав вид, что ключ потерял, воровать деньги, он обязательно должен был пропустить следующего председателя. Потому что тогда еще могли подумать: а куда, интересно, делся второй ключ? А потом уже не могли подумать, привыкли, много времени прошло.

— Но вот что ты мне скажи, — снова спросил Бахут, после того, как они выпили по стаканчику, — что бы ты сделал, если бы он ключ держал в том же месте, где деньги? Он бы сразу понял твой обман!

— Я об этом тоже подумал, — сказал Кязым и, осторожно приподняв кувшин, разлил по стаканам душистую „изабеллу”. Стаканы с пурпурным вином, озаренные пламенем очага, просвечивались, как драгоценные камни.

— Этого не могло быть, — продолжал Кязым с удовольствием. — Если человек зарезал человека и ограбил его, он свой нож или выбросит или, вымыв, куда-нибудь спрячет. Но он его никогда не спрячет в том же месте, где награблены деньги. Потому что нож возле награбленных денег — это вроде свидетель. А зачем убийце свидетель? А наш Теймыр, считай, трех бухгалтеров зарезал, а ключ — это его нож. Он его не мог держать вместе с деньгами.

— А если бы он у тебя спросил, как ты залез ко мне в дом? —

не унимался Бахут.

— Ха, — усмехнулся Кязым и, положив ногу на ногу, скрутил цыгарку, — не для того я его два дня ломал, чтобы он у меня много спрашивал. Но и на этот случай я заметил, что рама одного окна у него подгнила. Вечером я ее потихоньку растряс, раскрыл, а потом прикрыл и пошел в дом Тендела. Но он у меня даже не спросил ничего, потому что я его в ту ночь совсем доломал...

— Чем хвастаться, — сказала жена Кязыма, входя в кухню с охапкой белья, — ты бы подумал, как он тебе отомстит, когда вернется.

— Ну это еще не скоро, — сказал Кязым, и они с Бахутом выпили по стаканчику.

— Лет десять получит, — сказал Бахут, ставя свой стакан на столик.

— Собаку жалко, — вдруг вспомнил Кязым, — я его натравил на нее...

— Ты бы лучше себя и своих близких пожалел, — заворчала Нуца, разгребая жар очага и, поддев его специальной лопаточкой, высыпала в утюг, — второй день пьешь, а потом будешь стонать: сердце схватило.

Кязым ничего не ответил, но, продолжая разговаривать с Бахутом, перешел на мингрельский язык, чтобы жена не встревала. Он еще не все тонкости этого дела выложил своему другу. Нуца знала, что муж ее уже завелся и теперь еще долго будет пить, скорее всего всю ночь. Он сам еще не знал этого, но она уже чувствовала это по его особому оживлению. Кязым пил редко, но основательно.

Нуца выгладила все белье и, продолжая поварчивать, ушла в горницу, держа перед собой большую стопку свежевыглаженного белья.

Она как в воду смотрела. На рассвете, когда птицы уже раскрикались на всех деревьях усадьбы, Кязым с Бахутом стояли посреди двора. Оба держали в руке по стакану, а Кязым придерживал второй рукой кувшинчик. Они оба были пьяны, но не шатались и сознания не теряли. Сказывалась традиция и долгая выучка.

Корова уже паслась, жадно щипая росистую траву, словно наверстывая все, что недоела за время болезни. Собака сидела у порога кухонной веранды и с некоторой сумрачностью следила за своим хозяином, как бы осуждая неприятную необычность происходящего.

Кязым сейчас, сильно запрокинувшись назад, долго тянул из своего стакана. Чувствовалось, что сосуд, в который втекает вино, уже с трудом вмещает жидкость, и Кязым, запрокидываясь все дальше и дальше назад, тянул и тянул из стакана, словно в этой позе выискивал в себе пространство, еще не заполненное вином.

Бахут в отличие от Кязыма был среднего роста и плотненький.

В белом полотняном кителе и в шапке-сванке, надвинутой на масляные глаза, он сейчас с некоторой блудливой хитрецей следил, чем окончится состязание Кязыма со стаканом.

Это выражение не осталось незамеченным Кязымом, и он, допив свой стакан, выпрямился и, смеясь не только глазами как обычно, посмотрел на Бахута.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты сейчас думал? — сказал он.

— Ничего я сейчас не думал, — отвечал Бахут, убирая с лица остатки блудливого выражения.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — ты сейчас думал: неужели Кязым не опрокинется назад!

— Ничего я такого не думал! — сказал Бахут.

Кязыму было ужасно весело от мысли, что Бахут ждал, что он опрокинется, а вот он взял да и не опрокинулся. Но еще веселее ему было от того, что Бахут теперь ни за что в этом не признается.

— Неужели, — сказал Кязым, — ты один раз в жизни не можешь честно сказать правду: — Да, я ждал, что ты опрокинешься!

— Я честно говорю, — сказал Бахут, — я не ждал, что ты опрокинешься!

— Ох, Бахут! Ох, Бахут, — покачал головой Кязым, — почему один раз в жизни честно не скажешь: — Да, я ждал, что ты опрокинешься!

Бахут понял, что теперь Кязым от него не отстанет.

— Подумаешь, опрокинешься, — ворчливо заметил Бахут, — ничего страшного — трава.

— Значит, ты все-таки ждал, что я опрокинусь!

— Ничего не ждал, кацо! Но если б даже опрокинулся — ничего страшного — трава!

— Ах, ты мой толстячок! Учти, что я все твои хитрости заранее знаю!

— Ты знаешь кто такой? — сказал Бахут.

— Кто? — заинтересовался Кязым, поднося кувшинчик к его стакану.

— Ты сушеная змея, — сказал Бахут, отстраняя от кувшина свой наполнившийся стакан.

— Почему? — заинтересовался Кязым, наполнив свой стакан.

— Что ты кушаешь — тебя кушает! Что ты пьешь — тебя пьет! — торжественно заявил Бахут.

— Почему то, что я пью, меня пьет? — заинтересовался Кязым.

— Вот ты всю ночь пил, а живот у тебя где? — спросил Бахут и стал дергать Кязыма за свободный ремешок на его впалом животе, — куда пошло то, что ты пил?

— Куда надо, туда пошло, — сказал Кязым, несколько отступая под напором Бахута.

— Ты сушенная змея, — повторил Бахут понравившееся ему определение и, радуясь, что он теперь атакует, — ты жестокий! Ты своих детей ни разу на колени не сажал! Если ты честный человек, скажи, ты хоть один раз в жизни сажал на колени своего ребенка?

— Нет, — сказал Кязым, — мы детей в строгости содержим. Абхазцы говорят: — Посади ребенка на колени, он повиснет у тебя на усах.

— Вот я и говорю, — нажимал Бахут, — у вас у абхазцев жестокие законы!

— Ах ты, эндурец! — сказал Кязым.

— Я не эндурец, — гордо возразил Бахут, — я мингрелец!

— Нет, ты эндурец, — сказал Кязым, чувствуя, что теперь он может перейти в наступление, — я один знаю, что ты эндурец.

— Нет, — гордо ответил Бахут, — я мингрелец. Я мингрельцем родился и мингрельцем умру.

— Нет, — сказал Кязым, — ты мингрельцем родился, но умрешь эндурцем.

— Это у твоего брата Сандро, — вдруг вспомнил Бахут, — жена эндурка.

Маслянистые глазки Бахута засияли: мол, посмотрим, что ты теперь скажешь.

— Мой брат Сандро, — сказал Кязым, — сам первый эндурец!

Такой оборот дела показался Бахуту чересчур неожиданным, и он немного подумал.

— Значит, ты признаешь, — сказал он, — что твой брат Сандро эндурец?

— Конечно, — сказал Кязым, — мой брат Сандро первый эндурец в мире. Нет, второй эндурец. Первый в Москве сидит.

— Но раз твой брат Сандро эндурец, — радостно воскликнул Бахут, — значит ты тоже эндурец!

— Нет, — сказал Кязым, — я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом одни эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец!

— Ох, не заносись, Кезым! — крикнул Бахут, помахивая пустым стаканом перед его лицом, — ты, когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу, когда кто-нибудь заносится!

Уахоле, уахоле, цодареко...

Не слушая его, запел Кязым мингрельскую песню, и Бахут, не успев изменить гневного выражения лица, как бы подхваченный струей мелодии, стал подпевать. Немного попев, они снова выпили по стаканчику.

— Но иногда мне кажется, — сказал Кязым, как бы смягчившись

после пения, — что я тоже эндурец.

— Почему? — сочувственно спросил у него Бахут.

— Потому что не у кого спросить, — сказал Кязым, — эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут. А чтобы узнать, превратился я в эндурца или нет, нужен хотя бы еще один неэндурец, который скажет тебе правду. Но второго неэндурца нет, потому я иногда думаю, что я тоже стал эндурцем.

Тут Бахут понял, что Кязым обманул его своим притворным смирением.

— Ты опять заносишься, Кезым! — стал подступаться он к нему, — я ненавижу, когда кто-нибудь заносится. Подумаешь, этого дурака Теймыра обманул! Он даже прокушать деньги не смог! Крысы съели половину! У тебя нет причины заноситься? А ты, когда выпьешь, сразу заносишься!

О райда Гудиса-хаца, эй...

О райда сиуа райда,

О райда э-эй...

Запел Кязым абхазскую песню, и Бахут некоторое время сумрачно молчал, а потом не выдержал и подхватил песню, все еще сердито поглядывая на Кязыма.

Немного попев, они еще раз выпили по стаканчику. И когда Кязым пил свой стакан, он слышал в тишине прерывистый сочный звук, с которым Рыжуха рвала росистую траву. Звук этот был ему приятен и порой, пока он пил свой стакан, звук наплывал с такой отчетливостью, как будто корова рвала траву у самого его уха.

Он знал, что такое бывает после крепкой выпивки. И он подумал: для того и существует крепкая выпивка, чтобы приближать то, что приятно душе, и отдалять то, что ей неприятно. А те, кто говорит, что это нехорошо, пусть придумывают такое средство, чтобы человек иногда мог отдалять от души то, что ей неприятно и приближать то, что ей приятно. А если не могут придумать — пусть заткнутся.

На востоке сквозь ветви яблони чуть порозовело небо. Свежий, предутренний ветерок прошелестел в листьях грецких орехов и яблони и словно откатнул вместе с ветками птичий щебет и снова приблизил.

Два паданца один за другим — тук! тук! упали с яблони и через долгое мгновенье, словно решалось, падать ему или нет, последовало третье яблоко, явно более крупное — шлеп! и снова все затихло. Только птичий щебет и сочный приближающийся звук пасущейся коровы. Буйволица на скотном дворе встала на ноги, подошла к ореховому дереву и, выбрав особенно шершавое место на его коре, стала, мерно покачиваясь, чесать свой бок. К щебету птиц и сочному зву-

ку обрываемой травы прибавился шуршащий звук, исходящий от буйволицы, прочесывающей свою толстую шкуру: шшша, шшша, шшша.

Кязым знал, что это теперь надолго. И ему было легко, весело и он очень любил Бахута и поэтому ему сейчас захотелось подковырнуть его с другой стороны.

— Бахут, — сказал Кязым, — ты сколько языков знаешь?

— Столько же, сколько и ты, — ответил Бахут.

— Нет, — сказал Кязым, — ты на один меньше знаешь.

— Давай посчитаем, — сказал Бахут, — говори, сколько ты знаешь!

— Я знаю абхазский, — начал Кязым, — мингрельский, грузинский, турецкий и греческий. Пять получается!

— Я тоже, — сказал Бахут, — знаю пять языков. Мингрельский, грузинский, абхазский, турецкий и... русский тоже.

На этом-то как раз Кязым его собирался поймать. В Абхазии русские в деревнях не живут, и поэтому они оба очень плохо знали русский язык. Но Бахут его знал еще хуже, чем Кязым.

— Значит, русский тоже знаешь? — переспросил его Кязым.

— Ну так, по-крестьянски знаю, — сказал Бахут, не давая себя поймать, — что нужно для хозяйства, для базара, для дороги — все могу сказать!

— А ты помнишь, когда мы продавали орехи в Мухусе и у тебя разболелся зуб и мы пришли в больницу и что ты там сказал доктору? При этом, учти, доктор была женщина!

— Ты настоящая сушеная змея, — сказал Бахут, — двадцать лет с тех пор прошло, а он еще помнит. Я тогда пошутил.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — разве человек шутит, когда у него болит зуб?

— А вот я такой. Я пошутил, — сказал Бахут, хотя уже понимал, что Кязым от него не отстанет.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — ты нечестный человек. Ты тогда сказал этой женщине такое, что она нас чуть не прогнала. Повтори, что ты тогда сказал по-русски!

— Подумаешь, двадцать лет прошло, — напомнил Бахут смягчающее обстоятельство.

— Повтори, что ты сказал тогда по-русски.

— Ты сушеная змея, — сказал Бахут, понимая, что теперь Кязым от него не отстанет.

— Повтори, что ты тогда сказал по-русски!

— Доктор, жоп болит, — насупившись повторил Бахут.

— Ох, Бахут, опозорил ты меня тогда, — отсмеявшись, сказал Кязым, — но сейчас-то хоть ты знаешь, как надо было сказать?

— Конечно, — сказал Бахут и вдруг почувствовал, что забыл. —

Знал, но забыл.

Кязым это сразу понял.

— Тогда скажи!

— Ладно, хватит, лучше давай выпьем, — сказал Бахут, оттягивая время, чтобы припомнить правильное звучание слова.

— Ох, Бахут, опять хитришь!

Бахуту показалось, что он вспомнил.

— Зоп болит надо было сказать, — проговорил Бахут и сразу же по выражению лица Кязыма понял, что промахнулся.

Кязым долго хохотал, откидываясь, как при питье, и, разумеется не падая, на что Бахут даже не рассчитывал.

— Ох, Бахут, уморишь ты меня, — отсмеявшись и утирая глаза, сказал Кязым.

— Тогда скажи, как надо! — раздраженно спросил Бахут, пытаюсь хоть какую-нибудь пользу извлечь из своей неловкости.

— Зуб болит, з-у-у-б! — вразумительно сказал Кязым, — у-у-у! За двадцать лет не можешь запомнить!

— С тех пор у меня зубы не болели, — ворчливо сказал Бахут и добавил, — что за язык — зоб, зуб...

Он стал припоминать, чем бы подковырнуть Кязыма. Но как назло сейчас ничего не мог припомнить. И тогда он решил вернуться к детям Кязыма, о которых он уже говорил.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, — ты ни разу в жизни не посадил на колени своего ребенка.

— Для сушеной змеи я слишком много выпил, — сказал Кязым.

— Ты лошадей любил больше, чем своих детей, — сказал Бахут, чувствуя, что можно эту тему еще развить, — ты своих детей никогда не сажал к себе на колени, ты лошадей больше любил...

— Да, — сказал Кязым, — я лошадей сажал к себе на колени.

Но Бахут его шутки не принял, он ринулся вперед.

— Ты всю жизнь лошадей любил больше, чем своих детей, ты чуть не умер, когда твоя Кукла порченная вернулась с перевала!

— Как видишь, не умер, — сказал Кязым. Он не любил, когда ему об этом напоминали.

Бахут почувствовал, что хватил лишнее, но ему сейчас ужасно было жалко детей Кязыма, так и не узнавших, как он считал, отцовской ласки.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, чувствуя, что он еще немного и разрыдается от жалости к детям Кязыма, — ты ни разу за всю свою жизнь не посадил на колени своих бедных детей...

— Зато я знаю, кого ты на колени сажаешь, — сказал Кязым, неожиданно переходя в наступление. Бахут пошаливал с вдовушкой, жившей недалеко от его дома, но он не любил, когда ему об этом напоминали. Он сразу отрезвел, насколько можно было отрезветь в

его положении, и забыл о детях Кязыма.

— Нет, — сказал Бахут сухо, — я никого на колени не сажаю.

Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал, потому что она была на два года старше его.

— Не вздумай сейчас к ней идти, — предупредил Кязым, — сейчас тебе нужен большой таз. Больше ничего не нужно. А большой таз тебе жена поставит возле кровати.

— Большой таз мне не нужен, — сказал Бахут, насупившись, — большой таз тебе нужен!

Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал. Особенно он не любил, когда Кязым напоминал ему о вдовушке и о жене одновременно, потому что она была на два года старше его и на двенадцать лет старше жены.

— Когда дойдешь до развилки, — сказал Кязым и для наглядности, поставив кувшин на землю, стал показывать руками, — так ты не иди по той тропинке, которая слева...

— Что ты мне говоришь! — вспыхнул Бахут, — что я дорогу домой не знаю, что ли?!

— Когда подойдешь к развилке, — вразумительно повторил Кязым и снова стал показывать руками, — по левой тропинке не иди. Иди по правой — прямо домой попадешь. Ты еще помнишь, где у тебя правая рука, где левая?

— Не заносись, Кезым, — гневно прервал его Бахут, — ты когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу людей, которые заносятся, как сушеная змея!

Шарда а-а-мта, шарда а-а-мта...

Запел Кязым абхазскую застольную, а Бахут некоторое время молчал, показывая, что на этот раз его не поддержит. Но забыл и стал подпевать, а потом вспомнил, что не хотел подпевать, но уже нельзя было портить песню, и они допели ее до конца. После этого они выпили еще по стаканчику.

За яблоней разгоралась заря. Корова, которая паслась перед ними, теперь паслась позади них, и оттуда доносился все тот же сочный, ровный звук обрываемой травы. Буйволица на скотном дворе, стоя возле орехового дерева, мерно покачиваясь, продолжала чесать бок.

Большое дело, подумал вдруг Кязым, требует большого времени, точно так же как буйволице нужно много времени, чтобы прочесать свою толстую шкуру.

Снова потянул утренний ветерок, и петух, может быть, разбуженный им, громко кукарекнул с инжирового дерева, где на ночь располагалось птичье хозяйство. Две курицы слетели вниз и закудахтали, словно извещая о своем благополучном приземлении, и петух,

как бы убедившись в этом, пыхнув червонным опереньем, шлепнулся на землю и громко стал призывать остальных кур, незамедлительно следовать его примеру. В козьем загоне взбрыкнул колоколец.

Кязым и Бахут были пьяны, но нить разума не теряли. Во всяком случае, им казалось, что не теряют.

— Знаешь что, — сказал Кязым, — я чувствую, что ты не сможешь отличить левую руку от правой. Потому я тебе сейчас налью немного вина на правый рукав, чтобы ты, когда подойдешь к развилке, знал, в какую сторону идти.

С этими словами он взял покорно поданную ему правую руку Бахута и стал осторожно из кувшина поливать ему на обшлаг рукава. Бахут с интересом следил за ним.

— Много не надо, — вразумительно говорил ему Кязым, осторожно поливая обшлаг, — а то жена подумает, что человека убил.

— Я тебя все равно рано или поздно убью, — сказал Бахут и протянул ему вторую руку. Кязым машинально полил ему обшлаг второго рукава.

И тут неудержимый хохот Бахута вернул Кязыма к действительности. Он понял, что Бахут его перехитрил.

— Ха! Ха! Ха! — смеялся Бахут, вытянув руки и показывая на полную невозможность отличить один рукав от другого, — теперь, в какую сторону я должен поворачивать?!

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — я устал от твоего шайтанства.

— Еще ни один человек Бахута не перехитрил! — громко сказал Бахут, вздымая руку с красным обшлагом и, решив на этой победной ноте закончить встречу, отдал Кязыму свой стакан.

Бахут пошел домой, а Кязым стоял на месте и следил за ним, пока тот переходил скотный двор, и когда Бахут скрылся за поворотом скотного двора, стал прислушиваться — не забудет ли он захлопнуть ворота. Там начиналось кукурузное поле, и скот мог потравить его. Хлопнули ворота — не забыл.

Уахоле, уахоле цодареко...

Протянул Кязым песню и замолк, прислушиваясь к тишине. Чегемские петухи во всю раскукарекались. Через несколько долгих мгновений раздался голос Бахута, подхватившего песню.

Звякнув стаканами, Кязым взял их в одну руку и, приподняв кувшинчик, пошел к дому своей все еще легкой походкой.

х х х

Через месяц бывшего председателя колхоза Тимура Жванба, предварительно лишив его звания Почетного Гражданина Села, суди-

ли и дали ему десять лет. Невинно осужденных бухгалтеров выпустили. В том же году жена Тимура, продав свой дом, перебралась к дочери в Кенгурск. Так закончилась история ограбления колхозного сейфа.

Сторож правления, считавший неприличным отказываться от приглашений на праздничные застолья в ближайших домах, был уволен. Однако новый страж тоже не слишком ломался, когда хозяин какого-нибудь из ближайших домов, усаживая гостей за стол, говорил своим домашним:

— А ну, кликните этого бедолагу, что нашу благотельницу стережет! Пусть посидит в тепле и выпьет пару стаканчиков.

И новый страж, обычно знавший о предстоящем застолье и бдительно ожидавший призыва, быстро являлся в дом и, приткнув куда-нибудь свое ружьишко, присаживался к столу, мимоходом успокаивая гостей, кстати, не испытывавших никакой нужды в его успокоении.

— Теперь-то, — говорил он, намекая на арест Тимура, — железный ящик никто не откроет. А больше там и брать нечего, кроме стульев.

— Да, — соглашались чегемцы, — пока в Чегеме пасутся четвероногие, никто стульев не станет воровать. Вот, если четвероногих не будет, тогда, может, и до стульев дойдут.

— К тому оно и клонится, — при этом обычно замечал какой-нибудь скептик и, сдвинув войлочную шапчонку на глаза, смачно сплевывал в очаг, неизменно стараясь попасть в самую середину огня, что ему, за редкостью, удавалось.

ДЯДЯ САНДРО И РАБ ХАЗАРАТ

Этот рассказ я услышал от дяди Сандро, когда мы сидели за столиком под тентом в верхнем ярусе ресторана „Амра”. Кажется, я повторяюсь, слишком часто упоминая верхний ярус этого ресторана. Но что делать, в нашем городе так мало осталось уютных мест, где особенно в летнюю жару можно спокойно посидеть под прохладным бризом, слушая шлепающие и глухие звуки, которые издают ребячьи тела, слетая с вышки для прыжков в воду, слушая их мокрые, освежающие душу голоса, созерцая яхты, иногда с цветными парусами, набитыми ветром до плодово-телесной выпуклости и в наклонном полете (якобы мечта Пизанской башни) состругивающие мягкую гладь залива.

Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение, которое почему-то надо было скрывать. Сам-то я таких альбомов не держу и тем более никогда не имел возможности самому сфотографировать ее. Так что в том или ином виде, ее всегда мне кто-нибудь демонстрировал и каждый раз надо было благодарно удивляться ее идиотскому наклону.

Однако, сколько можно падать и не упасть?! Я считаю так — если ты Пизанская башня, то, в конце концов, или рухни, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!

В ночных кошмарах, правда, чрезвычайно редких, я всегда вижу один и тот же сон. Как будто они привезли меня в Италию, надежно привязали в таком месте, где я день и ночь вынужден созерцать Пизанскую башню, приходя в круглосуточное бешенство от ее бессмысленного наклона и точно зная, что на мой век ее хватит, при мне она не рухнет.

Этот ночной кошмар усугубляется тем, что какой-то итальянец, вроде бы Луиджи Лонго, однако почему-то и не признающийся в этом, три раза в день приносит мне тарелку спагетти и кормит меня, заслоня спиной Пизанскую башню и одновременно читая лекцию о

еврокоммунизме. И мне, вроде, до того неловко слушать его, что я еле сдерживаю себя от желания крикнуть:

— Амиго Лонго, отойдите, уж лучше Пизанская башня!

Во сне я прекрасно говорю по-итальянски, однако же молчу, потому что очень вкусными мне кажутся эти неведомые спагетти. И я вроде каждый раз уговариваю себя:

— Вот, съем еще одну ложку и скажу всю правду!

И от того, что я ему этого не говорю и у меня не хватает воли отказать от очередной ложки, я чувствую дополнительное унижение, которое каким-то образом не только не портит аппетита, но даже усугубляет его.

И я вынужден выслушивать моего лектора до конца, до последней макаронины, а уж потом, после последней ложки, какая-то честность или остатки этой честности мешают мне сказать ему все, что я думаю. Если б я хоть одной ложкой спагетти пожертвовал, еще можно было бы сказать ему всю правду, а тут нельзя, стыдно, ничем не смог пожертвовать.

И вот он уходит, и тут из-за его спины появляется эта кривобочная башня. Недавно я узнал от друзей, что какой-то польский инженер разработал и даже осуществил проект выпрямления Пизанской башни. Конечно, такой проект должен был сотворить именно поляк. Конечно, в Польше всё давно выпрямили и его тоска по выпрямлению должна была обратиться на Пизанскую башню.

Сейчас мне вдруг пришло в голову: а что если наклон Пизанской башни был зна́ком, показывающим некий градус отклонения всей земной жизни от божьего замысла, и теперь мы лишены даже этого призрачного ориентира? Или так: а что, если бедняга Пизанская башня, в сущности, правильно стояла, а это наша земля со всеми нашими земными делами под ней скособочилась?

Итак, мы в верхнем ярусе ресторана „Амра”. Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я.

Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть. Но на этот раз была.

Дело в том, что мой двоюродный брат Кемал, бывший военный летчик, а ныне мирный диспетчер мухусского аэропорта, находясь в своей машине, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, был задержан автоинспектором.

В таком состоянии я его несколько раз видел за рулем и ему ни разу не изменили его точные рефлексии военного летчика и могучая нервная система.

При мне несколько раз его останавливали автоинспекторы, догадываясь о неблагополучии в машине скорее по чрезмерному шуму веселья на заднем сидении, чем по каким-то нарушениям.

В таких случаях он обычно, не глядя на автоинспектора и одновременно воздействуя на него своим наполеоновским профилем, тем более, что профиль винных запахов не издает, так вот, в таких случаях, он, не глядя, сует ему не водительские права, а книжку внештатного корреспондента журнала „Советская милиция”.

Книжка воздействует магически. Но на этот раз она не могла сработать. Дело было ночью, и он в машине был один. А когда он выпивший ночью в машине едет один, к его точным рефлексам бывшего военного летчика незаметно подключается сдвинутый во времени рефлекс ночного бомбардировщика: ему кажется, что война еще не кончилась и он летит бомбить Кенигсберг, который давно уже восстал из своих руин и, незаметно смягчив в советской транскрипции готическую остроугольность своего названия, превратился в Калининград.

В сталинские времена за один этот его запоздалый рефлекс могли посадить на десять лет. Но в наше чудесное время его только остановил автоинспектор, потому что он, согласно своему запоздалому рефлексу, старался выжать из своих „Жигулей” самолетную скорость.

Кемал затормозил. Ему бы дотерпеть, пока автоинспектор подойдет, и показать ему книжку внештатного корреспондента журнала „Советская милиция”. Но он, затормозив, уснул за рулем столь безмятежным сном, что его разбудили только утром в помещении автоинспекции.

Но тут уже в игру вступил сам начальник автоинспекции Абхазии. Пока нарушитель спал, был составлен образцово-показательный акт, и когда он, проснувшись, все еще исполненный своего несокрушимого благодушия, попытался показать свою магическую книжку, у начальника хватило самолюбия не ретироваться.

Кемала лишили водительских прав чуть ли не на полгода. При этом издевательски оставили при нем удостоверение внештатного корреспондента журнала „Советская милиция”, в данной комбинации теряющее всякий смысл. Однако он, будучи человеком крайне ленивым по части хольбы, с таким наказанием никак не мог смириться.

Тут-то мы и обратились за помощью к дяде Сандро. Дядя Сандро свел его с князем Эмухвари. Князь Эмухвари в недалеком прошлом работал директором фотоателье, но к этому времени, как говорят спортсмены, сгруппировался и открыл свою частную фотоконтору.

Конечно, Кемал знал князя и до этого. Но как человек, основную часть своей жизни проведший в центральной России, где если и оставались еще кое-какие аристократы, они не проявляли ни малейшего желания подходить к военным аэродромам, в которых или возле которых проходила его жизнь. Впрочем, если б они проявили такое странное желание, кто бы их подпустил туда?

И вот он, как человек, лучшие свои годы проведший в нашей славной метрополии и будучи человеком крайне флегматичным, с не-

которым консерватизмом реакции на жизненные впечатления, решил, что с влиянием аристократии в стране давно покончено и не придавал никакого значения своему знакомству с князем.

И тут дядя Сандро, как любимец самой жизни, указал ему на его чересчур отвлеченное понимание законов истории.

Начальник автоинспекции оказался выходцем из деревни, где княжил до революции один из дальних родственников нашего князя. Видно, хорошо княжил, потому что и такого родства оказалось достаточно. Дело быстро уладили.

Пару слов о флегматичности Кемала, потому что потом я об этом могу забыть. Конечно, он флегма, но слухи о его флегматичности сильно преувеличены. Так сестра моя, например, рассказывает, что когда он звонит по телефону, особенно по утрам, она по долгим мыкающим звукам узнает, что на проводе Кемал. И она, якобы, говорит ему:

— Кемальчик, соберись с мыслями, а я пока сварю себе кофе.

И она, якобы, успевает сварить и снять с огня кофе, пока он собирается с мыслями, а иногда даже поджарить яичницу. А турецкий кофе, конечно, можно приготовить, пока он собирается с мыслями.

Он, конечно, флегма, но если его как следует раскопечгарить, он становится неплохим рассказчиком. Мне смутно мерещится, что он заговорит в этом нашем повествовании, но не скоро, а так, поближе к концу. Так что наберемся терпения. Вообще, имея дело с Кемалем, прежде всего надо набраться терпения.

...Ах, как я хорошо помню его первый послевоенный приезд в наш дом! Он приехал тогда еще стройный, бравый офицер с толстенькой веселой хохотушкой-женой и бледно-голубым грустным томиком стихов Есенина.

Я, конечно, уже знал стихи Есенина, но видеть их изданными, держать в руках этот томик?! Книжка тогда воспринималась, как бледная улыбка выздоровления тяжело-больной России.

Помню беспрерывный смех его жены-хохотушки и погромыхивание его хохота, когда я, тогдашний девятиклассник прочитал ему собственную „Исповедь”, которую я написал немедленно после чтения „Исповеди” Толстого не только потрясенный ею и даже не столько потрясенный ею, сколько удивленный открывшейся мне уверенностью, что у меня не меньше оснований исповедываться.

Кемал устроился работать на одном из наших аэродромов, потом они что-то там с хохотушкой-женой не поладили и разошлись. Жена его уехала в Москву, а Кемал женился еще раз, уже окончательно. К этому времени стало ясно, что насчет томика Есенина я ошибался. То, что казалось улыбкой выздоровления, было ничем иным, как безразличной добавкой тирана в нашу духовную баланду по случаю

Великой победы над Германией.

После XX съезда, когда кинулись искать абхазскую интеллигенцию и выяснилось, что она почти полностью уничтожена Берией, а национальную культуру вроде надо бы двигать, Кемала срочно вытащили из аэродрома и назначили редактором местного издательства, где он за несколько лет дослужился до главного редактора. Он был для этого достаточно начитан, имел неплохой вкус и хорошо чувствовал абхазский язык.

У него было несколько столкновений с начальствующими писателями, и я его предупредил, что это плохо кончится.

— Ограничь свою задачу, — сказал я ему, уже будучи газетным волчонком, — помощью молодым талантливым писателям. Не мешай начальствующим бездарностям — иначе они тебя сожрут.

Он посмотрел на меня своими темными воловьими глазищами, как на безумца, который предлагает посадить за штурвал самолета необученного человека только потому, что этот человек — начальник. И напрасно.

Примерно через год он написал обстоятельную рецензию на книгу одного начальствующего писателя, доказывая, что книга бездарна. Тот поначалу не очень удивился его рецензии, считая, что рукой рецензента двигает могучая противоборствующая группировка. В провинции, а может и не только в провинции, у власти всегда две противоборствующие группировки.

И лишь через год, установив, что Кемал с противоборствующей группировкой даже не знаком, начальствующий писатель забился в падучей гнева. Однако, оправившись, он взял себя в руки и стал систематически напускать на него своих интриганов-холуев. Благодаря могучему флегматичному устройству характера Кемала, он года два отбивался и отмахивался от этих интриг, как медведь от пчел. А потом все же не выдержал и закосолапил в сторону аэродрома, где, к этому времени растолстев и потеряв взлетную скорость, устроился диспетчером.

И так как он до сих пор там работает, мы вернемся к нашему сюжету, то есть к нашему походу в ресторан „Амра” (верхний ярус) после успешного династического давления князя Эмухвари на не вполне марксистскую психику начальника автоинспекции.

Может создаться впечатление, что Кемал повел всех угощать. Но это совершенно ошибочное впечатление. Кемал так устроен, что тот, который делает ему доброе дело, считает для себя дополнительным удовольствием еще и угостить его.

Такова особенность его обаяния. В чем ее секрет? Я думаю, придется возвратиться к Пизанской башне. В отличие от этой башни, которую мы вспомнили действительно случайно, а теперь, якобы, случайно к ней возвращаемся, сама фигура Кемала, мощная, низкорос-

лая, вместе с его спокойным, ровным голосом, раскатистым смехом, обнажающим два ряда крепких зубов, производит впечатление исключительной устойчивости, прочности, хорошо налаженной центровки.

Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название — комплекс Пизанской башни. Прошу зафиксировать приоритет советской науки в этом вопросе.

Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть и тем, что все все еще держится.

И вот человек с этим Пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди прочные, крепкие, надежные. И человека временно отпускает гнет его Пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых.

Вот так мы шли в ресторан „Амра”, когда у самого входа встретили тогда еще неизвестного фотографа Хачика. Увидев князя, он раздраженно дощелкал своих клиентов и бросился обнимать его с радостью грума, после долгой разлуки встретившего своего любимого хозяина. Хачик был так мал, словно постарел, не выходя из подросткового возраста и тем самым как бы сохранив право на резвость.

И, конечно, он поднялся с нами в ресторан и уже никому не давал платить, в том числе и Кемалу, если бы, конечно, ему пришлось в голову пытаться платить.

Во время застолья Хачик несколько раз подымал красноречивые тосты за своего бывшего директора и говорил, что за сорок лет у него ни до этого, ни после этого не было такого директора.

Князь Эмухвари снисходительно посмеивался. В своих дымчатых очках он был похож на итальянского актера времен неореализма, играющего роль голливудского актера, попавшего в итальянский городок, где его помнят и любят по старым картинам.

Я пытался выяснить у него, чем ему так полюбился князь-директор, но Хачик с гневным удивлением взглянул на меня, махал рукой в сторону князя и кричал:

— Хрустальная душа! Простой! Простой!

Правда, когда князь отошел, он, видимо, пытаясь отвязаться от моих расспросов, сказал:

— За пять лет работы, князь ни разу, ни у одного фотографа деньги не попросил! Что надо — получал! Но сам не просил! Простой! А другие директора, не успеешь вечером придти в ателье, вот так трясут: деньги! А он простой! Ни разу не попросил! Хрустальная душа!

Дядя Сандро так прокомментировал его слова:

— Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий.

И дядя Сандро, конечно, прав. Простота есть безусловное следствие сознания внутренней полноценности. Не удивительно, что это сознание чаще, хотя и не всегда, свойственно людям аристократического происхождения. Мещанин всегда не прост и это следствие сознания внутренней неполноценности. Если же он, благодаря особой одаренности, перерастает это сознание, он прост и естественен, как Чехов.

Однако, вернемся к нашим застольцам. Все началось с бутылки армянского коньяка и кофе по-турецки, ну, а потом, как водится, пошло. За время застолья Хачик раз десять фотографировал нас в разных ракурсах при одном неизменном условии, чтобы в центре фотографии оказывался князь. Иногда он к нам присоединял кофева-ра Акопа-ага.

Этот высокий старик с коричневым лицом как бы иссушенным кофейными парами и долгими странствованиями по Ближнему Востоку, откуда он репатриировался, время от времени присаживался к нашему столу и заводил речь об армянах. Его горячий армянский патриотизм был трогателен и комичен. По его словам получалось, что армяне ужасный народ, потому что ничего хорошего не хотят делать для армян. Его горькие претензии к армянам, обычно, начинались с Тиграна Второго и кончались Тиграном Петросяном, по легкомыслию, с его точки зрения, прошаляпившего шахматную корону. Этот вроде бы не очень грамотный старик знает историю Армении, как биографию соседей по улице.

Сейчас он присел за наш столик, рассеянно прислушиваясь к беседе, чтобы собраться с мыслями и встать в очередную паузу.

— Теперь возьмем, — начал Акоп-ага, дождавшись ее, — футбольную команду „Арагат“. Теперешний тренер — настоящий гётфферан (задолюб). С таким тренером армяне никогда не будут чемпионами. Папазян взял и поставил хавбеком. Но Папазян когда был хавбеком? Папазян родился форвардом и умрет форвардом. А он его поставил хавбеком. Почему? Потому что пришел на поле растущий Маробян. Хорошо, да, растущего Маробяна поставь на место Папазяна, но Папазяна зачем надо хавбеком? Папазяна переведи на правый край, он одинаково бьет и с правой и с левой. А правый край поставь хавбеком или скажи: — Иди домой, Ленинанкан! — потому что пользы от него нету, где бы он ни стоял. Вот это неужели сам не мог догадаться? Я ему написал, но разве этот гётфферан меня слушает? Даже не ответил. Вот так армяне топят друг друга.

Продолжая поварчивать на тренера, Акоп-ага собрал пустые чашки из-под выпитого кофе, поставил их на поднос и ушел за стойку.

Во время застолья речь зашла о знаменитых братьях Эмухвари,

деревенских родственников князя. Дело началось с кровной мести. Три брата Эмухвари, отчаянные ребята, около семи лет, пока их всех не убили, держали в страхе кенгурийскую милицию. Это было в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Позже на политических процессах тридцать седьмого года, почему-то о них вспомнили, и они посмертно проходили на этих процессах, как английские шпионы.

— Но как они могли быть английскими шпионами, — сказал дядя Сандро, — когда эти деревенские князя даже не знали, где Англия?

Князь улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. И вот в связи с этим делом братьев Эмухвари, дядя Сандро рассказал свою историю.

— Вот вы думаете, — начал он, разглаживая усы, — что я абхазцев всегда защищаю, а эндурцев ругаю. Но это неправильно. Я, как Акопага, страдаю душой за наших. И потому я говорю — и раньше в старые времена у абхазцев было немало дурости, из-за которой народ наш страдал, и сейчас среди абхазцев не меньше дурости, только теперь она имеет другую форму.

Раньше главная дурость была — это кровная месть. Некоторые роды полностью друг друга уничтожали из-за этого. Нет, я не против кровной мести, когда надо. Это было полезно. Почему? Потому что человек, который против другого человека плохое задумал, знал, что тот человек, против которого он задумал плохое, сам на себе не кончается. За него отомстят его родственники. И это многие плохие дела останавливало, потому что знали — человек сам на себе не кончается.

Но иногда даже стыдно сказать из-за каких глупостей начиналась кровная месть. Над Чегемом в трех километрах от нашего дома жила прекрасная семья Баталба. Это было еще лет за пятьдесят до моего рождения. И семья эта дружила с родом Чичба из села Кутол. Обе семьи дружили и любили друг друга, как близкие родственники.

Каждый год, когда чичбавцы перегоняли скот на альпийские пастбища, они по дороге останавливались у своих кунаков, несколько дней там кутили, веселились, а потом дальше в горы гнали свой скот. Благодать была, такое время было.

И вот однажды остановились в доме своих кунаков, а вместе с ними был их гость. Он болел малярией, и они взяли его на альпийские луга, чтобы он там окреп и избавился от своей болезни. Тогда так было принято.

И вот они остановились у баталбовцев, тот зарезал быка и они дня два кутили, а когда собрались в дорогу, хозяин им навьючил на осла две хорошие бычьи ляжки.

И это очень не понравилось старшему из чичбавцев, он был строгий старик. Но он ничего не сказал и уехал со своими, погнав стадо в горы. Теперь, почему не понравилось? Потому что по нашим обычаям (тогда соблюдали, сейчас кто вспомнит?), когда у тебя хороший гость

и ты ему что-то зарезал и вы это зарезанное покушали, в дорогу нельзя давать от того, что уже зарезали. Надо специально нарезать что-нибудь, чтобы дать в дорогу. Так было принято.

Баталбовцы тут, конечно, сделали ошибку. Потому что отнесли к чичбавцам, как к близким людям и дали им две бычьих ляжки от быка, которого уже кушали. Но они забыли, что вместе с чичбавцами их гость, который, конечно, промолчал, но он не мог не знать, что эти две ляжки от уже зарезанного быка, которого они кушали. И чичбавцам, особенно старшему, было стыдно перед гостем за эти ляжки от быка, которого они уже кушали.

И вот они едут в горы, гонят перед собой сотни овец и коз, а старший чичбавец долго молчал, но, наконец, не выдержал.

— Эти баталбовцы, — сказал он, — оказывается, нас за людей не считают! Как нищим бросили нам остатки со своего стола! Но они об этом пожалеют!

Гость, конечно, пытался его успокоить, но тот затаил обиду. И вот так у них пошло. А баталбовцы, между прочим, ничего не подозревают, потому что в те времена сплетни не было и им никто ничего не сказал. Они, бедные, думают: хорошо встретили гостей, хорошо проводили. Какой там хорошо! Но они ничего не знали — сплетни не было тогда еще среди абхазцев.

И вот опять представители этих семей встречаются на одном пиршестве. И тут молодой баталбовец опять допускает ошибку. Когда начали петь, так получилось, что лучших певцов собрали в одном месте. И этот молодой баталбовец оказался рядом с тем старым чичбавцем, который уже считал себя оскорбленным, а теперь этот молодой баталбовец запел возле него. И это было ошибкой, конечно.

Молодой должен был спросить у старого чичбавца:

— Не беспокоит ли мое пение вас? Может, мне отойти подальше?

И тогда старый ответил бы ему, скорее всего:

— Ничего, сынок, пой. Лишь бы нас хуже пения ничего не беспокоило.

Так, обычно, говорят. Но этот молодой баталбовец ничего не сказал, потому что про старую обиду не знал, а сейчас и подвыпил и считал этого старика, как своего близкого человека.

И вот каждую ошибку отдельно еще, видно, можно было перетерпеть, а две эти ошибки вместе взорвали старика, как атомная бомба.

— Что ты мне в ухо поешь! — оказывается, крикнул старик, — да вы, баталбовцы, я вижу, совсем нас за людей не считаете!

С этими словами он выхватил кинжал и убил на месте этого юношу. Тут, конечно, крик, шум, женщины. Кое-как загасили, но разве такое надолго можно загасить? Через два дня старика убил отец этого юноши.

И вот так у них пошло. Разве это не дурость? В таких случаях или

находятся старые почтенные люди из обоих сел, и они собирают лучших представителей обоих родов и примиряют их. Или один из родов не выдерживает и как рой из улья покидает родное село и переселяется куда-нибудь подальше. Или они друг друга уничтожают.

И так получилось, что от баталбовцев остались четыре брата и мать. И в семье чичбавцев тоже остались четыре брата и мать. Но у чичбавцев младший брат был еще слабенький — тринадцать лет ему было. И больше ни у той, ни у другой семьи не было близких родственников. Только очень дальние.

И вот так они живут уже лет десять. Никто никого не трогает и многие решили, что, наконец, может быть, через стариков уладят между собой это дело.

А, между прочим, выстрел был за баталбовцами. И вдруг в то лето самый яростный, самый храбрый из баталбовцев Адамыр ушел со скотом на летние пастбища, а остальные три брата остались дома. И это могло быть признаком, что баталбовцы хотят мира, мол, вот мы самого сильного нашего парня послали на альпийские луга, мы хотим мира, мы не боимся за свой дом.

Но чичбавцы это поняли по-другому. Нервы у них не выдержали. Чем ждать выстрела от наших врагов, решили они, воспользуемся тем, что Адамыр ушел на летние пастбища, убьем этих трех братьев, потом убьем Адамыра и, наконец, спокойно заживем.

И они так и сделали. Неожиданно напали на дом баталбовцев, убили трех братьев, и угнали весь скот, который оставался дома. А один из чичбавцев, самый смелый, пошел в горы, чтобы опередить горевестника и там убить Адамыра.

Но Адамыр в это время покинул пастухов и ушел охотиться на туров. И там у ледников оставался два дня. А этот чичбавец целый день подстерегал его, не понимая, почему его нет среди остальных пастухов. К вечеру он подошел к балаганам, где жили пастухи и спросил у них, куда делся их товарищ.

И пастухи, конечно, почувствовали, что дело плохо, но что там внизу случилось, они не знали. Они сказали этому чичбавцу, что Адамыр ушел через перевал в гости к своему кунаку-черкесу и вернется только через неделю. Чичбавцу ничего не оставалось делать и он ушел вниз, в Абхазию. Ничего, думает, нас четыре брата, а он теперь один.

И вот на следующий день, в полдень, приходит горевестник и рассказывает пастухам, какое страшное горе случилось внизу. И пока пастухи думали, как подготовить Адамыра, он сам показался на горе и стал спускаться к балаганам.

С туром на плечах, сам, как тур, спускается к балаганам и издали кричит, мол, почему вы меня не встречаете. Радуетя удачной охоте, не знает, что его ждет. И вот он уже близко от балаганов, метрах в тридцати, и пастухи медленно идут навстречу, а он кричит и не понимает, по-

чему пастухи не бегут. Обычно в таких случаях положено помочь удачливому охотнику. Но они не подбегают.

И вдруг он видит среди них чегемца и чувствует, что пастухи ему не радуются. И он останавливается метрах в десяти от них и смотрит на человека, поднявшегося из Чегема, и чувствует страшное и боится этого. Наконец сбрасывает с плеч тура и спрашивает:

— Что дома?

И горевестник рассказывает ему об этом ужасе, и пастухи говорят, что один из чичбавцев приходил и спрашивал его.

— Передай, — сказал Адамыр горевестнику, — что через два дня, отомстив за братьев, приду их оплакать. А если не приду, значит и меня вместе с ними оплачьте!

И не сходя с места зарядил свое ружье, повернулся, перешагнул через убитого тура и пошел вниз. Трехдневный путь прошел за одни сутки, догнал того чичбавца, который приходил за ним. Убил его, взвалил на плечи, как тура и, пройдя еще километров десять до ближайшего дома, крикнул хозяина, чтобы он сохранил труп от осквернения до прихода родственников, и положив его у ворот, пошел дальше.

Уже к рассвету он подошел к дому чичбавцев, поджег коровник, и когда коровы стали мычать, пытаясь выбежать из огня, братья выскочили из дому. Двух старших Адамыр убил, а младшего, совсем еще мальчика, не стал убивать, а связал ему руки и сказал матери:

— Твои сыновья уничтожили моих братьев. Я последнего твоего сына не буду убивать, но он всю жизнь будем моим рабом. Властям пожалуетесь, на месте убью, а потом, что хотят пусть делают.

Итак он, отомстив за своих братьев, пригнал бедного мальчика к гробам своих братьев и оплакал их, держа одной рукой веревку, к которой был привязан мальчик. И он дал слово братьям до смерти держать рабом последнего чичбавца. Мальчика звали Хазарат.

И люди дивились этому случаю. Некоторые хвалили Адамыра, что он не убил мальчика, некоторые сердились, что он хочет сделать из него раба, а некоторые говорили, что это он сгоряча так решил, а потом остынет и отпустит мальчика.

Но он его не отпустил и около двадцати лет держал в сарае на цепи, как раба. Нашим чегемским старикам это очень не понравилось, но они ничего не могли с ним поделать. Такой он был яростный, одичавший человек. Если бы он жил в самом Чегеме, они бы его, конечно, изгнали из села, но он жил в стороне и никому не подчинялся. Они только ему передали, чтобы он не появлялся в Чегеме.

А власти в те времена вообще на это мало внимания обращали. Если в долинном селе кровник убивал врага и не уходил в лес, его арестовывали. Если уходил в лес, его даже не искали. Но если кто-то убивал полицейского и писаря, они во что бы то ни стало старались найти убийцу и наказать его. А тут еще бедная мать Хазарата боялась, что он

убьет его и никому не жаловалась.

Адамыр так и не женился, потому что абхазцы стыдились отдавать за него своих дочерей, хотя он несколько раз сватался.

— А как отдашь за него дочь, — рассуждали они, — приедешь в гости к дочери, а там раб. А зачем мне это?

И так они жили много лет, а потом умерла мать Адамыра, и они остались вдвоем — Адамыр и его раб Хазарат.

Несколько раз в году бедная мать Хазарата посещала своего сына, приносила ему хачапури, жареных кур, вино. Все это Адамыр ей разрешал. Еще он ей разрешал один раз в году стричь ему волосы и бороду и три раза в году разрешал ей купать его. И так, бывало, мать придет к сыну, дня два посидит возле него, поплачет и уедет.

И вот, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я решил освободить Хазарата. Вообще, когда человек молодой, ему всегда хочется освободить раба. Несмотря на молодость я был уже тогда очень хитрый. Но как освободить! Адамыр больше чем на один день никуда не уезжал. А когда уезжал, собаки никого близко к дому не подпускали.

И вот я потихоньку от домашних сошелся с Адамыром. Если бы отец узнал об этом, он бы меня выгнал из дому. Он Адамыра вообще за человека не считал. Наши абхазцы знали, что есть рабство, и иногда турки нападали и уводили людей в рабство, но чтобы абхазец сам у себя держал раба, этого не знали.

И вот я постепенно сошелся с Адамыром, делая вид, что интересуюсь охотой, а про раба не спрашивал. Охотник он был редкий, что такое усталость и страх — не понимал.

И вот уже мы с ним несколько раз были на охоте, уже собаки ко мне привыкли и он тоже привык, потому что, хотя и свирепый человек, но скучно все время одному.

И однажды перед охотой он мне говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

— Хорошо, — говорю, как будто не интересуюсь Хазаратом.

И он мне дает котел молока и полбуханки чурека.

— А ложку, — говорю, — не надо?

— Какую ложку, — кричит, — слей молоко ему в корыто и брось чурек!

И вот я, наконец, вхожу в этот сарай. Вижу в углу на кукурузной соломе сидит человек, одетый в лохмотья, с бородой до пояса, и глаза сверкают, как два угля. Страшно. Рядом с ним вижу длинное корыто, а с этой стороны под корыто камень подложен. Значит, наклонено в его сторону. Из этого я понял, что Адамыр тоже к нему слишком близко не подходит. Я уже слышал, что Хазарат однажды, когда Адамыр слишком близко к нему подошел, напал на него, но Адамыр успел вытащить нож и ударить. Рана на Хазарате зажила быстро, как на собаке, но с тех

пор Адамыр стал осторожнее. Об этом он сам людям рассказывал.

Я сливаю Хазарату молоко в корыто и говорю ему:

— Лови чурек!

Я так говорю ему, потому что неприятно человеку на землю хлеб бросать, а подойти, конечно, боюсь.

Бросаю. Он хап! Поймал на лету, и тут я услышал, как загремела цепь. К ноге его была привязана толстая цепь.

Он начал кушать чурек и иногда, наклоняясь к корыту, хлебать молоко. Это было ужасно видеть, и я окончательно решил его освободить. Особенно ужасно было видеть, как он хлебает молоко, жует чурек и иногда смотрит на меня горящими глазами, а стыда никакого не чувствует, что при мне все это происходит. Привык. Человек ко всему привыкает.

И так все это длится несколько месяцев, я все присматриваюсь, чтобы устроить побег Хазарата. И боюсь, чтобы Адамыр про это не узнал, и боюсь, чтобы мои домашние не узнали, что я хожу к Адамыру.

И теперь уже Адамыр ко мне привык и каждый раз перед охотой говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

И я его кормлю. Он ему кушать давал то же самое, что сам ел. Только в ужасном виде. Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого — бросал ему кусок сырого мяса. Возле него лежало несколько кусков каменной соли, какую скоту дают у нас.

Сейчас, как я слышал, некоторые дураки из образованных кушают мясо в сыром виде. Думают полезно. Но люди тысячами варили и жарили мясо, неужели они бы не догадались кушать его в сыром виде, если б это было полезно?

Теперь, что делал Хазарат? Он делал только два дела. Он молот кукурузу, руками крутил жернова. Они рядом с ним стояли. От этого у него были могучие руки. И еще он плел корзины. Прутья ему сам Адамыр приносил. Эти корзины Адамыр продавал в Анастасовке грекам, потому что чегемцы у него ничего не брали.

За несколько месяцев он ко мне привык, и хотя глаза у него всегда сверкали, как угли, я знал, что он меня не тронет, и близко к нему подходил. Он с ума не сошел и разговаривал как человек.

И однажды я встретил его бедную мать и тогда еще больше захотел его освободить. Она постелила полотенце на кукурузной соломе, положила на нее курятину, хачапури, поставила бутылку с вином и два стакана.

Мы с ним ели вместе, хотя мне, честно скажу, было это неприятно. А как может быть приятно кушать, когда рядом яма, где он справлял свои телесные дела. Правда, рядом с ямой деревянная лопаточка, которой он все там засыпает. Но все же неприятно. Но я ради его матери сел с ним кушать. А бедная его мать, пока я рядом с ним сидел,

все время гладила меня по спине и сладким голосом приговаривала:

— Приходи почаще, сынок, к моему Хазарату, раз уж мы попали в такую беду. Ему же, бедняжке, скучно здесь... Приходи почаще, сынок...

А в это время Адамыр в другом конце сарая стругал ручку для мотыги. Оказывается, он услышал ее слова.

— А мне тоже скучно без моих братьев, — сказал он, не глядя на нас и продолжая ножом стругать ручку для мотыги.

— Эх, судьба, — вздохнула старушка, услышав Адамыра. И я вдруг почувствовал, что мне всех жалко. В молодости это бывает. И Хазарата жалко и Адамыра жалко и больше всех жалко эту старушку.

Особенно мне ее жалко стало, когда я увидел в тот день, что она стирает и латает белье Адамыру. Она ему старалась угодить, чтобы он смягчился к ее сыну. Но он уже не мог ни в чем измениться.

Однажды на охоте Адамыр мне сказал:

— Некоторые думают, что я держу раба для радости. Но раба держать нелегко, и радости от него нет. Иногда ночью просыпаюсь от страха, что он сбежал, хотя умом знаю, что он сбежать не мог. За одну ночь о жернов нельзя перетереть цепь. Я уже проверил. А днем я всегда замечу, если он ночью цепь перетирал. Да если и перетрет, куда убежит? Сарай заперт. А если выйдет из сарая, собаки разорвут.

И все-таки не выдерживаю. Беру свечу, открываю дверь в сарае и смотрю. Спит. И сколько раз я его ни проверял, никогда не просыпается. Так крепко спит. А я просыпаюсь каждую ночь. Так кому хуже — мне или ему?

— Тогда отпусти его, — говорю, — и тебе полегчает.

— Нет, — говорит, — я перед гробом братьев дал слово. Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.

И вот, значит, я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На дверях большой замок, а ключ всегда в кармане у Адамыра. Но он изредка уезжал на день или на ночь. И я так решил: сделаю подкоп, напильником перепилю ему цепь, выведу его, чтобы собаки не разорвали, и отпущу на волю. А потом, когда Адамыр вернется, если будет бушевать, я ему подскажу, что, наверное, мать Хазарата принесла ему напильник в хачапури, а подкоп он сам устроил своей деревянной лопатой и от собак как-то отбил. Я, конечно, знал, что он мать Хазарата не тронет.

Вот так я решил, и однажды Адамар мне сам на охоте говорит:

— Слушай, Сандро, приходи ко мне завтра вечером и покорми собак. Мне надо завтра ехать в Атары, я приеду послезавтра утром.

— Хорошо, — говорю.

И вот на следующий день еле дождался вечера. Наши все поужинали и легли спать. Тогда я тихонько встал, взял из кухни фонарь, напильник и пошел к дому Адамыра.

Иду, а самому страшно. Боюсь Адамыра. Боюсь — может быть, он что-то заподозрил о моих планах, притаился где-то и ждет. И я решил до того, как начинать подкоп, обшарить его дом. А если он дома и спросит, что я так поздно пришел, скажу — вспомнил, что собаки некормлены.

Собаки за полкилометра, почуяв человека, с лаем выскочили навстречу, но, узнав меня, перестали лаять. Я вошел во двор Адамыра, огляделся как следует, потом зашел на кухню, оттуда в кладовку, потом обшарил все комнаты, но его в доме не было.

Тогда я прошел на скотный двор и увидел, что там лежат его три коровы. Вошел в коровник, повыше поднял фонарь и увидел, что там пусто. Тогда я вернулся на кухню, достал чурек, которым собирался кормить собак, но не стал их кормить, а набил кусками чурека оба кармана. Я это сделал для того, чтобы передать чурек Хазарату. Чтобы, когда мы выйдем из сарая и собаки начнут нападать, он им кидал чурек и этим немного собак успокаивал.

Потом я снова вошел в кладовку, снял со стены корзину, которой собирают виноград, вышел на веранду с корзиной и фонарем и, подняв лопату Адамыра, пошел к сараю, где сидел Хазарат.

Теперь — для чего корзина? Виноградная корзина, она узкая и длинная, для того, чтобы потом, когда прокопаю ход, всю землю перетаскать в сарай.

Если землю не перетаскать в сарай, Адамыр догадается, что Хазарату кто-то помогал снаружи. И через это он может меня убить.

Ставлю фонарь на землю и начинаю копать точно в том месте, где была привязана цепь с той стороны сарая. Копаю, копаю и удивляюсь, что Хазарат не просыпается. В самом деле, думаю, крепко спит. Наконец, все же проснулся.

— Кто ты? — спрашивает, и слышу, как зашевелился в кукурузной соломе.

— Это я, Сандро, — говорю.

— Что надо?

— Прокопаю, — говорю, — тогда узнаешь.

И вот через час я раздвинул рукой кукурузную солому, осторожно поставил фонарь и сам вылез в сарай.

Хазарат сидит и глаза, вижу, горят, как у совы.

— Вот, — говорю, напильник. — Мы перепилим цепь и ты уйдешь на волю.

— Нет, — мотает он головой, — Адамыр со своими собаками меня все равно выследит.

— Не выследит, — говорю, — ты за ночь уйдешь в другое село, а там он и след потеряет.

— Нет, — говорит, — я отвык ходить. Далеко не смогу уйти. А близко он со своими собаками меня все равно поймает.

— Не понимает, — говорю, — а если ты боишься идти один, я пойду с тобой до Джгерды и спрячу тебя там у одних наших родственников. Потом я вернусь к себе домой, а ты пойдешь, куда захочешь.

— Нет, — говорит, — я так не хочу.

— Тогда, что делать? — говорю.

Он думает, думает, а глаза горят — страшно.

— Если хочешь мне помочь, — наконец, говорит он, — принеси метра два цепь. Мы привяжем ее к этой цепи, и больше мне ничего не надо.

— Зачем, — говорю, — тебе это?

— Я немножко буду ходить по ночам и привыкну. А потом ты мне поможешь убежать.

— Но ведь он проверяет твою цепь, — говорю, — он сам мне рассказывал.

— Нет, — говорит, — первые пятнадцать лет проверял, а теперь уже не проверяет.

Сколько я его ни уговаривал бежать сейчас — не согласился. И тогда я решил сделать, что он просит.

— Топор, — говорит, — принеси, чтобы сдвинуть кольца.

И вот я среди ночи почти бегу домой, залезаю в наш сарай, достаю из старой давилни, где лежит всякий хлам, цепь, примерно такую, как он просил. Возвращаюсь назад, беру топор Адамыра на кухонной веранде и вползаю в сарай. Пока я ходил, он перепилил напильником свою цепь и пропилил дырки в кольцах с обеих сторон. Я даже удивился, как он быстро все успел. У него были могучие руки от ручной мельницы.

Он взял мою цепь, вставил ее с обеих сторон в кольца, а потом, поставив эти кольца на жернов, обухом топора сдвинул их концы, чтобы ничего не видно было.

— Больше, — говорит, — ничего не надо. Иди! Когда ноги мои окрепнут, я тебе дам знать.

— Может, — говорю, — оставить тебе напильник?

— Нет, — говорит, — больше ничего не надо! Все! Все! Иди! Только с той стороны как следует землю затопчи, чтобы хозяин ничего не заметил.

И вот я, взяв топор и фонарь, осторожно вылезаю наверх. И потом быстро, быстро заваливаю землю в дыру, а потом как следует зашаптываю ее, чтобы ничего не было заметно. Собаки крутятся возле меня, но, думаю, слава богу, собаки говорить не умеют. И тут я вспомнил, что у меня в карманах чурек и разбрасываю его собакам.

В последний раз с фонарем как следует осмотрев место, где копал, понял, что ничего не заметно, стряхнул с лопаты всю землю и отнес ее вместе с топором и корзиной назад. Все положил туда, где лежало и так, как лежало. Потушил фонарь и бегом домой. Дома тоже, слава богу, никто ничего не заметил.

И вот проходит время, а я пока сам побаиваюсь идти к Адамыру. Прошло дней пятнадцать-двадцать. Однажды брат Махаз, он в тот день с козами проходил недалеко от усадьбы Адамыра, говорит:

— Сегодня весь день выли собаки Адамыра.

— Это и раньше бывало, — говорят наши, — он иногда уходит на охоту с одной собакой, а другие скучают.

И так об этом забыли. А через неделю слышим женщина кричит откуда-то сверху и крик этот приближается к нашему дому. Все, кто был дома вышли, но никто ничего не может понять.

Крик женщины означает горе. Но он идет прямо с горы над верхнечегемской дорогой, а там никто не живет. Мы с отцом и двумя братьями, Кязымом и Махазом, быстро поднимаемся навстречу голо-су женщины. Минут через пятнадцать встречаем мать Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам, ничего не видит. Смотрит на нас, но ничего не может сказать, только рукой показывает в сторону дома Адамыра.

Мы бежим туда, я не знаю, что думать, но все-таки поглядываю на Кязыма, потому что он прихватил с собой винтовку. Вбегаем во двор, а собак почему-то не видно и не слышно.

Я первым открыл сарай. Дверь была просто прикрыта. И вот что мы видим. Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он испытал перед смертью. Вся шея в синих пятнах и голова, как у мертвой курицы повернута.

А Хазарат лежит на кукурузной соломе, руки сложил на груди, а лицо спокойное, спокойное, как у святого. Он был до того худой, что отец сдернул цепь с его ноги, она уже не держалась. И тогда я вдруг вспомнил слова Адамыра:

— Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.

Так и получилось, как он говорил.

— Видно, — сказал мой отец, — Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазарату. А тот кинулся на него и задушил. А потом сам умер от голода, потому что некому было дать ему поесть.

Только я один знал, почему это случилось. Но, конечно, никому ничего не сказал. Между прочим, отец мой, царство ему небесное, был настоящий хозяин. Таких сейчас нет вообще. Несмотря на этот ужас, который мы увидели, он узнал свою цепь! Вижу, вдруг приподнял одной рукой и смотрит, смотрит на свет — там было узкое окно без стекла — ничего не может понять. Он хочет повыше поднять цепь, чтобы разглядеть как следует, а цепь привязана, не идет. А он сердится, и мне смешно, хотя страшное рядом. Потом отбросил и пожал плечами.

И тут неожиданно снаружи раздалась выстрелы.

Выбегаем и видим — Кязым стоит возле скотного двора и стре-

ляет в собак Адамыра. Одну за другой убил шесть собак. Оказывается, собаки, одурев от голода, напали в загоне на собственную корову, разодрали ее и съели. А потом убили еще двух коров, хотя уже скушать их не могли. Вот так одна дикость дает другую дикость, а эта дикость дает третью дикость.

Бедную мать Хазарата сопроводили в ее село вместе с телом сына. Несчастного Адамыра тоже предали земле рядом с его братьями, и на этом кончился его род, загдох окончательно когда-то большой, хлебосольный дом. А потом и дом вместе с сараем постепенно растащили какие-то люди, скорее всего эндурцы.

И вот с тех пор я много думал про Хазарата. Я думал, почему он в ту ночь не ушел со мной? И я понял в чем дело. Он боялся, что если уйдет, то не сумеет отомстить. А меня он обманул, что разучился ходить. Он ходить мог, но зная, что Адамыр всегда вооруженный и собаки могут пойти по следу, не хотел рисковать.

Он хотел удлинить цепь и неожиданно прыгнуть на Адамыра и задушить его своими могучими руками, а больше он ни о чем не думал. Он не думал, что умрет с голоду, не думал, что сам освободиться не сможет, он только думал об одном — отомстить за свое унижение. И тогда я понял одно — раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно — отомстить, затоптать того, кто его топтал. Вот так, дорогие мои, раб хочет только отомстить, а некоторые глупые люди думают, что он хочет свободу, и через эту ошибку многое получалось, — закончил дядя Сандро свою сентенцию и разгладил усы с далеко идущим намеком.

Кемал расхохотался, а князь многозначительно кивнул головой в мою сторону, дескать, учишься мудрости у дяди Сандро.

— А то, что этих бедных князей Эмухвари обвинили, как английских шпионов, — добавил дядя Сандро, — это просто глупость. Они даже не знали, что есть такая страна Англия. А я был в Англии в тридцатых годах вместе с ансамблем Панцулая. Нас возили по стране, и я заметил, что Англия неплохая страна. Прекрасные пастбища я там заметил, но овец почему-то не было. Но для коз Англия не годится. Коза любит заросли колючек, кустарники любит, а овца любит чистые пастбища. Не пойму, почему они овец не разводят.

— Разводят, — сказал я, чтобы успокоить дядю Сандро.

— А-а-а, — кивнул дядя Сандро удовлетворенно, — значит, послушались меня. Лет двадцать тому назад сюда приезжал английский писатель по имени Пристли. Ты слышал про такого?

— Да, — сказал я.

— Читал?

— Да, — сказал я.

— Ну как?

— Да так, дядя Сандро, — сказал я, — ничего особенного.

Дядя Сандро засмеялся не совсем приятным для меня смехом.

— Я уже заметил, — сказал дядя Сандро, — вот эти пишущие люди интересно устроены, никогда про другого ничего хорошего не скажут. А вот я, когда танцевал в ансамбле, всегда признавал, что Пата Патарая первый танцор, хотя на самом деле я уже лучше него танцевал... Но дело не в том.

Этому Пристли тогда у нас прекрасную встречу устроили. Показали ему лучший санаторий, показали ему самого бодрого долгожителя, самый богатый колхоз и меня, конечно, с ним познакомили.

Я был тамадой за столом. И он сидел рядом со мной, вернее, между нами сидела переводчица. И мы с ним разговорились. Я ему тогда сказал, что был в Англии и видел там хорошие пастбища, но овец не видел. И я ему подсказал, чтобы английские фермеры овец разводили.

— А он что? — спросил я.

— А он, — отвечал дядя Сандро, — сказал: — Хорошо, я им передам. Значит, выходит, передал. И еще он вот что сказал: — Фермерам, — говорит, — я передам про овец. Но у нас в парламенте и так слишком много овец сидит.

Значит, критикует свое правительство. Тогда я понял, почему его так хорошо у нас встречают. А теперь я у тебя спрашиваю: — Ты, находясь в чужой стране, хотя бы про обком можешь сказать, что там козы сидят? При этом учти, что козы умнее овец.

— Нет, — сказал я.

— Э-э-э, — сказал дядя Сандро.

Князь улыбнулся, а Кемал расхохотался. Хачик отскочил от стола и с колена запечатлел эту картину.

Мы выпили по рюмке. Акоп-ага принес свежий кофе и когда снял чашечки с подноса и приподнял его, поднос сверкнул на солнце, как щит. Акоп-ага присел за стол и, поставив поднос на колени, придерживал его руками и время от времени, постукивая по нему ногтем, прислушивался к тихому звону.

Кемал обычно посещал другие злачные места и поэтому плохо знал Акоп-ага. Мне захотелось, чтобы он послушал ставшую уже классической в местных кругах, его новеллу о Тигранкерте.

— Акоп-ага, — сказал я, — я долго думал, почему Тигран Второй, построив великий город Тигранкерт, дал его сжечь и разграбить римским варварам? Неужели он его не мог защитить?

И пока я у него спрашивал, Акоп-ага горестно кивал головой, давая знать, что такой вопрос не может не возникнуть в любой мало-мальски здоровой голове.

— О, Тигранкерт, — вздохнул Акоп-ага, — все пиль и пепель... Это был самый красивый город Востокам. И там били фонтаны большие, как деревьям. И там били деревьям, на ветках которых сидела

персидская птица под именем павлинка. И там по улицам ходили оленям, которые видя мужчин, вот так опускали глаза, как настоящие армянские девушкам. А зачем? Все пыль и пепель.

Может, Тигранкерт бил лучи, чем Рим и Вавилон, но мы теперь не узнаем, потому что фотокарточкам тогда не было. Это случилось в шестьдесят девятом году до нашей эры и если б Хачик тогда жил он бил би безработным или носильщиком... Фотографиям тогда вообще не знали что такой.

Но разве дело в Хачике? Нет, дело в Тигране Втором. Когда этот римский гетферан Лукулл окружил Тигранкерт, Тигран взял почти все войска и ушел из города. Тигран-джан, зачем?!

Это бил великая ошибка великого царя. Тигранкерт имел крепкие стен, Тигранкерт имел прекрасная вода, такой соук-су, что стакан залпом никто не мог выпить, и Тигранкерт имел запас продуктам на три года и три месяца! А зачем? Все пыль и пепель!

Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гетферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пыль и пепель.

А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стыдно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщин и детей? да? Нет! Вивиз свой гарем, своих плядеи, вот что вивез! Это даже стыдно для великого царя!

О, Тигран, зачем ты построил Тигранкерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гефтеранам?! Все пыль и пепель!

Пока он излагал нам историю гибели Тигранкерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акоп-ага.

— Сейчас проси! — сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранкерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями, застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.

— Два кофе можно? — спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.

— Можно, — сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки, — теперь все можно.

Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате. Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалем.

— Я думаю, — сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая

на дядю Сандро своими темными глазами, — твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.

Помню, в сорок четвертом году наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.

И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивые, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратненького двухэтажного домика, потому что возле него росла рябина вся в красных кистях.

И вот, как сейчас вижу его, Алеша с хрустом нагибает эту рябинку, не выдержала его русская душа, и сам он весь хрустящий от ремней и молодости, такой он перед моими глазами, обламывает две ветки и отпускает деревцо.

Одну ветку протягивает мне, и мы стоим с этими ветками, поклевываем рябину и рассуждаем о том, где же располагались батраки, если кругом помещицьи дома.

И вдруг открывается дверь в этом доме, и оттуда выходит старик и зовет нас:

— Русс, заходить, русс, заходить!

Вообще-то нас предупреждали, чтобы мы насчет партизан были на чеку, но мы ни хрена не верили в немецких партизан. Да и откуда взяться партизанам в стране, где каждое дерево ухожено, как невеста.

— Пошли?

— Пошли.

И вот вводит нас старик в этот дом, мы поднимаемся наверх и входим в комнату. Смотрю, в комнате две женщины — одна совсем девушка лет восемнадцати, а другая явно юнгфрау лет двадцати пяти. Я сразу глаз положил на ту, которая постарше, она мне понравилась. Но для порядка говорю своему другу, я же его знаю, как облупленного:

— Выбери, какая тебе нравится?

— Молоденькая, чур, моя! — говорит.

— Идет!

Вижу, и они обрадовались нам, оживились.

— Кофе, кофе, — говорит юнгфрау.

— Я, я, — говорю.

По-немецки значит: да.

И вот она нам приготовила кофе, надо сказать, кофе был хреновейший, вроде из дубовых опилок сделанный. Но что нам кофе? Молодые, очаровательные девушки — вижу, на все готовы. И старик, конечно, не против. Они боялись наших и заручиться дружбой двух офицеров значило обезопасить себя от всех остальных.

Одним словом, посидели так, и я говорю:

— Абенд. Консервы. Шнапс. Брод. Шоколад.

— О! — загорелись глаза у обоих, — данке, данке.

Они, конечно, поголадывали. И вот мы вечером приходим, приносим с собой спирт, консервы, колбасу, хлеб, шоколад. Сидим, ужинаем, пьем. А старик, оказывается, в Первую Мировую войну был у нас в плену и немного говорит по-русски. Но лучше бы он совсем не говорил. Путается, хочет все объяснить, а на хрена нам его объяснения? И все доказывает, что он антифашист. Они теперь все антифашистами сделались, так что непонятно, с кем мы воевали столько времени.

То ли дело эти молодые немочки, все с полуслова понимают... Мы с Алешей выпили как следует, наши барышни тоже подвыпили, и мы пошли танцевать под патефон. На каждой пластинке написано „Нур фюр дойч“, — значит, только для немцев. И я, когда ставлю пластинку, нарочно спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Найн! Найн! — смеются обе.

Ну, раз найн — пошли танцевать. Наконец старик опьянел и уже стал молотить такую околесицу, что его и племянницы перестали понимать. Он был их дядей. А нам он еще раньше надоел. Так что мы обрадовались, когда моя юнгфрау повела его вниз укладывать спать.

Теперь мы одни. Попиваем, танцуем, одним словом, кейфуем. Ну я так слегка прижимаю мою немочку и спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Шельма, шельма, — смеется она, — русиш шельма!

— Найн, — говорю, — кавказиш шельма.

— О, щонсте Кауказ! — говорит.

Мы с Алешей остались на ночь в двух верхних комнатах. Так начался наш роман, который длился около двух месяцев с перерывами, конечно, на боевые вылеты. Пару раз ребята из аэродромной службы сунулись было к нам, но, быстро оценив обстановку, ретировались. Свои ребята сразу все усекли.

И вот мы приходим однажды к нашим девушкам. Мою звали Катрин, я ее Катей называл, а молоденькую звали Гретой...

Тут дядя Сандро перебил Кемала.

— Ты совсем русским стал, — сказал он, — зачем ты называешь имя своей женщины при мне?

— А что? — спросил Кемал.

— Вот до чего ты глупый, — сказал дядя Сандро, — ты же знаешь, что это имя моей жены. Надо было тебе изменить его, раз уж ты решил рассказывать при мне.

— Ну, ладно, — захохотал Кемал, — я ее больше не буду называть.

— Дурачок, — сказал дядя Сандро, — раз уж назвал теперь некуда деться, рассказывай дальше.

— Так вот, — продолжал Кемал, поглядывая на дядю Сандро все еще смеющимися глазами, — однажды мы, как обычно, заночевали у наших подружек. Часа в три ночи просыпаюсь и выхожу из дома по нужде.

Вдруг слышу, подкатывает мотоцикл, останавливается и двое, я их различаю по шагам, поднимаются в дом.

Вот, черт, думаю, попались, как идиоты! У меня пистолет под подушкой, а сам я стою за домом в трусах, майке и тапках. Трудно представить более глупую ситуацию. Да еще слегка под балдой. На ночь спирту тяпнули, конечно. Вот, думаю, смеялись про себя, когда нам говорили про бдительность и партизанов, и на тебе! Напоролись! Неужели наши подружки оказались предательницами? Нет, не могу поверить! И мне нравится моя... как там ее ни называй...

— Называй, называй, чего уж прятаться! — вставил дядя Сандро.

— Да, — продолжал Кемал, — и мне нравится моя Катя, и я, чувствую, ей нравлюсь, а эти вообще без ума друг от друга. Значит, нас этот антифашист предал? И товарища бросить не могу и буквально голым! ха! ха! не хочется попадаться немцам в руки.

Ну, ладно, думаю, была не была! Высунулся на улицу. Никого. Стоит немецкий мотоцикл с коляской. Подошел к двери, слышу раздаются голоса, но ничего понять невозможно.

Единственно, что я понял — голоса доносятся с той стороны, где спит мой товарищ. И я решил подняться и проскочить в свою комнату, пока они у Алексея. Главное — добраться до пистолетов. Но, конечно, я понимал: если нас девушки предали — нам хана, потому что в этом случае моя первым делом должна была отдать им пистолет. Но делать нечего, тихо открываю дверь и быстро поднимаюсь по лестнице.

И вдруг слышу, из комнаты Алексея доносится русская речь! Сразу отпустило! Стою на лестнице и с удовольствием слушаю русскую речь, не понимая, о чем там говорят. И только примерно через полминуты очухался, начинаю улавливать интонацию. Слышу очень резкий голос доносится. Ага, думаю, патруль. Ну, нас патрулями не испугаешь. Вхожу в комнату. Моя Катя, вижу, бледная, в ночной рубашке стоит посреди комнаты и тихо говорит:

— Русиш командирен, русиш командирен...

Тогда я открываю дверь и сильным голосом кричу через лестничную площадку:

— Что там случилось, Алексей?!

— Да вы тут не один! — слышу голос, и потом распахивается дверь, и на площадке появляется какой-то майор, а за ним солдат.

— Безобразие! — говорит майор и оборачивается к Алексею, а тот уже одетый стоит в комнате, — почему вы не сказали, что вы здесь не один?

Бедняга что-то залепетал. Видно, он решил хотя бы прикрыть меня, если уж сам попался.

— Потрудитесь одеться! — приказал майор.

А я вижу, этот майор штабная крыса. Мы, фронтовики, с одного взгляда узнавали человека, который живого боя не видел, хоть увещивай его орденами до пупа.

И я вижу, мой Алексей, храбрейший летун, четырежды раненый, дважды посадивший горящий самолет, дрожит перед этим дерьмом.

Вы ведь знаете, меня из себя трудно вывести, но тут я психанул.

— Товарищ майор, — говорю стальным голосом, — прошу вас немедленно покинуть помещение!

Вижу, растерялся, но форс держит. Оглядывается на Алексея, понимает, что он старший лейтенант, а по моему виду ни хрена не поймешь.

— Ваше звание? — спрашивает.

Я поворачиваюсь, подхожу к кровати, вытаскиваю из-под подушки пистолет и снова к дверям.

— Вот мое звание! — говорю.

— Вы бросьте эти замашки, — отвечает он, — сейчас не сорок первый год!

— Конечно, — говорю, — благодаря вашей штабной заднице сейчас не сорок первый год!

— Я вынужден буду доложить обо всем в вашу часть, — говорит и спускается вниз по лестнице. Солдат за ним.

— Докладывайте, — говорю, — а что вы еще умеете!

Они вышли. Мы молчим. Мотоцикл затарахтел и затих.

— Ты, — говорит Алексей, — с ним очень грубо обошелся. Теперь нас затаскают.

— Не бойся, — говорю, — нас с тобой достаточно хорошо знает наше начальство. Подумаешь, у немочек заночевали...

— Но ты же угрожал ему пистолетом, — говорит он, — ты понимаешь, куда он это может повернуть.

— А мы скажем, что он врет, — отвечаю я, — скажем, что он сам хотел остаться с бабами и от этого весь сыр-бор. Чего это он в три часа ночи шныряет на мотоцикле?

— Конечно, — говорит Алексей, — теперь надо так держаться. Но ты напрасно нахальничал с ним.

Я-то понимаю, что ему теперь неловко перед своей Греточкой. Слов, конечно, они не понимали, но все ясно было и без слов: я выгнал майора, который заставил его одеться.

И я, чтобы смягчить обстановку, разливаю спирт, и мы садимся за стол. Сестрицы расщебетались, а Греточка поглядывает на меня блестящими глазами и темная прядка то и дело падает на лоб. Хороша была, чертовка!

Одним словом, выпили немного и разошлись по комнатам.

— Майор гестапо? — спрашивает у меня Катя.

— Найн, найн, — говорю.

Этого еще не хватало. Но вижу — не верит.

Через день у нас боевой вылет. Я благополучно приземлился, поужинал в столовке со своим экипажем, а потом подхожу к Алексею, он почему-то сидит один и говорю:

— Отдохнем и со свежими силами завтра к нашим девочкам.

Вижу, замылся.

— Знаешь, Кемал, — говорит, — надо кончать с этим.

— Почему кончать? — спрашиваю.

— Затаскают. Потом костей не соберешь.

— Чего ты боишься, — говорю, — если он накапал на нас, уже ничего не изменишь.

— Нет, — говорит, — все. Я — пас.

— Ну, как хочешь, — говорю, — а я пойду. А что сказать, если Грета спросит о тебе?

— Что хочешь, то и говори, — отвечает и одним махом, как водку, выпивает свой компот и уходит к себе.

Он всегда с излишней серьезностью относился к начальству. Бывало, выструнится и с таким видом выслушивает наставления, как будто от них зависит, гробанется он или нет. Я часто вышучивал его за это.

— Ты дикарь, — смеялся он в ответ, — а мы, русские, поджилками чуюм, что такое начальство.

Ну что ж, вечером являюсь к своим немочкам. По дороге думаю, что сказать им? Ладно, решаю, скажу — заболел. Может, одумается.

Прихожу. Моя ко мне. А Греточка так и застыла, и только темная прядка, падавшая на глаза как будто еще сильнее потемнела.

— Алеша?! — выдохнула она, наконец.

— Кранк, — говорю, — Алеша кранк.

Больной, значит.

— Кранк одер тот? — строго спрашивает она и пытливо смотрит мне в глаза. Думает, убит, а я боюсь ей сказать.

— Найн, найн, — говорю, — грипп.

— О, — просияла она, — дас ист нихте.

Ну, мы опять посидели, выпили, закусили, потанцевали. Моя Ка-

тя несколько раз подмигивала мне, чтобы я танцевал с ее сестрой. Я танцую и вижу, она то гаснет, то вспыхивает улыбкой. Стыдно ей, что она так скучает. Ясное дело, девушка втрескалась в него по уши.

Моя Катя, как только мы остались одни, посмотрела на меня своими глубокими синими глазками и спрашивает:

— Майор?

Ну, как ты ей соврешь, когда в ее умных глазках вся правда. Я пожал плечами.

— Бедная Грета, — говорит она, забыл сейчас, как по-немецки.

— Ер либт, — говорю, — ер либт Грета!

— Я, я, — говорит она и что-то добавляет, из чего можно понять, что она любит, но страх сильнее.

— Майор папир? — спрашивает она и показывает рукой, мол, написал донос. Немцы хорошо все понимают.

Я опять пожал плечами, а потом показываю на дверь, говорю:

— Ер ист кранк... Он больной, значит.

— Да говори ты прямо по-русски! — перебил его дядя Сандро, — что ты обкаркал нас своими кар! кар! кар!

— Так я лучше вспоминаю, — сказал Кемал, поглядывая на дядю Сандро своими невозмутимыми воловьими глазами.

— Ну ладно, говори, — сказал дядя Сандро, как бы спохватившись, что если Кемал сейчас замолкнет, слишком много горячего уйдет, чтобы его снова раскопечгарить.

— Да, м-м-м, — замыкал было Кемал, но довольно быстро нашел колею рассказа и двинулся дальше.

— Одним словом, я еще надеюсь, что он одумается. На следующий день встречаю его и не узнаю. За ночь почернел.

— Что с тобой? — говорю.

— Ничего, — говорит, — просто не спал. Как Грета?

— Ждет тебя, — говорю, — я сказал, что ты болен.

— Она поверила?

— Она да, — говорю, — но сестра догадывается.

— Лучше сразу порвать, — говорит, — все равно я жениться не могу, а чего резину тянуть.

— Глупо, — говорю, — никто и не ждет, что ты женишься. Но пока мы здесь, пока мы живы, почему бы не встречаться?

— Ты меня не поймешь, — говорит, — для тебя это обычное фронтовое блядство, а я первый раз полюбил.

Тут я разозлился.

— Мандраж, — говорю, — надо называть своим именем, а нечего выпендриваться.

И так мы немного охладели друг к другу. Я еще пару раз побывал у наших подружек и продолжаю врать Греточке, но чувствую, не верит и вся истаяла. Жалко ее, и нам с Катей это мешает.

Мне и его жалко. Он с тех пор замкнулся, так и ходит весь чер- ный. А между тем, нас никуда не тянут. И я думаю: майор оказался лучше, чем мы ожидали. Через пару дней подхожу к Алексею.

— Слушай, — говорю, — ты видишь, майор оказался лучше, чем мы думали. Раз до сих пор не капнул, значит, пронесло. Я же вижу, ты не в своей тарелке. Ты же гробанешься с таким настроением!

— Ну и что, — говорит, — неужто ребята, которых мы потеряли, были хуже, чем мы с тобой?

Ну, думаю, вон куда поплыл. Но виду не показываю. Мы, фрон- товики, такие разговоры не любили. Если летчик начинает грустить и клевать носом — того и жди: заштопорит.

— Конечно, нет, — говорю, — но война кончается. Глупо погиб- нуть по своей вине.

Вдруг он сморщился, как от невыносимой боли, и говорит:

— Кстати, можешь больше не врать про мою болезнь. По-моему, я ее видел сегодня в поселке, и она меня видела.

— Хватит ерундить, — говорю, — пошли сегодня вечером, она же усохла вся, как стебелек.

— Нет, — говорит, — я не пойду.

Теперь уже самолюбие и всякое такое мешает. Он очень гордый парень был и в воздухе никому спуска не давал, но и мандраж этот перед начальством у него был. Это типично русская болезнь, хотя, конечно, не только русские ею болеют.

И вот я в тот вечер опять прихожу к девушкам со всякой едой и выпивкой. Подымаюсь наверх и не обращаю внимания на то, что нет большого зеркала, стоявшего в передней. Захожу в комнату, где мы обычно веселились, и вижу, обе сестрички бросаются ко мне. Но моя Катя, как бешеная, а у Греточки личико так и полыхает радостью. У меня мелькнуло в голове, что Алексей днем без меня все-таки зашел.

— Майор ист диб! — кричит Катя, то есть вор и показывает на комнату, — майор цап-царап! Аллес цап-царап!

— Я, я, — восторженно добавляет Греточка, показывая на голую комнату — ни венских стульев, ни дивана, ни шкафа, ни гобелена на стене — один стол, — майор ист диб! Майор ист ниht гестапо! Заге Алеша! Заге Алеша!

Значит, скажи Алеше.

— Это возмушательно! — кричит старик, — цап-царап домхен антифашистик!

Сейчас это звучит смешно, но тогда я впервые почувствовал, что кровь в моих жилах от стыда загустела и остановилась. Конечно, грабили многие, и мы об этом прекрасно знали. Но одно дело, когда где-то кого-то грабят, а другое дело, когда ты знаешь этих людей, да еще связан с женщиной, которая рассчитывала на твою защиту. Ни- когда в жизни я не испытывал такого стыда.

А главное Гречка — вся расслаилась, глаза лучатся, невозможно смотреть. Она решила, что раз майор очистил их дом, значит он не может быть энкеведешником, а раз так, Алеше нечего бояться. Как объяснить ей, что все сложнее, хотя майор и в самом деле был штабистом.

Так вот, значит, почему он шнырял в три часа ночи на мотоцикле: смотрел, где что лежит. Только поэтому и не накапал на нас.

Я сказал Грете, что обо всем расскажу Алеше, и старику соврал, что буду жаловаться на майора. Надо же было их как-нибудь успокоить. Девушки притащили откуда-то колченогие стулья, мы поужинали, и я со стариком крепко выпил.

На следующий день я все рассказал Алексею и вижу, он немного ожил.

— Хорошо, — говорит, — завтра пойдем попрощаемся. Кажется, на днях нас перебазируют.

Но мы так и не попрощались с нашими девушками. Нас перебазировали в ту же ночь. Новый аэродром находился в двухстах километрах от этого местечка.

Алексей все еще плохо выглядел, и меня не покидало предчувствие, что он должен погибнуть. И я, честное слово, облегченно вздохнул в тот день, когда его ранило. Рана была нетяжелая, и вскоре его отправили в госпиталь, в Россию.

На этот раз мы жили в небольшом городке. Однажды с ребятами вышли из кафе и поджидаем у входа товарища, который там замешкался.

— Кемал, — говорит один из ребят, — эта немочка с тебя глаз не сводит.

Я оглянулся, смотрю, шагах в пятнадцати от нас, стоит немочка, приятная такая с виду и в самом деле мне улыбается. Ясно, что мне. Я, конечно, слегка под шафе и тоже улыбаюсь ей, как дурак, и подхожу познакомиться.

Господи, это же Катя! Как это я ее сразу не узнал! Сейчас она была в пальто, в шапке, а я ее никогда такой не видел. Оказывается, она меня искала!

Ну, я прощаюсь с ребятами и снова захожу в кафе.

— Как Грета? — спрашиваю.

— О, Грета трауриг, — вздыхает она и качает головой.

Я объяснил ей, что Алеша ранен и отправлен в тыл. Мы переночевали на квартире у женщины, где она остановилась. Ночью она несколько раз плакала, вздыхала и повторяла:

— Шикзаль...

Значит, судьба. Я почувствовал, что она хочет что-то сказать, но не решается. Утром, когда мы встали, она сказала, что беременна. Смотрит исподлобья своими внимательными, умными глазками и

спрашивает:

— Киндер?

Ну, что я мог ей ответить?! Разве можно ей объяснить, что это посложнее, чем выгнать майора?!

— Найн, — отрезаю, и она опустила голову.

В тот же день мы расстались, и я ее больше никогда не видел. А с Алексеем мы увиделись через тридцать лет в Новгороде на встрече ветеранов нашего полка.

Мы все, приехавшие со всех концов страны, ветераны, остановились в одной гостинице, где в тот вечер предстоял банкет во главе с нашим бывшим командиром полка, теперь генералом. Все это время я ничего об Алексее не знал, даже не знал, жив ли он.

Заняв номер, спустился к администратору и спросил у него — не приехал ли Алексей Старостин! Он посмотрел в свою книгу и кивнул: да, приехал, живет в таком-то номере.

Подымаюсь к нему, примерно, часа за два до банкета. Смотрю — елки-палки, что время делает с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке, того молодого, как звон, красавца-летчика в далеком сорок четвертом году, обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях! А он смотрит на меня и, конечно, не узнает, мол, что от меня хочет этот лысый толстяк? Я расхохотался, и тут он меня узнал.

— А-а-а, — говорит, — Кемал! Только зубастая пасть и осталась!

Ну, мы обнялись, поцеловались, и я его повел в свой номер. Я с собой привез хорошую „Изабеллу”. Сидим, пьем, вспоминаем минувшие дни. И, конечно, вспоминаем наших немочек.

— Ах, Греточка! — говорит он, вздыхая, — ты даже не представляешь, что это было для меня! Ты не представляешь, Кемал! Я потом демобилизовался, женился, летал на пассажирских, у меня, как и у тебя, двое взрослых детей. Сейчас работаю начальником диспетчерской службы, пользуюсь уважением и у райкома и у товарищей, а как подумаю, диву даюсь. Помнишь, у Есенина: „Жизнь моя, иль ты приснилась мне!”

Кажется, там, в Восточной Пруссии, в двадцать четыре года закончилась моя жизнь, а все остальное, какой-то странный, затянувшийся эпилог! Ты понимаешь это, Кемал?

И надо же, бедный мой Алексей прослезился. Ну, я его конечно, успокоил, и тут он вдруг заторопился на банкет.

— Да брось ты, Алеша, — говорю, — посидим часок вдвоем. Наши места никто не займет, а они теперь на всю ночь засели.

— Ну что ты, Кемал, — говорит, — пойдем. В двадцать ноль-ноль генерал будет открывать торжественную встречу. Неудобно, пошли!

Ну, что ты ему скажешь? Пошли. Такой он был человек, а летчик был первоклассный, в воздухе ни хрена не боялся!

На этом Кемал закончил свой рассказ и оглядел застольцев, медленно переводя взгляд с одного на другого.

— Слава богу, кончил, — сказал дядя Сандро, — еще бы немножко, и мы бы заговорили по-немецки!

Все рассмеялись, а князь разлил коньяк по рюмкам и сказал:

— И по работе он не так уж далеко ушел от тебя.

— Да, — сказал Кемал, — начальник диспетчерской службы, особой карьеры не сделал.

— Он не должен был бросать эту девушку, пока их не перевели в другое место, — сказал дядя Сандро и, чуть подумав, добавил: — А ты понял, почему он в последний раз согласился прийти попрощаться с ней?

— Ясно почему, — ответил Кемал, — он понял, что майор на нас накапал, и, значит, за нами никто не следит.

— Дурачок, — в тон ему отозвался дядя Сандро, — твой же рассказ я тебе должен объяснять. Когда он согласился пойти попрощаться со своей девушкой, он уже знал, что в ту же ночь вас переведут в другое место.

— Нет, — засмеялся Кемал, — такие вещи держали в строгой секретности.

— Как нет, когда да! — возразил дядя Сандро, — я же лучше знаю! Он вертелся возле начальства, и кто-то ему тихо сказал.

— Оставьте человека! — вступился за него князь, подымая рюмку, — он, бедняга, и так наказан судьбой. Лучше выпьем за Кемала, угостившего нас хорошим фронтовым рассказом.

— Кто чем угощает, а Кемал рассказом, — уточнил дядя Сандро, насмешливо поглядывая на Кемала, — отбивает хлеб у своего дяди. Только карр! нам больше не надо!

— А мне жалко этого человека, — сказал маленький Хачик, — бедный, любил... Потому плакал... Если б не любил, не плакал...

— Да нет, — начал Кемал возражать, но неожиданно замолкнув, сунул палец в ухо и стал с нескрываемым наслаждением прочищать его. Движения Кемала напоминали движения человека пахтающего масло или водопроводчика пробивающего своей „грушей” затор в раковине умывальника.

Кемал довольно долго, морщась от удовольствия, прочищал таким образом ухо, полностью отключившись от присутствующих, что присутствующим почему-то было обидно. Дядя Сандро молча с укором глядел на него, как бы улавливая в его действиях еще четко не обозначенный абхазским сознанием, но уже явно раздражающий оттенок фрейдистского неприличия.

— Что нет?! — наконец, не выдержал дядя Сандро.

Кемал преспокойно вынул палец из уха, оглядел его кончик, словно оценивая на глазок качество спехтанного масла, видимо, остал-

ся этом качеством недоволен, потому что на лице его появилась гримаса брезгливого недоумения, явно вызванная огорчительной разницей между удовольствием от самого процесса пахтанья и прямо-таки убогим результатом его. С этим выражением он вытащил другой рукой из кармана платок, вытер им палец, сунул платок в карман и, как ни в чем ни бывало, закончил фразу:

— ... Просто его немного развезло от „Изабеллы”, он чересчур приналег на нее...

Как и всякий мужчина, много увлекавшийся женщинами, Кемал не придавал им большого значения.

— Акоп-ага, — крикнул Хачик, — еще прошу по кофе.

— Сейчас будет, — ответил Акоп-ага, глянув в нашу сторону из-за стойки, на которой была расположена его большая жаровня с горячим песком для приготовления кофе по-турецки.

— Извини пожалуйста, — сказал Хачик, обращаясь ко мне, — ты здесь самый молодой. Вон там арбузы привезли. Принеси два арбуза — хочу сделать фото: „Князь с арбузами”.

— Да, ладно, — сказал князь, — обойдемся без арбузов.

— Давай, давай, — вступился Кемал за Хачика, — это хорошая идея. Князь с арбузами, а мы с князем.

На том конце ресторанной палубы, уже как бы и не ресторанной, продавали арбузы. С детства мне почему-то всегда чудилось, что в арбузе заключена идея моря. Может, волнообразные полосы на его поверхности напоминали море? Может, совпадение времен — праздник купания в море с праздником поедания арбузов, часто на берегу, на виду у моря? Или огромность моря и щедрость арбуза? Или и там и там много воды?

На трех помостах вышки для прыжков, бронзовея загаром и непрерывно галдя, толпились дети и подростки. Те, что уже прыгнули, что-то выкрикивали из воды, а те, что стояли на помостах вышки, что-то кричали тем, что уже барахтались в море.

Одни прыгали лихо, с разгону, другие медлили у края помоста, оглядывались, чтобы их не столкнули, или свою нерешительность оправдывали боязнью, что их столкнут.

И беспрерывно в воду летели загорелые ребячьи тела — головой, солдатиком, изредка ласточкой. Короткий, бухающий звук правильно вошедшего в воду тела и длинный, шлепающий звук неточного приводнения с призвуком дошлепывающих ног. Постоим, полюбуемся, послушаем: бух! бух! шлеп! шлеп! перешлеп! бух!

Я тоже сюда приходил в наше предвоенное детство. Тогда здесь была совсем другая вышка для прыжков: она увенчивалась бильярдной комнатой, и самые храбрые из ребят докарабкавались до крыши бильярдной и прыгали оттуда.

Вглядываясь в те далекие годы, я вижу этих ребят, но не вижу

среди них себя. Жалко, но не вижу. И на третьем высшем помосте не вижу я себя.

Сюда, на территорию водной станции „Динамки”, как мы тогда говорили, никого не пускали, кроме тех, кто посещал секции плаванья и прыжков.

Но больше половины ребят ни в каких секциях не состояли и приходили сюда снизу, по брускам доплаывая до плавательных мостков, а потом оттуда по железной лестнице наверх и на вышку. Так приходил сюда и я.

Но это было довольно утомительно: с берега по сваям и железным проржавевшим, иногда с острыми зубинами, перекадинам карабкаться метров восемьдесят. Так что я иногда подолгу простаивал возле входа на водную станцию, которую стерегла грузная и пожилая, как мне тогда казалось, женщина.

Дело в том, что почти ежедневно бильярдную посещал один парень с нашей улицы. Ему было лет двадцать и звали его Вахтанг. Но почти все, и взрослые и дети, называли его ласково-любовно Вахтик.

Закончив играть, он покидал территорию водной станции деловито-праздничной походкой, как бы означающей: я только что закончил очень нужное и очень приятное дело и сейчас же возьмусь за другое, не менее нужное и не менее приятное дело. В эти минуты я старался стоять так, чтобы он меня сразу заметил, и он всегда меня сразу замечал. Заметив меня, он что-то с улыбкой говорил женщине, стерегущей проход, и она, расцветая от его улыбки, пропускала меня.

Иногда, когда я вот так дожидался его, он подкатывал откуда-то сзади, и я чувствовал его добрую руку, ласково ложащуюся на мою голову или шутливо-крепко, как арбуз, сжимающую ее пятерней, и я при этом всегда старался улыбнуться ему, показывая, что мне нисколько не больно. Мы не останавливаясь проходили мимо стражницы, и она, расцветая от его улыбки, оживала до степени узнавания меня.

И тем более меня всегда удивляла тяжелая тусклость ее неузнавания, когда его не было. Не то, чтобы я просился, но я стоял возле нее, и она могла бы вспомнить, что я это я, и пропустить меня. Ну, хорошо, соглашался я мысленно, пусть не пропускает, но пусть хотя бы узнает. Нет, никогда не узнавала.

И стоило появиться Вахтангу, стоило положить ему руку на мою голову, как женщина оживлялась, словно включала лампочку памяти и теперь мимоходом окидывала меня узнающим взглядом.

Я почему-то навсегда запомнил его летним, только летним, хотя видел его во все времена года. Вот он в шелковой, голубой рубашке навывпуск, в белых брюках, в белых парусиновых туфлях празднично ступает по деревянному настилу пристани, и рубашка на нем то свободно плещется, то мелко-мелко вскипает под бризом и вдруг

на мгновение прилипает к его стройному крепкому телу.

И я вижу его — тогда так воспринималось, но оно и было таким — хорошее лицо с, якобы, волевым подбородком, но я уже тогда понимал, что его волевой подбородок смеется над самой идеей волевого подбородка, потому что он весь — не стремление достигнуть чего-то, он весь — воплощение достигнутого счастья или достижимого через пять минут — только выйдет через проход, а там уже его ждет девушка, а чаще девушки.

— Ах, извините, девушки, задержался! — говорил он в таких случаях и, вскинув руку, мимоходом бросал взгляд на часы, лихо сдвинутые циферблатом на кисть, и неудержимо смеялся, смеялся вместе с девушками, как бы пародируя своим замечанием образ жизни деловых людей.

Интересно, что Вахтанг и его друзья, целыми днями игравшие в бильярд на водной станции, почти никогда не купались. Чувствовалось, что это для них пройденный этап. Но однажды в жаркий день, они вдруг гурьбой высыпали из своей бильярдной и, скинув свои франтоватые одежды, оказались стройными, мускулистыми, крепкими парнями.

Они буйно веселились, как великолепные животные неизвестной породы, прыгая с вышки то ласточкой, то делая сальто, переднее и заднее, то выстроив стойку на краю трамплина, вертикально протыкали воду. Видно, все они были спортсменами в какой-то предыдущей жизни.

Потом уже в воде играли в „лятнашки“. Ловко ныряли, прячась друг от друга, и я тогда впервые увидел, как Вахтанг под толщей воды плавает спиной, чтобы следить глазами за парнем, нырнувшим за ним.

Мощными, ракетными толчками каждый раз заворачивающими его в пузырящееся серебро пены, он все дальше и дальше уходил в глубь зеленоватой воды, а потом исчез.

Парень, гнавшийся за ним, вынырнул и, стоя на одном месте, озирался, стараясь не пропустить Вахтанга, когда он выскочит из глубины. Через долгое мгновение Вахтанг все же вынырнул за его спиной и, крикнув: — Оп! — нашлепнул ему на шею горсть песка, поднятого со дна.

Ходила легенда, что Вахтанг однажды на спор выпрыгнул в море из окна бильярдной. Одно дело прыгать с плоской крыши, там есть небольшой разгон, а тут можно было, не дотянув до воды, запросто грянуться о деревянный настил пристани. Вполне возможно, что он и в самом деле прыгнул из окна бильярдной, он был храбр легкой, музыкальной храбростью.

Вахтанг и его друзья весело бултыхались возле водной станции, а потом, как бы не сговариваясь, а подчиняясь какому-то инстинкту,

всей стаей поплыли в открытое море, вернулись и один за другим, подтягиваясь на поручнях мускулистыми руками, пошлепывая друг друга, отряхивались, фыркали, подпрыгивали на одной ноге и мотали головой, чтобы выплеснуть воду из ушей, а потом с гоготом, подхватив свои одежды, словно опаздывая на бильярд, как опаздывают на поезд, побежали наверх, громко стуча пятками по крутой деревянной лестнице.

Где они? Затихли, сгнули, отгуляв и откутив, а я их еще помню такими — кумиров нашей предвоенной золотой молодежи, в чьих аккуратных головках с затейливо подбритыми затылками еще миражировал образ Дугласа Фербенкса!

Семья Вахтанга жила на нашей улице не очень давно. При мне строился их маленький, нарядный дом, при мне выросла живая ограда из дикого шитруса трифолиаты, при мне рядом с их домом вырос маленький домик, соединенный с основным общей верандой.

— Когда Вахтик женится... молодоженам, — обрывок разговора его отца с кем-то из соседей.

При мне в их саду возвели качели с двумя голубыми люльками.

— Когда у Вахтика будут дети...

Они жили втроем, отец, мать и сын. По представлениям обитателей нашей улицы они были богачами. Добрыми богачами. Отец Вахтанга был директором какого-то торга. Больше мы ничего о нем не знали. Да больше и не надо было знать и вообще дело было не в этом.

По воскресеньям или после работы отец Вахтанга, надев на себя какой-то докторский халат и напялив очки, возился в своем маленьком саду. Он подвязывал стебли роз к подпоркам, стоя на стремянке, обрезал ненужные ветви фруктовых деревьев и усохшие плети виноградных лоз. Хотя отец Вахтанга был грузином, то есть местным человеком, в такие минуты он почему-то казался мне иностранцем.

В будни отец и сын часто встречались на улице. Отец возвращался с работы, а сын шел гулять. Обитатели нашей улицы, к этому времени высыпавшие на свои балкончики, крылечки, скамеечки, с удовольствием, как в немом кино, потому что слов не было слышно, следили за встречей отца и сына.

Судя по их позам, отец пытался остановить сына и осторожно выяснить, где и как он собирается провести вечер. И сын все время слегка порываясь и в то же время с ироническим почтением, склоняясь к отцу, угадывалось, что часть иронии сына относится к осторожным попыткам отца проникнуть в тайны его времяпрепровождения, как бы говорил ему: — Папа, ну, разве можно останавливать человека, когда он собирается окунуться в праздник жизни?

Наконец, они расходились, и отец, улыбаясь, смотрел ему вслед, а сын, обернувшись, махал рукой и шел дальше. Интересно, что во

время этих встреч, сын никогда не просил у отца деньги. А ведь все знали, что Вахтанг во всех компаниях раньше всех и щедрее всех расплачивается. Было ясно, что в их доме никому и в голову не может придти, что от сына надо прятать деньги. Было ясно, что для того отец и работает, чтобы сын мог красиво сорить деньгами.

Отпустив сына, отец шел дальше своей небыстрой, благостной походкой, устало улыбаясь и доброжелательно здороваясь со всеми обитателями улицы. Он шел, овеивая лица обитателей нашей улицы ветерком обожания.

— Мог бы, как нарком, на машине приезжать...

— Не хочет — простой.

— Нет, сердце больное, потому пешком ходит.

— Золото, а не человек...

Вероятно, на нашей улице были люди, которые завидовали или не любили эту семью, но я таких не знал. Если были такие, они эту зависть и нелюбовь прятали от других. Я только помню всеобщую любовь к этой семье, разговоры об их щедрости и богатстве. Так, старший брат моего товарища Христю, помогавший своему отцу в достройке вахтанговского дома, рассказывал сказочные истории о том, как у Вахтанга кормят рабочих. Поражало обилие и разнообразие еды.

— Один хлеб чего стоит! — говорил он, — вот так возьмешь от корки до корки сжимается, как гармошка. Отпустишь — дышит, пока не скушаешь!

Конечно, Богатый Портной тоже считался на нашей улице достаточно зажиточным человеком. Но в жизни Богатого Портного слишком чувствовалась грубая откровенность первоначального накопления.

Здесь было другое. Родители Вахтанга, видимо, были богаты достаточно давно и, во всяком случае, явно не стремились к богатству. Для обитателей нашей улицы эта семья была идеалом, витриной достигнутого счастья. И они были благодарны ей уже за то, что могут заглядывать в эту витрину.

Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью, и в конце-концов, смирились в своих домах-пристанях или коммунальных квартирках. И они, любясь, красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражом, была правильная мечта, но вот им просто не повезло. Так пусть хоть этим повезло, пусть хотя бы дадут полюбоваться своим счастьем, а они не только дают полюбоваться своим счастьем, от щедрот его и соседям немало перепадает.

Иногда поздно вечером, если я с тетушкой возвращался с по-

следнего сеанса кино, мы неизменно видели, как отец и мать Вахтанга, сидя на красивых стульях у калитки, дожидаются своего сына.

Обычно между ними стоял тонконогий столик, на котором тускло зеленела бутылка с боржомом и возвышалась ваза с несколькими аппетитно чернеющими ломтями арбуза.

Взяв в руки ломоть арбуза и слегка наклоняясь, чтобы не обрызгаться, отец Вахтанга иногда ел арбуз, переговариваясь с тетушкой. Но главное — как он ел! В те времена он был единственным человеком, виденный мною, который ел арбуз вяло! И при этом было совершенно очевидно, что здесь все честно, никакого притворства! Так вот, что значит богатые! Богатые — это те, которые могут есть арбуз вяло!

Обычно в таких случаях тетушка всегда заговаривала с ними на грузинском языке, хотя и они, и она прекрасно понимали по-русски. И это тогда так осознавалось — с богатыми принято говорить на их языке. Поговорив и посмеявшись с ними, тетушка, бодрее чем обычно, хотя и обычно у нее достаточно бодро стучали каблочки, шла дальше. И это тогда понималось так — приобщенность к богатым, даже через язык, взбадривает. И еще угадывалось, что приток новых сил, вызванный общением с богатыми, надо благодарно им продемонстрировать тут же. Вот так они жили на нашей улице, и, казалось, конца и края не будет этой благодати. И вдруг однажды все разлетелось на куски! Вахтанг был убит на охоте случайным выстрелом товарища.

Я помню его лицо в гробу, ожесточенное чудовишной несправедливостью, горестно-обиженное, словно его, уверенного, что он создан для счастья, вдруг грубо столкнули в такую неприятную, такую горькую, такую непоправимую судьбу.

И он в последний миг, грянувшись в эту судьбу, навсегда ожесточился на тех, кто, сделав всю его предыдущую жизнь непрерывной вереницей ясных, счастливых, ничем не замутненных дней, сейчас так внезапно, так жестоко расправился с ним за его безоблачную юность.

Казалось, он хотел сказать своим горько-ожесточенным лицом: если б я знал, что так расправятся со мной за мою безоблачную юность, я бы согласился малыми дозами всю жизнь принимать горечь жизни, а не так сразу, но ведь у меня никто не спрашивал...

Лица обитателей нашей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали не только искреннее сочувствие, но и некоторое удивление и даже разочарование. Их лица как бы говорили:

— Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!

Почему-то меня непомерностью горя подавила не мать Вахтанга, беспрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой, клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувство-

вать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул.

Отец не дожил даже до сороковин Вахтанга, он умер от разрыва сердца, как тогда говорили. Казалось, душа его кинулась догонять любимого сына, пока еще можно ее догнать. Тогда по какой-то детской закругленности логики, мне думалось, что и мать Вахтанга вскоре должна умереть, чтобы завершить идею опустошения.

Но она не умерла ни через год, ни через два и, продолжая жить в этом запустении, стояла у калитки в черном, траурном платье. А годы шли, а она все стояла у калитки, уже иногда громко перекрикиваясь с соседями по улице и снова замолкая, стояла возле безнадежно запылившихся кустов трифолиаты, ограждающих теперь неизвестно что. Она и сейчас стоит у своей калитки, словно годами, десятилетиями и ждет ответа на свой безмолвный вопрос:

— За что?!

Но ответа нет, а может, кто его знает, и есть ответ судьбы, превративший ее в непристойно-располневшую, неряшливую старуху. Жизнь, не жестокость уроков твоих грозна, а грозна их таинственная недоговоренность!

Я рассказываю об этом, потому что именно тогда мальчишкой, стоя у гроба, быть может, впервые пронзенный печалью неведомого Экклезиаста, я смутно и в то же время сильно почувствовал трагическую ошибку, которая всегда была заключена в жизни этой семьи.

Я понял, что так жить нельзя, и у меня была надежда, что еще есть время впереди и я догадаюсь, как жить можно. Как маленький капиталист, я уже тогда мечтал вложить свою жизнь в предприятие, которое никогда, никогда не лопнет.

С годами я понял, что такая хрупкая вещь, как человеческая жизнь, может иметь достойный смысл только связавшись с чем-то безусловно прочным, не зависящим ни от каких случайностей. Только сделав ее частью этой прочности, пусть самой малой, можно жить без оглядки и спать спокойно в самые тревожные ночи.

С годами эта жажда любовной связи с чем-то прочным усилилась, уточнялось само представление о веществе прочности и это, я думаю, избавляло меня от многих форм суеты, хотя не от всех, конечно.

Теперь, кажется, я добрался до источника моего отвращения ко всякой непрочности, ко всякому проявлению пизанства. Я думаю — не стремиться к прочности уже грех.

От одной прочности к другой более высокой прочности, как по ступеням, человек подымается к высшей прочности. Но это же есть, я только сейчас это понял, то что люди издавна называли твердью. Хорошее, крепкое слово!

Только в той мере мы по-человечески свободны от внутреннего и внешнего рабства, в какой сами с наслаждением связали себя с несокрушимой Прочностью, с вечной Твердью.

Обрывки этих картин и этих мыслей мелькали у меня в голове, когда я выбирал среди наваленных арбузов и выбрал два больших, показавшихся мне безусловным воплощением прочности и полноты жизненных сил.

Из моря доносился щебет купающейся ребятни, и мне захотелось швырнуть туда два-три арбуза, но, увы, я был для этого слишком трезв и жест этот показался мне чересчур риторичным.

Вот так, когда нам представляется сделать доброе дело, мы чувствуем, что слишком трезвы для него, а когда в редчайших случаях к нам обращаются за мудрым советом, оказывается, что именно в этот час мы лыка не вяжем.

Подхватив арбузы, я вернулся к своим товарищам. Акоп-ага уже принес кофе и, упершись подбородком в ладонь, сидел задумавшись.

— Теперь мы сделаем карточку „Князь с арбузом”, — сказал Хачик, когда я поставил арбузы на стол.

— Хватит, Хачик, ради бога, — возразил князь.

Но любящий неумолим.

— Я знаю, когда хватит, — сказал Хачик и, расставив нас возле князя, велел ему положить руки на арбузы и щелкнул несколько раз.

Мы выпили кофе, и Кемал стал резать арбуз.

Арбуз с треском раскалывался, опережая нож, как трескается и расступается лед перед носом ледокола. Из трещины выпрыгивали косточки. И этот треск арбуза, опережающий движение ножа, и косточки, выщелкивающие из трещины, говорили о прочной зрелости нашего арбуза. Так оно и оказалось. Мы выпили по рюмке и закусили арбузом.

— Теперь возьмем Микояна, — сказал Акоп-ага, — когда Хрущев уже потерял виласть, а новые еще не пришли, был такой один момент, что он мог взять виласть... Возьми, да? Один-два года, больше не надо. Сделай что-нибудь хорошее для Армении, да? А потом отдай русским. Не взял, не захотел...

— Вы, армяне, — сказал князь, — можете гордиться Микояном. В этом государстве ни один человек дольше него не продержался у власти.

— Слушай, — с раздражением возразил Акоп-ага, — лляй-ляй конференция мне на надо! Зачем нам его виласть, если он ничего для Армении не сделал? Для себя старался, для своей семьи старался...

Акоп-ага, поварчивая, собрал чашки на поднос и ушел к себе.

— Когда он узнал, что я диспетчер, — сказал Кемал, улыбаясь и поглядывая вслед уходящему кофевару, — он попросил меня особен-

но внимательно следить за самолетами, летящими из Еревана. Он сказал, что армянские летчики слишком много разговаривают за штурвалом, он им не доверяет...

— Народ, у которого есть Акоп-ага, — сказал дядя Сандро, — никогда не пропадет!

— Народ, у которого есть дядя Сандро, — сказал князь, — тоже никогда не пропадет.

— Разве они это понимают, — сказал дядя Сандро, кивая на нас с Кемалом, вероятно, как на наилучших представителей народа.

— А что делать народам, у которых вас нет? — спросил Кемал и оглядел застольцев.

Воцарилось молчание. Было решительно непонятно, что делать народам, у которых нет ни Акоп-ага, ни дяди Сандро.

— Мы все умрем, — вдруг неожиданно крикнул Хачик, — даже князь умерет, только фотокарточки останутся! А народ, любой народ, как вот это море, а море никогда не пропадет!

Мы выпили по последней рюмке, доели арбуз и, поднявшись, подошли к стойке, прощаться с Акоп-ага.

— То, что я тебе сказал, помнишь? — спросил он у Кемала, насыпая сахар в джезвеи с кофе и на миг озабоченно вглядываясь в него.

— Помню, — ответил Кемал.

— Всегда помни, — твердо сказал Акоп-ага и, ткнув в песочную жаровню полдюжины джезвеев, стал, двигая ручками, поглубже и поуютнее зарывать в горячий песок медные ковшки с кофе.

Мы стали спускаться вниз. Я подумал, что Акоп-ага и сам никогда не пропадет. Его взыскующая любовь к армянам никому не мешает и никто никогда не сможет отнять у него этой любви. Он связал себя с прочным делом и потому непобедим.

Примерно через месяц на прибрежном бульваре я случайно встретил Хачика. Мне захотелось повести его в ресторан и угостить в благодарность за фотокарточки. Часть из них князь передал Кемалу, а тот мне.

Но Хачик меня не узнал и, так как он уже был достаточно раздражен непонятливыми клиентами, которых он располагал возле клумбы с кактусами и все заталкивал крупного мужчину поближе к мощному кактусу, а тот пугливо озирался, не без основания опасаясь напороться на него, я не стал объяснять, где мы познакомились.

Я понял, что он совсем как та женщина, стоявшая у входа на водную станцию „Динамо”, видел нас только потому, что мы были озарены светом его возлюбленного князя Эмухвари. Я уже отошел шагов на десять, когда у меня мелькнула озорная мысль включить этот свет.

Я оглянулся. Маленький Хачик опять заталкивал своего клиента большого и рыхлого, как гипсовый монумент, поближе к ощерен-

ному кактусу, а тот сдержанно упирался, как бы настаивая на соблюдении техники безопасности. Женщины, спутницы монумента, не выражая ни одной из сторон сочувствия, молча следили за схваткой.

— Хрустальная душа! — крикнул я, — простой, простой!

Хачик немедленно бросил мужчину и оглянулся на меня. Мужчина, воспользовавшись свободой, сделал небольшой шагок вперед.

— А-а-а-а! — крикнул Хачик, весь рассиявшись радостью узнавания, — зачем сразу не сказал?! Этот гетферан мне совсем голову заморочил! Хорошо мы тогда посидели! Гиде кинязь?! Если увидишь — еще посидим! Ты это правильно заметил: хрустальная душа! Простой! Простой!

Я пошел дальше, не дожидаясь, чем окончится борьба Хачика с упорствующим клиентом. Я был уверен, что Хачик победит.

ДЖАНСУХ – СЫН ОЛЕНЯ ИЛИ ЕВАНГЕЛИЕ ПО-ЧЕГЕМСКИ

Теперь мы расскажем легенду о Джансухе – Сыне Оленя, похожую на правду, или правду о жизни Джансуха, обросшую легендами. Как хотите, так и считайте. Чегемцы, например, считают, что все это было на самом деле. Если даже сейчас, в наше время, говорят они, иногда случаются чудеса, то в те далекие, незлопамятные времена, чудеса происходили чуть ли не каждый день.

И в этом есть доля истины. В самом деле, даже в наше время, когда нигде в мире ничего не случается, в Абхазии нет-нет да что-нибудь и случится.

Говорят, будущему Джансуху было, вероятно, месяца два-три, когда он очутился в зарослях леса неподалеку от Чегема. Там его нашла олениха. Как он там очутился, никто не знает.

Вот что чегемцы говорили по этому поводу. Они говорили, что, вероятно, какое-то семейство шло по лесной дороге, где на них напали разбойники. Мать ребенка успела отбросить его в заросли, прежде чем разбойники учинили свой кровавый разбой или просто связали путников и продали их в рабство в другие земли.

В Абхазии за рабов тогда не давали никаких денег, потому что держать рабов считалось у абхазцев признаком дурного вкуса. Впрочем, некоторые рабов и тогда ухитрялись держать, потому что во все времена находятся люди с дурным вкусом и дурными наклонностями.

Одним словом, так считают чегемцы, а как это было на самом деле, никто не знает.

...Мальчик, к счастью упавший на мягкую траву в зарослях папоротника, проголодавшись, стал плакать. Долго плакал мальчик, пока голос его не услышала олениха, которая вместе с двумя оленятами паслась в этих местах и, пощипывая траву, приближалась в сторону мальчика.

Раздвинув грудью стебли папоротника, олениха увидела плачущего младенца. Она поняла, что ребенок голоден, что собственную мать он почему-то потерял, и стала подставлять ему свое вымя. Но ребенок был так мал, что, конечно, никак не мог достать до вымени. Тогда

олениха осторожно легла возле него и приладила свои добрые сосцы к мордочке младенца.

Тут ребенок догадался, что делать и, поймав ртом добрый сосец оленихи, стал, сладостно причмокивая, высасывать из него вкусное теплое молоко. Ничего, думала олениха, прислушиваясь к своим двум оленятам, пасшимся рядом на лужайке, выкормим младенца, хватит молока на троих. Только придется, думала она, жить в этих местах, потому что мальчик мал и ходить еще не умеет.

Обо всем этом олениха рассказала мальчику, когда он изучил олений язык. Оказывается, олени разговаривают глазами. Ну, а мальчик, впоследствии, когда он стал жить с чегемцами, пересказал им то, что узнал от матери-оленихи.

Так олениха стала выкармливать младенца, который быстро рос и набирался сил на добром оленьем молоке. Теперь мальчик умел ходить и олениха уже не ложилась, чтобы накормить его молоком, а только становилась на колени, чтобы мальчик достал до вымени. По вечерам, когда оленья семья укладывалась спать, мальчик, уютно устроившись на животе оленихи, всегда засыпал, держа во рту один из материнских сосцов, что ужасно смешило его молочного братца и особенно сестренку.

Вскоре мальчик стал бегать с оленятами и стал понимать олений язык, что требует необыкновенной чуткости души и сообразительности ума. Ведь олени разговаривают между собой глазами, и только глупые люди думают, что животные лишь мыкают да блеют. Нет, животные далеко не только мыкают да блеют! Они все понимают и разговаривают между собой глазами, а иногда подают знаки головой или ушами. Особенно хорошо ушами разговаривают ослы.

Прошло шесть лет. Мать-олениха рожала новых оленят, и мальчик вместе с новыми оленятами пил молоко, и хотя ему давно была пора переходить на траву и листья, он предпочитал молоко, или иногда, делая вид, что пасется возле кустов, на самом деле ел ягоды облепихи, черники, малины.

— Забаловала я его, — говаривала иногда олениха, — но что делать, ведь он сирота.

По вечерам, когда мать-олениха со своим найденышем и новыми оленятами укладывалась спать, мальчик просил ее рассказать, как она его кормила, становясь на колени, и он, слушая ее, каждый раз заходился от хохота и говорил:

— Мама-олениха, неужели я был такой маленький?

— Конечно, — отвечала мать-олениха, продолжая жевать жвачку, потому что разговаривали они глазами, — ты тогда был совсем маленький. Только не гогочи, ради бога, а то волки нас услышат.

— Надо же, — говорил мальчик, — я тогда был такой маленький, что бедной маме приходилось на колени становиться, чтобы я доставал

до вымени. А теперь я такой большой, что сам становлюсь на колени, чтобы удобнее было пить молоко.

— Баловень, — отвечала мать-олениха, — пора переходить на траву.

— А я сегодня много травы съел, — отвечал мальчик, — у меня от нее даже оскомина на зубах.

— Вот и неправда! — вставлялась тут сестричка-оленичка, — я видела, сколько ты травы съел. Ты делал вид, что кушаешь траву, а сам землянику рвал.

— Правда, правда, — уверял мальчик, — я травы тоже много съел. Просто ты не заметила.

— Да?! Не заметила?! — горячилась сестричка-оленичка, — тогда почему ты никогда жвачку не жуешь?

— Сам не пойму, — отвечал будущий Джансух, — я почему-то никогда не могу вырыгать траву, которую съел.

— С молока ничего не вырыгаешь, — не унималась сестричка, — из молока нельзя сделать жвачку.

— Молоко можно вырыгать и прожевать, — важно вставлялся в этом месте Олень-отец, — потому что молоко в желудке превращается в сыр. От теплоты внутренностей. Я сам видел, как пастухи ставили на огонь котел с молоком, а после вытаскивали оттуда большой белый ком, который они называют сыром, потому что он сырой. Так что и выпитое молоко можно прожевать, если его во время вернуть в рот, когда оно уже превратилось в сыр, но еще не ушло в тело. И на этом хватит болтать... А ты, дочурка-оленьчурка, никогда не выдавай своего братца. Это у нас, у оленей, не принято, это принято у плохих людей.

Так или немножко по-другому они разговаривали по вечерам, а потом укладывались спать и оленията вместе с мальчиком засыпали, прижавшись к животу матери-оленихи. Об этих днях Джансух позже вспоминал с нежностью и охотно рассказывал о них друзьям.

Однажды старый охотник Беслан из села Чегем увидел на лесной лужайке удивительную картину. Он увидел, что на ней пасется олень-самец, олениха, два олененка и голый загорелый мальчик.

Охотник так обомлел, что в первое мгновение не мог дрожащими пальцами вытащить стрелу из колчана, чтобы поразить самца, потому что в те времена настоящие охотники никогда не убивали самок.

А в следующее мгновение самец его почуял, семейство сгрудилось и стрелять уже было невозможно, потому что охотник мог попасть в олениху, в оленят или в мальчика.

А еще через миг странное оленье семейство рванулось в лес, и мальчик, почти не отставая, бежал за оленятами. Охотник, пораженный увиденным, как бы очнувшись, бросился вслед и, конечно, никогда бы не догнал мальчика, но тот, споткнувшись о лиану, упал на землю и, пока выпрастывал ногу из лианы, подбежавший охотник

схватил его.

Мальчик изо всех сил стал вырываться из рук охотника, он даже укусил его, но старый Беслан крепко держал его в своих объятиях. И тогда мальчик, поняв, что навсегда расстается с матерью-оленихой, закричал с невыразимой тоской, и этот крик расставанья был первым звуком его человеческого голоса. Мать-олениха издали ответила ему трубным рыданьем, ведь она любила его, как собственного олененка и даже сильнее, потому что дольше, чем любого из своих оленят кормила его молоком.

Старый Беслан принес мальчика к себе домой, крепко привязал его веревкой к тяжелой кухонной скамье, чтобы он не сбежал, но поближе к очагу, чтобы он не зябнул. Стояла осень, а мальчик был голым, и старому Беслану казалось, что мальчик может замерзнуть.

Со всего Чегема приходили люди полюбоваться ребенком, жившим с оленями. Мальчик ужасно тосковал по своей оленьей семье и ничего не ел целых пять дней. Старый Беслан давал ему хлеб, мед, сыр. Он приносил ему свежей травы, просяной соломы, но мальчик ничего не ел — ни человеческой еды, ни еды травоядных.

А люди приходили, рассаживались на скамьях вокруг него, гадали откуда он, кто он и что все это предзнаменует. К вечеру пятого дня старый Беслан принес ему охапку ореховых веток, шелестящую желтеющими листьями и бросил ее у ног мальчика, надеясь, что, может быть, он соблазнится этим козьим лакомством. И тут мальчик вдруг заговорил человеческим голосом, потому что человек ко всему привыкает, он привыкает даже к людям.

— Ты бы мне ешу охапку папоротников принес, — сказал он старому охотнику, — лучше дай мне молока... козьего, раз у вас нет оленьего...

Тут чегемцы страшно удивились, что он заговорил по-человечески, хотя до этого не уставали удивляться, что он ничего не говорит человеческим языком.

Старый охотник дал ему большую глиняную кружку молока, мальчик выпил его и стал говорить с людьми.

— Сначала отвяжите меня, — сказал мальчик, — я теперь никуда не убегу. Видно, судьба мне жить с вами, с людьми.

— Чей ты сын, — спросили чегемцы, — давно ли ты попал в лес?

— Не знаю, — сказал мальчик, — я людей никогда не видел. Меня мать-олениха ребенком нашла в кустах и выкормила.

— Как?! — удивились чегемцы, — ты никогда не видел человека, а сам разговариваешь с нами, да еще на нашем абхазском языке? Разве это слыхано?

— Слыхано, раз слышите, — сказал мальчик, — вы за пять дней мне здесь все уши прожужжали. К концу второго дня я уже все понимал, что вы говорите. Дело в том, что олени говорят глазами. И я понимаю

язык глаз. И вы, люди, когда говорите ртом, одновременно говорите глазами, я, сравнивая то и другое, научился понимать значение слов, которые вы говорите.

— Чудо-мальчик, — воскликнули чегемцы, — божий сын!

— Придется мне наказать своего пастуха-грека, — вдруг сказал один из чегемцев, — он у меня целый год пастушит и до сих пор не может говорить по-абхазски!

— Глупец, — сказал мальчик, глядя на него своими большими оленьими глазами, — он же не знает языка глаз, потому ему трудно быстро заговорить на чужом языке.

— Откуда ты узнал, что он глупец?! — поразились чегемцы, переглядываясь. Они в самом деле считали этого своего земляка самым глупым человеком Чегема.

— Сначала по глазам, — пожал плечами мальчик, — а потом и по его словам.

И тут вдруг старый охотник Беслан расплакался.

— Чегемцы, — сказал он, — вы знаете, как погибли трое моих сыновей. Жена моя умерла от горя, оплакивая своих мальчиков. Наш бог, Великий Весовщик Нашей Совести, послал мне этого мальчика в утешение, чтобы было кому радовать меня на старости лет и было кому закрыть мне глаза в смертный час.

— Не плачь, — вдруг сказал мальчик и подойдя к старому охотнику, прижался к нему, отчего тот еще сильнее расплакался.

— В прошлом году, — добавил мальчик, — когда волк зарезал моего брата-олenenка, мама-олениха долго плакала. Мне ужасно больно, когда кто-нибудь плачет. Я буду утешать твою старость, но дай мне слово никогда не охотиться на оленей!

— Клянусь моими погибшими сыновьями, — воскликнул старый охотник, — я никогда не буду больше охотиться на оленей!

— Хорошо, — сказал мальчик, — я всегда буду жить с тобой... Дайте мне одно из человеческих имен, раз вы без этого не можете.

— Нарекаю тебя Джансухом, — воскликнул старый охотник, — в честь моего младшего сына.

— Джансuh-Сын Оленя, — сказали чегемцы, — так будет лучше. Они еще долго сидели в доме старого охотника, а потом разошлись, разнося весть о мальчике, воспитанном оленихой и овладевшим человеческой речью в пять дней. На самом деле он овладел ею в два дня.

Так Джансuh-Сын-Оленя зажил в доме старого охотника и не было сына добрей и мальчика понятливей и сообразительней. Он в один месяц овладел всеми обычаями абхазцев, а обычаев этих так много, что абхазцы и сами иногда путаются в них.

В первое время ему трудно было привыкнуть к одежде и он все норовил бегать голым, но потом и к одежде приучился. Играть он тоже в первое время любил с козлятами и телятами, а с детьми не играл.

Он с ними начинал говорить о разных мудрых вещах, которые дети не понимали. Но потом, поняв, что дети его не понимают, он стал с ними играть, как с телятами и козлятами.

Мальчик только долго еще не мог привыкнуть к виду человека, сидящего верхом на лошади. Сначала он принял верхового человека за какое-то диковинное животное, но потом и к этому постепенно привык.

Однажды, когда чегемцы стали разбегаться перед взбесившейся буйволицей, он спокойно подошел к ней и вынул у нее из глаза кусочек коры, разъяривший буйволицу.

— Откуда ты узнал, — спрашивали чегемцы, — что она разъярилась из-за этого?

— Язык буйволов очень похож на олений, — сказал мальчик, — примерно так, как язык убыхов похож на абхазский.

Через десять лет о Джансухе-Сыне Оленя уже знала вся Абхазия. Он жил со своим старым отцом, хорошо хозяйствовал, щедро давал людям мудрые советы и довольно точно предсказывал погоду и разные события.

Хотя советы его иногда оказывались не самыми правильными, а предсказания порой не сбывались, люди не слишком огорчались. Люди, обдумывая и обсуждая советы и прорицания Джансуха, всегда убеждались, что ошибки Сына Оленя бывали следствием его излишнего благородства.

Например, если он, рассчитывая поступки подлеца, предсказывал его поведение, то оно нередко оказывалось подлее, чем думал Джансух. А если он предсказывал поведение доброго человека, то и доброта этого человека, увы, оказывалась ниже той зарубки, которую сделал Джансух.

Постепенно люди, приходящие за советом или предсказанием Джансуха, стали подправлять его слова.

— Если Сын Оленя, — говорили они, — предсказывает, какую подлость учинит подлец, подбавь от себя немного подлости и попадешь в самую точку.

— Если Сын Оленя, — говорили другие, — предсказывает доброе дело добряка, убавь от себя доброты и попадешь в самую точку.

Однако скоро выяснилось, что от этого прибавления и убавления предсказания Джансуха стали еще реже сбываться. Дело в том, что люди, прибавляя подлости подлецу и убавляя доброту добряка, очень уж усердствовали, и получалась полная неразбериха.

— Этот Джансух-Сын Оленя совсем нас запутал, — злились самые глупые, — уж лучше бы он нам ничего не предсказывал.

— Нет, — говорили более благоразумные, — лучше будем делать так, как он говорит, ничего не прибавляя и не убавляя.

И люди в большинстве своем стали придерживаться советов

и предсказаний Сына Оленя, чувствуя, что к его советам и предсказаниям не мешало бы немного прибавить огорчения или убавить надежды. Однако, боясь запутаться, не решались.

— Ох, и разорит меня этот Джансух, — бывало, говорил какой-нибудь скупердяй, получив от него хозяйственный совет. Все же он поступал так, как велел Джансух, боясь, что иначе будет еще хуже.

До двадцати лет, несмотря на всякие мелкие огорчения, вызванные хронической глупостью многих людей, Джансух жил счастливо. Он был хорош собой, силен, ловок, имел легкую оленью походку и был мудр, как сто мудрецов, собранных в одном месте и согласных друг с другом. Но так как сто мудрецов, собранных в одно место, начинают спорить и отрицать друг друга, Джансух был мудрее, чем сто мудрецов.

Порой, когда он слишком уставал от человеческой глупости и жестокости, он уходил в лес, находил там маму-олениху и садился рядом с ней, припав к ее груди и обняв ее за шею.

— Мама, — говорил он, — я так устал от них. Люди мешают любить себя.

Если он не находил маму-олениху, он находил других оленей и спрашивал у них о том, как живет мать-олениха и как она себя чувствует. Другие олени ему рассказывали, что мать-олениха жива-здорова, и Джансух, утешенный, возвращался в Чегем.

К этому времени чегемцы в благодарность за мудрость Джансуха отказались от охоты на оленей, и олени очень близко подходили к селу. Так что Джансух, уходя в лес, если не встречал маму-олениху, все равно встречал какого-нибудь оленя и передавал ему весточку для нее.

Отец Джансуха, старый Беслан не мог нагордиться своим сыном, и закатыные дни его старости были озарены тихим счастьем. Но всему приходит срок и пришел срок жизни старому Беслану.

Он стал умирать. Чегемцы вызвали лекаря из Диоскурии и тот, важно осмотрев старика, сказал, что у него слишком сгустилась кровь и ему надо отворить жилы.

— Глупец, — сказал старый Беслан, — зачем мне отворять жилы? Я же умираю не от болезни, а от старости. Разве от старости есть лекарство?

— Ну, знаете! — оскорбился лекарь из Диоскурии, в свое время отворявший жилы константинопольским купцам и гордившийся этим, — Тогда зачем вы меня позвали?

— Для людей, — объяснили чегемцы, дежурившие у постели больного, — люди скажут, что Джансух загордился и даже лекаря не вызвал к умирающему отцу. Лучше волокни в Диоскурию приносящихся тебе трех баранов и там отворяй им жилы.

— Ну, знаете! — повторил лекарь, однако, сев на ослика, повололок

в Диоскурию трех заработанных баранов.

Перед самой смертью старый Беслан велел всем выйти из комнаты и, оставшись один на один с Джансухом, сказал:

— Сын мой, я тебе должен открыть одну тайну, потому что покидаю этот мир, как и положено всякому отжившему человеку. Я хочу уберечь тебя, сын мой, от страшной опасности. В нашем доме есть комната, закрытая на три замка. Я никогда ее не открывал и ты, зная, что я не хочу тебе о ней говорить, никогда не спрашивал. Теперь пришло время рассказать о тайне закрытой комнаты.

Множество лет тому назад, на мою беду, в мой дом пришел бродячий художник и стал умирать от лихорадки.

И он мне сказал перед смертью:

— Я нарисовал портрет самой красивой девушки, которая когда-либо жила на земле. Это заколдованная, вечно юная красавица Гунда, сестра знаменитых семи братьев великанов. Они живут на самом западном краю Абхазии недалеко от села Пшада.

Я прошу тебя, сохрани этот портрет и никому никогда не показывай его, потому что каждый, кто увидит этот портрет — влюбится в красавицу и попытается жениться на ней. А свирепые братья-великаны каждому жениху обещают отдать свою сестру только в том случае, если он выполнит все испытания по сноровке ума и тела, которые они придумали. А если жених не справится со всеми испытаниями, они его убивают. Такие у них условия.

Черепки неудачливых женихов нахолобучены на колья изгороди вокруг двора великанов. Два неудачливых жениха погибли, пока я рисовал портрет юной красавицы. Я в нее не влюбился, потому что перенес влюбленность на портрет, который рисовал. Этот портрет должен остаться в веках, чтобы люди видели, как красива может быть девушка и каким божественным мастером был я, художник Нахар.

Клянись нашим богом, Великим Весовщиком Нашей Совести, что ты навсегда сохранишь мой портрет, чтобы он дошел до потомков!

— Клянусь! — сказал я ему и художник умер.

Я его предал земле со всеми полагающимися почестями. Потом перебирая его бедные пожитки, нашел портрет, завернутый в леопардовую шкуру, и не разворачивая шкуры, отнес его в комнату и запер дверь на три замка.

С этого начались мои беды. Оказывается, все три мои сына, поочередно выкрадывали у меня ключи, проникали в запертую комнату, смотрели на портрет, влюблялись в красавицу и тайно уходили из дому попытать счастья. Трое моих сыновей в одну неделю погибли от руки братьев-великанов. Но я тогда об этом не знал, я думал, что они погибли на охоте.

Пытаясь найти их следы, я ходил по всей Абхазии. В конце концов, расспрашивая людей, встречавшихся с ними, я понял, что все они

шли в сторону дома братьев-великанов. Жена моя умерла от горя, оплакивая своих детей.

Но вот на старости лет Великий Весовщик Нашей Совести сожалелся надо мной и послал мне тебя. Я молю тебя никогда не входить в эту комнату, где лежит портрет этой красавицы. После гибели сыновей я его развернул и снова завернул уже в три шкуры. Пусть он там лежит пока не умрут великаны или пока не найдется джигит, который выполнит все их условия, и она, наконец, выйдет замуж.

— Значит, отец, ты видел портрет? — не удержался Джансух и спросил. Ведь ему было двадцать лет и он уже мечтал о необыкновенной девушке.

— Да, — ответил старый Беслан.

— Ну, и как она? — не удержался Джансух.

— Не знаю, сынок, — вздохнул старый охотник, — я не заметил ее красоты, потому что на ней была кровь моих сыновей.

Джансух дал слово отцу никогда не входить в комнату с портретом красавицы, и старик умер. Джансух помог ему унять последние вздоги тела, мучающегося от необходимости расстаться с душой, как помогают роженице. И когда душа ушла из тела, Джансух прикрыл веками опустевшие глаза отца.

Джансух похоронил старого Беслана со всеми почестями и стал жить один в своем доме. День и ночь он думал о портрете красавицы, но не смел открыть комнату, где он хранился. Сердце Джансуха разрывалось. Его жгло любопытство, но он не смел нарушить слово, данное отцу. Может быть, он и нарушил бы данное слово, но он боялся, что если влюбится и его попытка жениться на красавице Гунде кончится неудачей, он не сможет справить годовщину смерти отца. Джансух был благочестивый сын и хотел, чтобы мертвый отец получил все, что положено по абхазским обычаям.

Через год, справив годовщину смерти отца, Джансух открыл комнату, где лежал портрет. Запах затхлости и гнили плохо обработанной кожи ударил ему в ноздри.

Портрет, завернутый в леопардовую шкуру, лежал на столе в пустой комнате. Джансух развернул леопардовую шкуру и увидел, что под ней шкура дикой свиньи. Джансух развернул шкуру дикой свиньи и увидел, что под ней шкура осла. Джансух развернул шкуру осла и увидел портрет. Он повернул его к окну и, пронзенный нежной красотой златоголовой девушки, потеряв сознание, упал.

Придя в себя, он еще долго рассматривал портрет девушки, продолжая сидеть на полу и потирая ушибленную голову. Боль в ушибленной голове смягчала впечатление от головокружительной красоты девушки.

Наконец, насмотревшись на портрет, он встал, бережно завернул его на этот раз только в леопардовую шкуру и положил его на стол.

Удивляясь отцу и не понимая, зачем он завернул портрет в три шкуры, он вынес шкуры осла и дикой свиньи, запер комнату на три замка и бросил обе шкуры в огонь очага. Джансух уже был влюблен.

Какая же она в жизни, — думал он, глядя, как коробятся, словно корчатся в огне шкуры дикой свиньи и осла. Я умру, думал Джансух, или освобожу ее от братьев-извергов, которые погубили столько невинных людей.

На следующий день, рано утром Джансух пошел в лес, чтобы встретиться с матерью-оленихой и рассказать ей, что он хочет жениться на красавице Гунде, которая живет на краю Абхазии, недалеко от села Пшада, вместе со свирепыми братьями великанами.

Но маму-олениху в окрестностях Чегема он не нашел, зато встретил других оленей и передал им, чтобы они рассказали матери о его решении. Вернувшись домой, он надел свою лучшую черкеску с серебряным поясом и кинжалом и натянул на ноги мягкие чуваки. Он перекинул через плечо плотно скатанную бурку, увязанную ремнем. Через другое плечо перекинул хурджин, в котором лежал круг сыра, кусок вяленого мяса и дюжина чурчелин. Попросив соседей, чтобы они присматривали за его скотом, он, никому ничего не говоря, двинулся в путь. К полудню второго дня своего пути, он вышел на тропу, которая проходила мимо пахоты. И тут вот что предстало перед его глазами. Остановив быков на борозде, пахарь, нагнувшись, ел землю большими ломтями, то и дело приговаривая:

— До чего же вкусная, черт подери, до чего жирная земля!

И хотя земля в самом деле была сочная и жирная, Джансух, конечно, очень удивился такому необычайному зрелищу. Джансух постоял-постоял, глядя на пахаря, уплетающего землю, а потом не удержался и окликнул его:

— Приятного тебе аппетита, пахарь, — крикнул Джансух, — хотя я впервые вижу, чтобы человек ел землю!

— Здравствуй, путник, — отвечал пахарь, сглатывая большой ком земли, — дело в том, что та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным, запаздывает с обедом. Вот я и решил подкрепиться...

— О ком это ты говоришь? — не понял его Джансух.

— Ну, конечно, о жenuшке своей, — отвечал пахарь, — о ком же еще!

— И много ты можешь земли съесть? — спросил Джансух.

— Ну, как тебе сказать, путник, — отвечал пахарь, утирая рот рукавом, — я могу съесть, примерно, столько земли, сколько ее выбрасывают наверх, когда роют колодец глубиной в сто локтей. А если глубже — не могу. Ну, разве что через силу.

Джансух внимательно оглядел пахаря. Это был плотный, упитанный, но не слишком толстый человек.

— Ничего себе, — сказал Джансух, — хотя с другой стороны человек и так ест землю, потому что питается ее плодами, а потом земля ест человека, потому что питается его трупом. Но чтобы так прямо, я никогда такого не видел.

— Это все путсяки, — сказал пахарь, — вот, если бы ты увидел Джансуха-Сына Оленя, вот кому бы ты подивился. Он самый мудрый человек в Абхазии, а, значит, считай, и во всем мире. Ни разу не слыша человеческой речи, он, услышав ее, выучил наш язык за пять дней! Слыхано ли такое?!

— Я и есть Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух, — и я в самом деле выучил абхазский язык, только не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения. Но я, признаюсь, и ломтя земли не смог бы съесть.

— Ты — Джансух-Сын Оленя?! — воскликнул пахарь, — тогда возьми меня с собой! Меня зовут Обьедало, авось, я тебе где-нибудь пригожусь!

Джансух рассказал ему о цели своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним.

— Ничего, — сказал Обьедало, — с тобой я готов идти на все!

— Ну что ж, Обьедало, идем, — согласился Джансух.

Обьедало жил неподалеку и крикнул брату, чтобы тот пришел и допахал за него поле.

— У вас в семье все такие? — поинтересовался Джансух.

— Нет, — сказал Обьедало, — я один Обьедало. Но я могу насытиться и как обычный человек — от цыпленка до барашка. А если, бывает, проголодаюсь, как сейчас, могу землицей подкрепиться. Со мной в дороге легко.

— Ну что ж, идем, — сказал Джансух и они пошли.

К полудню следующего дня они выбрались к водопаду и увидели странное зрелище. Под водопадом стоял человек, он ловил ртом белопенную струю, жадно пил ее, время от времени переводя дыхание и повторяя:

— Господи, до чего я изжаждался! Никак не могу напиться!

Долго следили Джансух с Обьедалой, как пьет воду этот человек, стоя на дне ручья, в который стекал водопад. Сейчас ручей до того обмелел, что было видно, как бьется в мелких заводях серебристая форель в золотых накрапинках.

— Да ты лопнешь, черт тебя побери! — наконец, не выдержал Джансух.

Тут пьющий водопад обернулся к ним и гордо сказал:

— Скорее дятел умрет от сотрясения мозга, чем я, Опивало, упьюсь этим хилым водопадиком... Рыб жалко, а то б еще пил...

— В первый раз вижу, чтобы человек столько воды пил, — сказал Джансух, — я в самую жаркую погоду могу не больше трех кру-

жек выпить.

— Это все ерунда, — сказал Опивало, выходя на берег, — недаром же меня зовут Опивалой. Вот если бы вы увидели Джансуха-Сына Оленя, вы бы подивились настоящему чуду! Он всем дает бесплатные советы и делает предсказания, которые сбываются даже раньше, чем он предсказал. Впервые шестилетним мальчиком услышав человеческую речь, он выучил наш язык за пять дней! Вот это чудо!

— Я и есть Джансuh-Сын Оленя, — сказал Джансuh, — в твоих словах немало правды, хотя есть и преувеличения. Ну, а насчет абхазского языка, то я его выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Спасибо Великому Весовщику, — воскликнул Опивало, — что он меня надоумил пить из этого водопада! Возьми меня с собой, Джансuh, авось я тебе пригожусь в пути.

— Ну что ж, Опивало, идем, — сказал Джансuh, — только знай...

И он ему рассказал о цели своего путешествия и о многих опасностях, связанных с ним.

— Ничего, сказал Опивало, — с тобой я готов на все! А если дело дойдет до выпивки, то скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, чем эти великаны меня перепьют!

— Слушайте, а вы похожи друг на друга, — сказал Джансuh, оглядывая упитанную, но не слишком толстую фигуру Опивалы.

Опивало и Обьедало были в самом деле похожи друг на друга. Только у Обьедалы волосы были черные, как жирная земля, а у Опивалы были волосы светло-золотистые, как вода на зорьке.

— Да-да, — сказал Опивало, ревниво оглядывая Обьедалу, — пусть становится под водопад и тогда посмотрим, на что он способен.

— Да-а, — сказал Обьедало, — пусть меня повесят на шее моей жены, если ты способен съесть хотя бы мысок, на котором ты стоишь. Съешь, а потом запьешь водопадом.

Опивало очень удивился такому предложению, но тут Джансuh ему рассказал о способностях Обьедалы, и они втроем пошли дальше.

Они пошли дальше по дороге и Джансuh им рассказывал поучительные истории, чтобы они мудрели на ходу, а также делал попутные замечания, разглядывая окружающую природу.

Однажды Обьедало сказал:

— Меня вот что удивляет, Сын Оленя. Я как-то заметил орла, который высоко! высоко! высоко! летел в небе и вдруг камнем опустился на землю. Я думал, он сейчас схватит зайца или дикую индюшку, а он сел на дохлого осла и стал его клевать. И я подивился — зачем было так высоко лететь, чтобы потом сесть на дохлого осла?

— Чем выше летает птица, тем вернее она питается падалью, — сказал Джансuh, — чем разумнее живое существо, тем вонючей его

дерьмо... Понятно я говорю, Обьедало?

— Первая часть понятна, — сказал Обьедало, подумав, — а вторая часть не совсем.

— По-моему, ты намекаешь на человека, — сказал Опивало.

— Правильно, — согласился Джансух.

— Но ведь у свиньи тоже очень нехороший запах помета, — сказал Обьедало, ревнуя Опивалу за то, что тот понял намек, а он не понял.

— К сожалению, ты прав, — согласился Джансух, — это только доказывает, что у свиньи много сходства с человеком или у человека много общего со свиньей.

— Но, Джансух, — воскликнул добрый Обьедало, — может, хотя бы в будущем, человек отойдет от свиньи!

— Будем надеяться, — сказал Джансух, — отчасти в этом смысл нашей с вами жизни.

— Или свинья отойдет от человека, — добавил Опивало.

— Я вижу, друзья, — сказал Джансух, — наше путешествие идет вам впрок.

Когда они вечером, расстелив бурку, поужинали у костра, Джансух решил познакомить своих спутников с поэзией. Оказалось, что ни Обьедало, ни Опивало никогда не слышали настоящих стихов. Правда, они оба любили народные песни. Особенно много застольных песен знал Опивало.

— Где пьется, — поучительно заметил Опивало, — там поется.

— Нет, — сказал Джансух, — я имею в виду совсем другое. Вот я вам прочту стихи древнеабхазского поэта, а вы догадайтесь, о чем они.

И он прочел им такие стихи:

Скорпион влез
На белый цветок
И умер от неожиданности.

Опивало посмотрел на Обьедалу и сделал вид, что он понимает о чем эти стихи, но не хочет говорить. Обьедало тоже посмотрел на Опивалу и сделал такой же вид.

— Так что же? — спросил Джансух.

— Я-то догадываюсь, — сказал Опивало, который был похитрей Обьедалы, — но если я скажу, Обьедало тут же станет уверять, что и он так думал.

— И не собираюсь, — обиделся Обьедало, — подумаешь, умник-водохлеб. Считай, Джансух, что я не знаю, о чем эта притча.

— Ну, а ты? — спросил Джансух у Опивалы.

— Я думаю, — сказал Опивало, — что скорпион влез на белый

цветок, а цветок-то оказался ядовитым! Вот он и умер!

— Нет, — сказал Джансух, — я вижу, вам пока нужно объяснять смысл поэзии. Вот что хотел сказать поэт. Скорпион сам черный, мысли у него черные и дела у него черные. И он думал, что все на свете черное. И вдруг он увидел белый цветок и понял, что вся его жизнь неправильная и он от этого умер.

— А-а-а, — сказал Опивало, — вот оно как! Здорово придумано!

— Но не сразу допрешь, — добавил Обьедало довольный, что Опивало тоже, оказывается, не понимал стихотворения, как и он.

— Ничего, — сказал Джансух, — постепенно привыкнете.

С этим они улеглись у костра на расстеленной бурке и уснули.

На следующий день Джансух и его друзья шли по цветущей весенней долине. Дикие груши и алычевые деревья под легким ветерком осыпали нежно-розовые лепестки. Каждое деревцо алычи, опушенное цветами и брызжущей свежестью зеленью, напоминало Джансуху о любимой девушке и о доблести подвига, наградой за который и будет прекрасная Гунда, сестра свирепых и хитрых братьев-великанов.

— Вот я вам все рассказываю да рассказываю, — сказал Джансух своим друзьям, — а теперь расскажите вы что-нибудь из своей жизни. Например, удалось ли кому-нибудь из вас совершить подвиг. Мне, к сожалению, еще не удавалось.

— Да, — сказал Обьедало, подумав, — был у меня в жизни подвиг.

— Конечно, — подхватил Опивало, — если у меня что хорошо получается, так это подвиг.

— Хочу быть повешенным на шее моей любимой жены, — сказал Обьедало, — если мой подвиг не лучше твоего.

— Скорее дятел, долбящий дерево, умрет от сотрясения мозга, — воскликнул Опивало, — чем твой подвиг окажется лучше моего.

— Не спорьте, друзья, — сказал Джансух, — лучше расскажите каждый о своем подвиге. Ты начинай, Опивало!

Вот что рассказал Опивало. Оказывается, в одном абхазском селе было озеро, откуда люди брали питьевую воду. И в этом озере завелся дракон. И он почти каждый день хватал одну из женщин, которые приходили туда за водой или постирать. Никто не мог убить дракона, потому что он прятался в глубине озера и оттуда, неожиданно поднырнув, хватал зазевавшуюся женщину.

Узнав о безобразиях дракона, Опивало сам пришел в это село и предложил свои услуги. Он велел всем мужчинам села с копьями и стрелами в руках стоять вокруг озера. А сам подошел к воде, наклонился и стал пить, время от времени поглядывая, чтобы дракон не поднырнул к нему. Опивало пил озеро четыре дня и четыре ночи подряд и выпил почти всю воду, так что дракон к утру пятого дня заметался на мелководье. Тут мужчины, окружавшие озеро, стали осыпать его стрелами и копьями. Дракону оставалось только одно — сдохнуть, что он и

сделал.

Жители села в честь своего освобождения от дракона устроили пир и пригласили на него Опивало. Опивало поблагодарил их и сказал:

— Садитесь за стол, друзья. Я подсяду к вам попозже. Раз я пил озеро четыре дня и четыре ночи, я должен, извините, что об этом говорю, но я должен шесть дней и шесть ночей мочиться. А потом я подсяду к вам и догоню вас.

— Ладно, — сказали жители, — мы сядем за столы, а ты помочись вон в тот ручей, потому что мы из него все равно воду не берем, он мутный. А потом приходи к нам. Небось, догонишь.

— Думаю — догоню, — сказал Опивало и, найдя укромное место у ручья, принялся, как говорят абхазцы, сливать воду. Может, это выражение появилось у абхазцев именно с того времени.

К несчастью, ни сам Опивало, ни жители села на радостях не учли, что он слишком много воды выпил. Как никак целое озеро. К концу шестого дня ручей вздулся и смыл дом, стоявший над ним. Три козы, не успевшие удрать из загона, и сам хозяин дома были унесены, мягко говоря, потоком.

Хозяина пытались спасти, но это не удалось, потому что он был слишком пьян.

— Тут бы и пожить! — оказывается, успел он сказать напоследок, уносимый разбушевавшейся, так сказать, стихией.

Оказывается, накануне прихода Опивалы дракон сожрал жену этого человека. По такому серьезному поводу он стал пить, хотя было неясно — пьет он с горя или от радости. Пил он не выходя из дому, поэтому о нем подзабыли и не пригласили на пиршество. И теперь, когда его унес вздувшийся ручей, все гадали, что бы означали его последние слова, то ли: „Тут бы и пожить!“ — без дракона, то ли: „Тут бы и пожить“ — без жены.

— Без дракона и без жены, — сказал Джансух, выслушав рассказ о подвиге Опивалы, слегка омраченный гибелью пьяницы и трех коз.

— Неплохой подвиг, — согласился Обьедало, выслушав Опивалу, — но должен сказать — я был в этом селе. То, что ты называешь озером, правильней было бы назвать озерцом. К тому же у тебя погиб человек и три козы. Человек это человек, а три козы — это неплохая закуска.

— Рассказывай про свой подвиг, — отвечал Опивало, — может, ты съел полгоры, да людям от этого какая польза?

— А вот какая, — отвечал Обьедало и рассказал о своем подвиге.

Оказывается, на их село напали лазы, перебили многих мужчин, а тех, кто не успели сбежать, связали и вместе со скотом перегнали в свое село. Там их, то есть людей, а не скот, поместили в крепостной тюрьме, собираясь их, то есть людей, а не скот, продать в рабство.

И тут Обьедало совершил свой подвиг. Он вместе со своими одно-

сельчанами начал делать подкоп, чтобы вылезти из крепости. Но лазы тоже не дураки: они каждый день проверяли свою крепостную тюрьму, чтобы посмотреть, нет ли там откопанной земли. Но откопанной земли не было, потому что Обьедало ее всю съедал.

И это был труднейший подвиг, потому что земля из-под тюрьмы самая невкусная, самая непитательная в мире. Все же Обьедало давилось, но ел. До этого он ел жирную землю пахоты, душистую землю огородов, ел сладостную, слоистую, как халва, землю речных обрывов, но земля под тюрьмой была самая невкусная, самая мертвая в мире.

Но Обьедало старался и, сделав подкоп, сбежал из тюрьмы вместе со своими односельчанами.

— Всякая крепость всегда тюрьма, — сказал Джансух, выслушав Обьедалу, — если побеждают те, кто осаждал крепость, они делают из нее тюрьму для тех, кто ее защищал. Если побеждают те, кто защищал крепость, они сажают в крепость тех, кто ее осаждал, как бы говоря: — Вы стремились в нее? Вот и посидите в ней.

Так, разговаривая о всякой всячине, они шли по дороге, а вскоре подошли к большому селу, возле которого их ждали старейшины села.

— Говорят, — сказал самый старый из старейшин, поздоровавшись с путниками, — по этой дороге идет Джансух-Сын Оленя. Вы не встречали его?

— Я Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух, — только не говорите о моей мудрости и о том, что я абхазский язык выучил за пять дней, тем более, что выучил я его за два дня, но это не имеет значения.

— Хорошо, — согласились старейшины, — хотя не скроем — нам хотелось поговорить о твоей мудрости.

— Вот в чем дело, Джансух, — продолжал один из старейшин. — Здесь месяц назад прошел старик вполне почтенного вида. В одной руке он держал обыкновенную палку, которую мог бы держать любой старик его возраста. Это нас не удивило. Нас удивило другое. Нас удивило то, что в другой руке он держал перекинутый через плечо посох. И это нас продолжает удивлять до сих пор.

Почему он держал запасной посох? Нет ли в этом для нас дурного предзнаменования? Не ожидает ли нас изгнание столь долгое, что одной палки в дорогу не хватит, а надо будет припасти другую?

— Не тревожьтесь, — сказал Джансух, — в этом нет для вас никакого предзнаменования. Просто этот старик очень скупой. Он, видимо, надеется с новеньким посохом отправиться в другой мир. Сейчас он, наверное, направляется в Диоскурию. У входа в город он выбросит простую палку и будет идти с посохом, чтобы в долгой дороге не сточить его наконецник.

— Неужто? — удивились старейшины.

— Да, — сказал Джансух, — больше в этом ничего нет. Вот так

сельчане до города идут босиком, а уж там надевают свои чуквяки.

— Ну и скупердяй, — сказали старейшины, — мы не такие. Уж мы угостим вас, чем бог наш, Великий Весовщик, послал.

В доме одного из старейшин накрыли столы и хотя Джансух просил своих друзей не слишком усердствовать, Обьедало, сдерживаясь изо всех сил, съел трех ягнят, сваренных в молоке, двух индюшек и дюжину цыплят, поджаренных на вертеле. Опивало выпил десять кувшинов вина и когда пришло время пить за старейшин, он спросил у них:

— Будем пить за каждого отдельно или за всех сразу?

— За всех сразу, — хором ответили старейшины, и Опивало выпил за них последний кувшин вина.

Друзья, попрощавшись с гостеприимными хозяевами и взяв дорожную снедь, двинулись дальше.

На следующий день они оказались на широком горном склоне, радующем глаза доброй мощью весеннего цветения. Кусты боярышника, густо усеянные белыми цветочками, издавали волнуемый горько-миндальный запах и напоминали влюбленному Джансуху стыдливо заневестившихся девушек.

А стайки ромашек, трепыхавшиеся на ветерке, напоминали ему расшалившимся деревенским девушкам, выбежавшим на весенний луг, а яркие, синие незабудки тайли вечную загадку девичьих глаз.

И все округлости травянистых холмов, и все округлости цветущих кустов и все округлости густолиственных деревьев напоминали Джансуху о празднике встречи с возлюбленной Гундой.

И тут, на этом цветущем склоне горы, Джансух со своими товарищами увидели пастуха, пасшего множество длинноухих зайцев. Пастух был высоким, стройным молодым человеком. На его ноги у самых щиколоток были надеты небольшие жернова. Чуть какой заяц запрыгает в сторону, пастух его мигом нагоняет и поворачивает назад.

— Что за чудо, — удивился Джансух, поздоровавшись с ним, — впервые вижу человека, который пасет зайцев, да еще так проворно бегают с жерновами на ногах.

— Да ерунда все это! — махнул рукой пастух, — вот если бы увидели Джансуха-Сына Оленя...

— Я, я — Джансух, — сказал Джансух, — только ни слова о моей мудрости...

— Ты — Сын Оленя, — изумился пастух и подпрыгнул от радости, — так значит это ты делаешь предсказания, которые сбываются даже раньше, чем ты предсказал! Так это ты выучил наш язык всего за пять дней!

— Да, я, — сказал Джансух, — только люди кое-что преувеличили, а кое-что преуменьшили. Так, например, я абхазский язык выучил в два дня, но дело не в этом...

— Великий Весовщик Нашей Совести, — воскликнул пастух, — ты утолил мою мечту! Я увидел Сына Оленя! Джансух, возьми меня с собой. Я — скороход. Авось, где-нибудь понадобится тебе моя скорость!

— А как же твои зайцы? — спросил Джансух.

— Ну, — сказал Скороход, — дальше этого хребта они не убегут. Когда надо будет, я сниму жернова и соберу их.

Тут Джансух объяснил ему цель своего похода и связанные с ней опасности. Скороход слушал его и, предвкушая радость, прыгал на месте так, что искры сыпались из жерновов, задевающих друг друга.

И они пошли дальше. На следующий день друзья вышли на альпийские луга, где травы было по пояс, а вершины гор на жарком полуденном солнце сверкали свежим, аппетитным снегом, а крутые склоны прорезывали величавые водопады.

— Нет большего удовольствия, — сказал Опивало, — как в жару поустойчивей стать под ледниковым водопадом, чтобы струя не сбила тебя с ног, разинуть рот и часа два попить горной воды.

— А по-моему, — сказал Обьедало, — нет большего удовольствия, как в жару подняться на снежную вершину и вылизать ее всю, пока под языком не зашершавятся ее каменистые склоны.

— Сын Оленя, — спросил Скороход, — я обычно пасу своих зайцев в горах и сколько ни люблю альпийскими лугами и снежными вершинами, никак не могу налюбоваться. Горы — самое красивое место на земле или мне так кажется, потому что я очень чувствительный?

— Думаю, вот в чем дело, — сказал Джансух, — горы — это место самое приближенное к небу. Земле хочется, чтобы богу первым делом бросалась в глаза ее лучшая часть. Опять же, если бог посылает на землю своего ангела, лучше если он приземлится в самом красивом месте, а потом уже постепенно привыкает к некоторым некрасивостям земной жизни.

— Точно, — сказал Обьедало, — вот так и люди в деревне всегда встречают гостя хлебом-солью, хотя не всегда они добры и гостеприимны.

Так, разговаривая, они шли по горной тропе, а вокруг на склонах дымились пастушеские шалаши, паслись табуны коней, стада овец, коз и коров.

В одном месте тропинка проходила мимо пастушеского шалаша, где пастух, стоя на коленях возле открытого очага, раздувал огонь.

— Обратите внимание, — сказал Джансух, — на этого пастуха, какое у него красивое лицо! Всегда, когда человек раздувает огонь, у него красивое лицо.

— Точно, — воскликнул Обьедало, — я это тоже часто замечал. Когда та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суж-

дено быть повешенным, раздувает огонь, она мне кажется очень красивой женщиной. А когда она меня ругает, она мне кажется ужасной уродкой. И тогда я не хочу быть повешенным на ее шее и вообще не хочу быть повешенным.

— До чего же мне надоело слышать о твоей жене, — перебил его Опивало, — чтобы вас обоих, тебя и твою жену, повесили на одной перекладине!

— Нет, — сказал Обьедало, подумав, — так я не согласен. Если нам обоим суждено быть повешенными, я хотел бы, чтобы сначала меня повесили на ее шее, а потом ее, голубку, на моей шее. Вот как я хотел бы!

— Да кто у тебя, дубина, будет спрашивать твоего согласия? — горячился Опивало, — если царь велит вас повесить, так вас и повесят на одной перекладине!

Так я не согласен, — возразил Обьедало, подумав, — только на моих условиях я согласен быть повешенным.

— Джансух, он меня сведет с ума! — воскликнул Опивало, — да кто у тебя будет спрашивать, болван, если сам царь велит!

— Остаюсь при своем мнении, — сказал Обьедало, подумав, — и при той, на шее которой...

— Джансух, воскликнул Опивало, — я больше не могу!

— Друзья, не ссорьтесь, — сказал Джансух, — лучше продолжим беседу о раздувающем огонь. У раздувающего огонь всегда красивое лицо, потому что раздувание огня — угодное богу дело. Душа человека — тоже огонь, который нам надлежит раздувать.

— На душу Опивалы, — вдруг сказал Обьедало, — лилось столько воды и вина, что она у него давно погасла.

— Вот это дурень! — хлопнул в ладони Опивало, — он думает, что когда вода и вино проходят через горло, они задевают душу. Конечно, душа человека расположена там, где горло переходит в тело, но она не имеет выхода к пищеводу, хотя расположена близко. Это видно хотя бы из того, что когда душа от гнева раскалена, стоит выпить холодной воды и ты успокаиваешься. Но прямо пищевод с душой не связан. Иначе бы ты, землеед, давно бы похоронил свою душу в съеденной земле.

Пока они так говорили, пастух раздул огонь, пододвинул полешки и оглянулся на путников. Он привстал, поздоровался с ними и пригласил их в шалаш.

— Нет, — сказал Джансух, — нам останавливаться некогда. Мы в пути. Но не кажется ли тебе, что пора спуститься в село и принести соли-лизунца твоим овцам и коровам!

— Правда, — согласился пастух, — давно пора, да все некогда было. Завтра собираюсь. Подождите немного. Я подымусь к своему стаду и через полчаса буду здесь с овцой. Зарежу ее и угощу вас моло-

дым мясом, которое мы запьем кислым молоком из бурдюка.

— Спасибо, — сказал Джансух, — но мы спешим по делу.

— Да и за полчаса баранчика сюда не пригонишь, — пошутил Скороход, подмигивая друзьям.

— Да и баранчика мы вятером не одолеем, — подхватил шутку Обьедало.

— Да и свежий бурдюк с кислым молоком не стоит открывать, — добавил Опивало, — мы его до конца не выпьем, а оно тогда забродит.

— Не беда, — сказал простодушный пастух, — забродит — собакам сольем. Доброго вам пути, раз вы спешите.

— До свиданья, — попрощались друзья и двинулись дальше.

— Пойдите! — вдруг окликнул их пастух.

Друзья оглянулись. Лицо пастуха выражало растерянность и удивление.

— Путник, — обратился он к Джансуху, — как это ты узнал, что у меня кончились запасы лизунца? Ведь ты и в шалаш ко мне не заходил!

— Очень просто, — сказал Джансух, — я видел, как две твои коровы и несколько овец лизали белые камни.

— Точно! — ударил пастух ладонью себя в лоб, — ты мудр почти как Джансух-Сын Оленя.

— А он и есть... — начал было Обьедало, но тут Джансух незаметно толкнул его и Обьедало замолчал.

— Что он и есть? — спросил пастух?

— Он и есть то, что он есть, — сказал Опивало.

— А-а-а, — закивал головой пастух и стал насаживать вяленое мясо на вертел. Обьедало незаметно облизнулся и друзья пошли дальше.

Вечером Джансух со своими спутниками развел костер на живописной лесной лужайке, они поужинали, чем бог послал и, сидя у костра, разговаривали о всякой всячине.

— Друзья мои, — сказал Джансух, — не скрою от вас, что я волнуюсь перед встречей с прекрасной Гундой. Я чувствую, что великанов я, пожалуй, одолею, но я ничего не знаю о семейной жизни людей. Я знаю, как мама-олениха жила со своим оленем, но к своему отцу я попал, когда тот уже был вдовцом. Расскажите мне о ваших женах. Какие у них нравы, как с ними надо обращаться. Начнем с тебя, Скороход.

Скороход в это время, сняв жернова со своих ног, смазывал в них отверстия бараньим жиром, чтобы они не слишком терли ноги.

— С меня, Джансух, — сказал Скороход, — как начнешь, так и кончишь, потому что я ужасно чувствительный и от этого ужасно влюбчивый. А от того, что я влюбчивый, я никак не могу жениться. Только я хочу жениться на любимейшей мне девушке, вернее, только она захочет меня женить на себе, как мне начинает нравиться другая

девушка и я даю стрекача от прежней. Однажды даже пришлось снять жернова — до того крепко вцепилась в меня одна из них, чуть не догнала. Так что, Сын Оленя, мне и рассказывать нечего о семейной жизни.

— Легкий ты человек! — сказал Джансух.

— Оттого-то и хожу в жерновах, — не совсем впопад ответил ему Скороход, продолжая смазывать бараньим жиром отверстия своих жерновов.

— Лучше я расскажу о той, — охотно начал Обьедала, но тут его перебил Опивало.

— Сын Оленя! — взмолился он, — если Обьедало скажет сейчас о той, на шее которой он хотел бы быть повешенным, я уйду от вас или огрею его головешкой! Выбирайте одно из двух!

— Ладно, — сказал Сын Оленя, — он обещает нам не говорить так.

— А он уже все сказал, — примирительно вставился Обьедало.

— Ну так вот, — продолжал он после небольшой остановки, — моя жена, то есть та... Ну, которая моя жена, очень хорошая женщина. Мы с ней живем уже десять лет и нажили пятерых детей, по которым я уже скучаю... Не говоря о той, на шее которой...

— Джансух, он опять! — вскричал Опивало.

... висят бусы, — продолжал Обьедало, очень довольный, что перехитрил Опивалу, — которым, значит, бусам, я сейчас завидую. Мы живем дружно, мирно, она все умеет делать по-хозяйству. Иногда, если она заводится в огороде или с детьми... Ну, да копуша она у меня... Так вот если она заводится и не успеет приготовить мне ужин, то кричит мне:

— Обьедало, я тебе не успела ужин приготовить! Возьми в кухне соли и перцу и накопай себе за домом свежей земли.

Я иду на выгон, окапываю большой цельный кусок дерна, густо солю его, густо перчу и съедаю. А в это время дети мои кружатся вокруг меня, хохочут и кричат:

— Папа землеед! Папа землеед!

— А в остальном у меня все, как у людей. Одним словом, я очень доволен той...

— Опять начинаешь? — вздрогнул Опивало.

— Я очень доволен той, — твердо продолжал Обьедало, — на шее которой...

— Сын Оленя! — закричал Опивало.

— ... на шее которой бусы... сердоликовые, — закончил Обьедало, очень довольный, что сумел подразнить Опивалу.

— Спасибо, Обьедало, — сказал Джансух, — мне очень понравилась твоя семейная жизнь. А теперь ты, Опивало, расскажи о своей.

— Хорошо, — сказал Опивало и кадык у него в горле так и заходил от воспоминаний о семейной жизни, — я, конечно, человек пьющий, что следует из самого моего имени. То-есть я пью, следуя за сво-

им именем. Скорее дятел...

— Джансух, умоляю, останови его! — вскричал Обьедало, — если он сейчас начнет про дятла, который умрет от сотрясения мозга, я так его тряхну вот этой головешкой по голове, что он сам умрет от сотрясения мозга! А перед смертью у него столько искр посыплется из глаз, что они затмят звездное небо, не говоря об искрах, которые посыпятся из головешки.

При этих словах Обьедалы все посмотрели на головешку, потом на голову Опивалы, а потом на небо, как бы стараясь представить, может ли из глаз Опивалы и из головешки высыпаться столько искр, чтобы они затмили звездное небо. Пожалуй, может, решили все, в том числе и сам Опивало.

— Успокойся, Обьедало, — сказал Джансух, — будем надеяться, что Опивало, как и его знаменитый дятел, обойдутся без сотрясения мозга...

— Ну так вот, — снова начал Опивало, — можно было бы сказать дятел...

— Джансух, он опять за свое! — закричал Обьедало.

— Можно было бы сказать... дятел, — упрямо продолжал Опивало, — от стукотни спятил, если б на меня, великого Опивалу, нашли Перепивалу! Но стукач-дятел пока еще не спятил!

У меня семейная жизнь тоже неплохая. Детей у меня всего трое, тут Обьедало меня обскакал. А почему? А потому что я, Опивало, великий тамада и меня все наше село приглашает в гости, чтобы я перепивал чужаков. Что я и делаю. А пиршества, как у нас водится, затягиваются далеко за полночь, и у меня редко остается время на семейную жизнь, за что меня жена, конечно, ругает. Она мне говорит, что я целую ночь пью, а целый день дрыхну.

— Выходит, ты дармоед? — вскричал Обьедало, — кто же смотрит за твоим полем и за твоим скотом?

— Соседи, — неохотно признался Опивало и добавил, — по-моему, лучше быть дармоедом, как я, чем землеедом, как ты.

— Нет, — вскричал Обьедало, — дармоедом быть намного хуже! Правда, Джансух?

— Конечно, — согласился Джансух, — дармоедом быть очень плохо.

— Да-а? — язвительно сказал Опивало, — а засухи?

— Что засухи? — спросил Обьедало.

— Кто в засухи, — спросил Опивало, — выпивает полручья, а потом ходит по всем полям нашей деревни и опрыскивает их, при этом, учтите, ртом?

— Это совсем другое дело, — сказал Джансух, — ты просто народный герой.

— Да, — скромно согласился Опивало, — народ так и говорит

обо мне... иногда. А жена ругает за то, что я так много вина пью. А я ей говорю: — Жenuшка, да, я много вина пью. Но я ведь никогда не опохмеляюсь, это ведь тоже что-то значит!

— А она мне отвечает: — Когда ж тебе опохмеляться, когда ты и так пьешь каждый день!

— Нет, женушка, — говорю я ей, — тут ты неправa. Я бы мог, заснув после выпивки, проснуться, опохмелиться и снова заснуть. Но проснувшись, я иду именно пить, защищая честь села, но не опохмеляться!

А в остальном мы живем хорошо. Иногда в солнечный день я напиваюсь чистой родниковой воды, прихожу к своим деткам и выбрызгиваю эту воду прямо в небо. Разумеется, ртом. Если не с первого раза, так со второго или третьего получается великолепная радуга, и детки кружатся вокруг меня и визжат от восторга.

И я говорю своим деткам, показывая на радугу:

— Рады дуге?

— Рады радуге! Рады радуге! — кричат мои детки, — папа, еще раз рыгни и радугни!

И я, конечно, радугаю, пока хватает воды. Вот так и живем мы с женой и детьми.

— Хорошо живете, — порадовался за друзей Джансух, — я бы мечтал о такой жизни!

— Да ты будешь жить еще лучше, — вскричали друзья Джансуха, — ты ведь самый мудрый человек Абхазии!

— Право, не знаю, — сказал Джансух, — я так волнуюсь перед встречей с золотоголовой Гундой. Ведь я грохнулся только от взгляда на ее портрет! Что же будет со мной, когда я ее увижу живой?

Друзья успокоили Джансуха и легли спать перед догорающим костром. Джансух долго лежал, глядя на огромное звездное небо и чувствуя в груди сладостную грусть.

На следующий день они пошли дальше и долго шли сквозь буковый лес. Вдруг на небольшой прогалине они увидели человека, который лежал, приложив ухо к земле и внимательно прислушивался к чему-то.

— Ты чего? — спросил Опивало.

Но человек только замахал рукой, чтобы ему не мешали. Друзья некоторое время следили за ним, а потом человек встал, отряхнул одежду и сказал, улыбаясь:

— Огласили наказание.

— Какое наказание? — удивились друзья.

— Потеха, — блаженно улыбаясь, сказал человек, — два муравья поспорили в муравейнике. Один сказал, что эту дохлую однокрылую осу притащил в муравейник он. Другой сказал, что он.

Первый говорит:

— Как же ты, когда у нее оторвалось крыло, когда я ее тащил.

Второй говорит:

— Нет, у нее оторвалось крыло именно, когда я ее тащил.

Тогда первый говорит:

— Хорошо, назови место, где у нее оторвалось крыло.

Второй говорит:

— Место не помню, но помню, что у нее оторвалось крыло, когда именно я ее тащил.

Тогда первый говорит:

— Зато я хорошо помню место, где оторвалось у нее крыло.

Муравьиный вождь послал гонца на это место, и тот в самом деле притащил осиное крыло. Ученые муравьи приладили крыло к дохлой осе и признали, что это крыло именно от этой осы.

Второй муравей был посрамлен и признал, что присвоил чужую добычу. Муравьиный вождь в наказание за присвоение чужого труда присудил лгунишку к тяжелым работам по расчленению и переноске в муравейник трех трупов майских жуков. Вот какие дела случаются в муравейнике!

— Надо же, — сказал Джансух, — я в двух шагах не могу различить шопот людей, а ты слышишь спор муравьев под землей.

— На то меня и зовут Слухачем, — сказал Слухач, — но что я! Вот если бы вы знали...

— Знаем, знаем, — перебил его Джансух.

— Что знаете? — удивился Слухач.

— Знаем, что ты хочешь сказать о мудрости Джансуха-Сына Оленя, — сказал Обьедало.

— Как ты догадался?! — поразился Слухач и вдруг, внимательно взглядываясь в Обьедалу, воскликнул: — разрази меня молния, если ты сам и не есть Джансух-Сын Оленя! Кто бы еще мог угадать мои мысли!

Услышав эти слова, Обьедало покраснел и опустил голову.

— Как же, Сын Оленя, — с большим ехидством заметил Опивало, — прямо от травы его не оторвешь... Носом в землю дышет... Вот Джансух-Сын Оленя, рядом стоит!

— Путники, это правда?! Путники, вы меня не разыгрываете?! — вскричал Слухач.

— Да — я Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух.

— Ты — Джансух-Сын Оленя! — воскликнул Слухач, — уж не ослышался ли я?! Но было бы странно, если б именно я, Слухач, ослышался! Так это ты?! Тот самый?! Наш язык за пять дней?! Предсказания! Даже раньше, чем предсказано?!

— Да нет, — сказал Джансус, — кое-что преувеличено, а кое-что преуменьшено. Так, например, абхазский язык я выучил не за пять дней, а за два, хотя это не имеет значения.

— Возьми меня с собой, — взмолился Слухач, — уж я не пропущу ни одного твоего мудрого слова.

Джансух объяснил ему цель своего путешествия и связанные с ней опасности, а Слухач радостно кивал головой, показывая свою готовность идти за ним и одновременно затыкая уши особыми пробками-глушилками.

— Без глушилок я бы умер от грохота звуков, — объяснил он друзьям свои действия.

Джансух взял с собой Слухача, и они пошли дальше.

— Джансух, — сказал Слухач по дороге, — я столько наслушался о твоей мудрости, что уши мои умирают от голода, предвкушая лакомство твоей мудрости.

— Слухи о моей мудрости преувеличены, — сказал Джансух, — но кое-что я рассказать могу. Слушайте притчу.

Один человек имел в доме буханку хлеба. К нему пришел другой человек и сказал:

— Дай мне этот хлеб, у меня дети умирают с голоду.

И владелец хлеба отдал свой хлеб этому человеку, потому что пожалел его голодных детей, хотя у него самого в этот день дети остались без хлеба. Но на самом деле человек, попросивший хлеб, никаких детей не имел, но обманом взял у него этот хлеб.

И другой человек имел буханку хлеба. Но в его дом ночью пришел вор и тихонько забрал этот хлеб.

И третий человек имел буханку хлеба, но к нему пришел человек и, убив его, забрал буханку хлеба.

И вот теперь я у вас спрашиваю: кто из трех, взявших чужой хлеб, хуже всех?

— Конечно, тот, кто убил, Джансух, — хором воскликнули друзья, — нам даже удивительно, что ты у нас это спрашиваешь!

— Нет, — сказал Джансух, — это ошибка. Хуже всех сказавший, что у него дети умирают с голоду, тот, что обманом захватил чужой хлеб. Он не постыдился изгадить душу человека и растоптать доверие человека!

— Но, Джансух, — воскликнул Слухач, — изгадить душу человека это все же не то, что убить человека!

— Истинно говорю вам, стократ хуже, чем убить, — ответил Джансух, — человек, способный изгадить душу человека, еще более способен убить человека, чем тот убийца. Просто пока ему не надо убивать, пока ему достаточно обмануть! И вор, и убийца, хотя и были разбойниками, все же учиняли свой разбой, потому что в них оставалась капля стыда! Один воровал, а другой убивал, чтобы не иметь дело с душой владельца хлеба. Этот не постыдился обмануть душу!

— Правильно говорит Джансух! — воскликнул Обьедало, — вот я чувствую, что правильно, а почему — объяснить не могу!

— Значит, врать хуже, чем убивать? — грустно спросил Скороход, потому что будучи человеком ужасно чувствительным иногда кое-что привирал, особенно девушкам.

— Не врать, но обманывать, — сказал Джансух, — это разные вещи.

— Значит, врать можно? — осторожно, чтобы не вспугнуть надежду, спросил Скороход.

— Нет, — сказал Джансух, — врать нельзя, но в редких случаях человек имеет право на ложь.

— Только в редких? — спросил Скороход, — а нельзя ли участить редкие случаи?

— Нельзя, — сказал Джансух, — вот вам притча об оправданной лжи. Один мудрец ехал через лес на своем муле. В лесу его схватил разбойник и привязал к дереву, чтобы, мучая его, выведать, где он держит свои деньги.

К счастью для мудреца, к седлу мула были приторочены бурдюк с вином и жареная баранья ляжка — дорожная снедь мудреца.

Куда спешить, решил разбойник, сначала выпью и закушу, а потом начну пытаться мудреца, чтобы узнать, где он прячет свои деньги. Разбойник выпил бурдюк вина, закусывая его бараньей ляжкой, и опьянел. Опьянев, он забросил в кусты ежевики свою секиру и заснул.

Часа через три он проснулся трезвый и стал спрашивать мудреца, куда, мол, я дел свою секиру. Мудрец, привязанный к дереву, отвечал: — Не знаю! — хотя, конечно, видел, куда он забросил свою секиру.

Они долго спорили. И тут на счастье мудреца добрые люди проезжали поблизости и, услышав их спор, схватили разбойника и связали его. А мудреца развязали. Мудрец рассказал им обо всем случившемся и достал секиру разбойника из зарослей ежевики. Добрые люди увезли связанного разбойника в Диоскурию, чтобы там его посадили в крепость, а он при этом кричал всю дорогу:

— Нет правды на земле! Мудрец меня обманул!

Но мудрец в своей незащитности имел право на этот обман. Вот в каких случаях ложь оправдана.

— Джансух просто чудо! — воскликнул Слухач и аккуратно заткнул уши своими глушилками в знак того, что он наелся мудрости своими ушами и не хочет переедать.

Друзья шли, шли, шли и вскоре вышли в живописное село, расположенное над живописной рекой Гумиста. У входа в село их встретили взволнованные старцы.

Путники поздоровались со старцами, а старцы поздоровались с путниками.

— Говорят, в нашу сторону идет Джансух-Сын Оленя, — сказал один из старцев, — вы его случаем не встречали на дороге?

— Я и есть Джансух, — сказал Джансух, — чем вы взволнованы, старцы?

— Великий Весовщик Нашей Совести прислал тебя к нам, — ответил один из старцев, — у нас несчастье. Старейшему старейшине нашего села муха влетела в ухо. А он у нас и без того глухой на одно ухо. Так она, разрази ее молния, ухитрилась влететь в здоровое ухо. Если б в глухое влетела, мы бы не беспокоились, он бы все равно ее не слышал. Так она, мерзавка, жужжит у него в здоровом уже целую неделю и мучает его. И умирать не умирает и вылететь не хочет. Замучился наш старейшина, а как ее выманить — не знаем. Вот какое у нас горе, Сын Оленя!

— Всего-то и делов, — сказал Джансух, улыбаясь старцам, — такое дело не стоит вашего волнения. Поймайте паучка, привяжите к его лапке конский волос и впустите ему в ухо. Паучок поймает муху и вы обоих вытащите оттуда.

— Спасибо, Сынок Оленя, — сказали старцы, — мы сейчас же велим сделать, как ты сказал!

Джансуха и его друзей привели в дом одного из старцев, накрыли стол и пока они там пили и закусывали, прибежал человек с благой вестью. — С первой же попытки паучок достал муху! — крикнул он ко всеобщей радости.

— Пусть он пробками, как я, затыкает уши, — сказал Слухач, — тогда ни одна муха не влетит.

— Пробками, конечно, можно, — сказали старцы, — да ведь он и так глух на одно ухо, куда же он будет годится с пробками...

— А я и с пробками все хорошо слышу, — неизвестно зачем похвастался Слухач, и друзья, уложив в хурджины дорожные припасы, двинулись дальше.

В тот вечер они устроили привал над шумной горной речушкой и долго сидели у костра, искры которого время от времени взвивались в небо, словно стараясь стать звездами.

— Джансух, — сказал Скороход, лежа на спине и глядя в звездное небо, — ты же знаешь до чего я чувствительный человек. Ученые из Диоскурии говорят, что через тысячи или сотни тысяч лет на земле не будет людей. Они вымрут. И мне ужасно тоскливо бывает от этой мысли.

Неужели будет такое время, думаю я, что солнце все так же будет вставать на небе, весна будет все так же приходить на землю, ливни все так же будут шуметь в листве, а на земле не будет ни одного человека. И мне до того тоскливо уже сегодня от мысли, что через сотни тысяч лет на земле не будет людей, что иногда просто жить не хочется. Объясни ты мне ради Великого Весовщика, правду говорят ученые из Диоскурии или они ошибаются?

— Ты интересный вопрос задал, Скороход, — ответил ему Джан-

сух, придвигая головешки к середине костра, отчего новый рой искр, пыхнув, ринулся в небо в попытке достичь звезд, — я об этом, конечно, думал. Но ты не слушай рассказы ученых-словоблудов. Эти себялюбцы, зная, что они умрут, успокаивают себя мыслью, что жизнь все равно рано или поздно кончится на земле. Но жизнь человека на земле вечна, и я вам сейчас это докажу. Но прежде вы мне ответьте на такой вопрос: — верите ли вы в бессмертие души?

— Какой же абхазец не верит в бессмертие души! — воскликнул Обьедало.

— Правильно, — сказал Джансук, — душа наша бессмертна.

Теперь подумайте, для чего Великий Весовщик создал нашу бессмертную душу?

— Должно же от человека что-то оставаться, — сказал Опивало, поглядывая на водопад, бледной полосой струящийся с горы, — человек жил, жил, жил... Случалось, пивал и не только воду — и вдруг он умирает и от него ничего не остается. Обидно как-то, Сын Оленя, честно скажу, ох, как обидно!

— В общем правильно, — сказал Джансук, — но Великий Весовщик ничего случайно не сотворяет. Он придумал нашу бессмертную душу для нашей земной жизни. Для чего? Для того, чтобы человек ужасался от мысли, что его загрязненная душа будет вечно смердеть в вечности, как горящий навоз.

— Да убережет нас от такой судьбы Великий Весовщик! — воскликнул Обьедало.

— Итак, — продолжал Джансук, — Великий Весовщик Нашей Совести создал нашу бессмертную душу для того, чтобы живые люди все время думали об этом и старались, чтобы их души в наиболее чистом виде попадали в вечность. Но если душа бессмертна для пользы земной жизни, разве не ясно, что и земная жизнь бессмертна? Разве наш Бог, Великий Весовщик Нашей Совести мог бы сотворить такую бессмысленность, при которой людей на земле уже не будет, а их бессмертная душа, созданная именно для поддержания земной жизни, продолжает пребывать в бессмысленном бессмертии?!

— О, как мудро придумал все Великий Весовщик, — воскликнул Скороход, вскакивая с бурки и радостно хлопая в ладоши, — и как ясно все объяснил Джансук! Теперь я спокоен за людей, люди будут вечно жить на земле!

— Счастье — это мед мудрости пить ушами, — сказал Слухач, — и этот мед ежедневно вливается в мои уши из уст Сына Оленя.

Сказав эти слова, он заткнул уши глушилками в знак того, что насытился сладостью мудрости и не хочет пресыщаться. Хотя Слухач все прекрасно слышал и с пробками в ушах, речи Джансуха он всегда слушал с открытыми ушами. Мудрость, — любил говорить он, надо слушать в непроцеженном виде.

— Друзья, не надо меня хвалить, — сказал Джансух наставительно, — а то вы меня можете испортить... Я ведь тоже человек...

Тут они улеглись спать у костра, а Джансух долго лежал с открытыми глазами, думая о своей золотоголовой Гунде. Чувствуя телом тепло костра, обнимая глазами звездное небо, он всей душой ощущал, что ничего так не согревает человека во вселенском холоде, как добрый костер человеческой дружбы. Поэтому он с нежностью прислушивался к дыханию своих друзей.

По дыханию каждого из них чувствовалось, как они живут, когда бодрствуют. Слухач спал тихо, словно и во сне прислушивался к чему-то. Обьедало мощно и ровно храпел, так что вместе с его дыханием покачивалась простирившаяся над ним ветка каштана. Опивало издавал горлом такой звук, словно из кувшина в кувшин переливали вино и никак не могли до конца перелить.

На следующий день друзья долго шли каштановым лесом, а к полудню вышли на огромную зеленую лесную поляну, которую прорезал щебечущий на камнях ручей.

Только они дошли до ручья, как увидели, что навстречу им идет человек могучего сложения и несет на плечах дом. Правда, небольшой, но все же дом с верандой, с крыльцом, с курятником, приколоченным к боковой стене и с дюжиной куриных гнезд, подвешенных вокруг дома, в которых сидели курицы, пытаясь нестись или громким кудахтаньем показывая, что им мешают нестись.

На вершине крыши сидел золотистый петух и, громко клопоча, укорял кур за их слишком шумное поведение. К довершению всех этих странностей на веранде дома стояла женщина и, держась руками за перила веранды, старалась заглянуть под дом, чтобы высмотреть того, кто его нес. Судя по словам, которые она старалась добросить до него, это была жена человека, несущего дом.

— Осторожней, дубина! — кричала она, — кур распугаешь, балбес! Мягче ступай! Курам трудно нестись!

— Вот это силач! — сказал Джансух, — когда несущий дом, перейдя ручей, поровнялся с ними, — такого чуда я никогда не видел.

Несущий дом, услышав слова Джансуха, остановился, как бы прислушиваясь, не замолкнет ли жена, ругавшая его, и убедившись, что не замолкнет, обратился к Джансуху:

— Да, меня в самом деле зовут Силачом. Но разве это чудо! Вот если бы вы увидели Сына Оленя, вы бы подивились настоящему чуду!

— Что стал как дерево, дурень! — продолжала ругаться его жена, — бродяг не видел, что ли! Видишь, колодник с колодками на ногах! Небось беглые разбойники.

— Я Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух.

— Ты Джансух-Сын Оленя?! — воскликнул Силач и теперь в са-

мом деле не очень осторожно грохнул дом на свайные подпорки и вышел из-под него, потирая затекшую шею.

— Дай же я тебя расцелую, Джансух, — воскликнул Силач, крепко обнимая Джансуха, — ну и молодчина ты! Ну и мудрец!

— Доверчивый дуралей! — кричала в это время его жена, — пусть покажет царскую грамоту, что он Сын Оленя! Джансух, небось, только с князьями да с царскими визирями якшается! Станет он бродить с этими голодранцами да колодниками! Курр раскрадут они, курр!

— Ошибаешься, женщина, — сказал Джансух, — я всегда со своим народом, а не с князьями да визирями.

— Вижу, с каким ты народом, вижу! — закричала женщина, показывая рукой на ни в чем неповинного Скорохода. Она по глупости приняла жернова на его ногах за каторжные колодки.

Но тут петух громко кукарекнул, слетел с крыши, а за ним из курятника и из гнезд повывлетали остальные куры, а за ними с радостными криками, топоча босыми ногами, выскочили из дому четверо малышей и окружили Джансуха и его товарищей. Жена Силача тоже слетела с крыльца и, громко вопя, помчалась за своими курами.

— Не кажется ли тебе, Джансух, — сказал Обьедало, что все это плохое предзнаменование для твоей женитьбы?

— Не кажется, — сказал Джансух, с нежностью глядя на маленьких босоногих крепышей, окруживших Скорохода и теребивших его со всех сторон.

— Дяденька, — кричали они, — ты что, мельница, что ли? Почему у тебя жернова на ногах?

— Нет, — отвечал Скороход, — я — Скороход!

— Он Скороход, — восторженно закричали дети, — дяденька Скороход, поскороходь, а мы посмотрим!

— Ладно, — сказал Скороход и, осторожно отцепившись от детей, несколькими прыжками догнал разлетевшихся по поляне кур, согнал их в стаю и пригнал к дому.

— Дяденька Скороход, — завизжали дети, — теперь поскороходь без жерновов!

— Нет, — сказал Скороход, — без жерновов я делаюсь слишком легким, боюсь улететь!

— Ничего, — шумели дети, стараясь вытащить ноги Скорохода из жерновов, — наш папа тебя поймает!

А в это время Силач, разговаривая с Джансухом, узнал, куда он идет и попросился идти с ним.

— А как же жена? — спросил Джансух.

— Да пропади она пропадом со своими курами, — отвечал Силач, — надоело таскать ее вместе с домом из села в село. Ни с кем из соседей ужиться не может. Пусть пока поживет среди леса, а я за это время отдохну от ее ругани.

Тут к дому подошла жена силача, бегавшая за курами. Узнав, что муж уходит с Джансухом, она неожиданно легко согласилась с этим.

— Ладно, ступай, — сказала она, — только пусть этот колодник здесь остается. Оказывается, он хорошо кур сгоняет.

— Ну, нет, — сказал Скороход, — если вы меня с ней оставите, я сниму жернова и через полчаса окажусь возле своих зайцев.

— Слушай, Обьедало, — вдруг сказал Опивало, — съел бы ты ее вместе с ее курами и дело бы с концом! Освободил бы Силача от этой ведьмы!

— Что я, людоед, что ли? — обиделся Обьедало и, помрачнев, отвернулся от Опивалы.

— Вот Обьедало шуток не понимает! — воскликнул Опивало и стал громко смеяться.

— Такими вещами не шутят, — сказал Обьедало, взглянув на Опивалу и снова отвернувшись.

— Зато вот такими шутят! — воскликнул Опивало и, припав к ручью, за несколько минут выпил около пяти амфор воды.

После этого он распрямился, приподнял голову и фырк! — из себя длинную струю воды, которая, описав дугу на высоте хорошего дерева, превратилась в радугу медленно тающую и осыпающуюся водяной пылью на землю.

Дети Силача завизжали от восторга, запрыгали на месте и закричали:

— Дяденька, еще раз рыгни и радугни!

— Рады дуге? — улыбаясь, спросил Опивало.

— Рады радуге! — хором отвечали дети, прыгая на месте от нетерпения.

— Курр распугаете! — кричала жена Силача, а в это время Опивало выфонтанил в небо несколько радуг.

— Эх, была не была! — крикнул Скороход, снимая с ног жернова, — прыгаю через радугу! А ты лови меня, Силач!

Он поставил Силача на одну сторону от радуги, разогнался с другой и под радостный визг детей прыгнул через радугу.

Несколько раз прыгнув через радугу, Скороход надел свои жернова. И тут Обьедало, наконец, забыв про свою обиду, тоже решил позабавить детей.

— Внимание, — сказал он, — сейчас я буду есть пироги с травяной начинкой!

С этими словами он вытащил нож из футляра, висевшего у него на поясе, вырезал на поляне два больших куска дерна, сложил их внутрь травой и стал есть на радость детям Силача.

— Пирог с травяной начинкой! — хохотали дети, окружая Обьедалу, который ел свой пирог, делая вид, что шутивно преувеличивает ап-

петит, а на самом деле с истинным удовольствием.

— Ребенок — чудо! — сказал Джансух, наслаждаясь видом сияющих от радости детей Силача, — чудо ребенка в том, что он уже человек, но еще чистый.

— Сладчайший мед мудрости выпили мои уши! — воскликнул Слухач, услышав слова Джансуха.

— Неужели только я один не могу чуда сотворить! — сказал Силач, разводя руками.

— Сила, если она служит добру, — сказал Джансух, — это самое великое чудо! Ты сейчас совершишь его. Есть у вас в запасе яйца?

— Конечно, — сказал Силач.

— Вынеси, — попросил Джансух.

Силач поднялся в дом и, не слушая криков жены, вынес из дому корзину с яйцами.

— Сейчас вы увидите чудо! — сказал Джансух и, обращаясь к Силачу, добавил: — подбрасывай яйца как можно ближе к солнцу. Только осторожно, снизу подбрасывай!

Силач стал вынимать из корзины яйца и осторожным, но сильным движением стал забрасывать их высоко в небо, так что они просверкнув на солнце, таяли в бездонной синеве.

Минут пятнадцать яйца не возвращались, так высоко их забросил Силач и в наступившей тишине только раздавалось завывание жены Силача и удивленное кудахтанье кур, которые тоже видели, что яйца заброшены в небо и сейчас, выворачивая шею, то и дело поглядывали вверх.

И вдруг — чудо! Золотой дождь цыплят, взмахивая слабыми крылышками и трепеща в воздухе, посыпался на поляну.

И тут не только дети, но и все друзья Джансуха завизжали от восторга! Да что друзья Джансуха, даже куры радостно закудахтали и побежали к цыплятам и вскоре, разобравшись между собой, какие из них вылупились из их собственных яиц, разделились и стали учить своих щечбучих детей искать корм в траве.

И только жена Силача была недовольна.

— Неправильное чудо! Неправильное чудо! — кричала она, — яиц было сто, а цыплят прилетело только девяносто.

Оказывается, пока цыпята приземлялись на поляну, она успела их пересчитать.

— Значит, десять яиц были тухлыми, — сказал Джансух, — из тухлых яиц не вылупляются чудо-цыпята!

— Из тухлых яиц не вылупляются чудо-цыпята! — восторженно повторял Слухач слова Джансуха, одновременно затыкая уши глушилками, — такого шербета мудрости уши мои никогда не пили!

Слухач все время следил за Джансухом, чтобы прежде, чем он раскроет рот, успеть вытащить из ушей пробки, потому что обычные

речи ему приходилось приглушать, а мудрость он хотел слышать только в непроцеженном виде.

Друзья собрались в путь, и Силач, слегка тряхнув свой дом, поставил под свои камни, чтобы дом стоял поустойчивей.

— Папа, чего-нибудь вкусного привези! — кричали на прощанье дети Силача.

Часа через два, когда они углубились в лес, Опивало подмигнул Слухачу:

— А ну, послушай, что, интересно, говорит жена Силача?

— Это мы можем, — сказал Слухач и, вытащив из ушей глушилки, слегка повел головой, ища нужный источник звука и найдя, замер.

— Курр распугаете! Цыплят передешите! — сказал он, — вот, что она кричит.

— Послушай, Слухач, — вдруг застенчиво попросил Обьедало, — узнай, о чем сейчас говорит та, на шее которой я хотел бы быть повешенным, если мне суждено быть повешенным.

— Начинается! — раздраженно сказал Опивало.

Слухач недоуменно посмотрел на Обьедало.

— Ты бы у меня еще спросил, — сказал он, — о чем спорят торговки рыбами на Константинопольском базаре! Я знаменитый Слухач, я могу слышать человеческую речь за двадцать тысяч шагов, но ведь есть всему предел.

Обьедало покраснел от своей неловкости.

— Прости, Слухач, — сказал он, — просто я соскучился по той...

— Заткнись! — перебил его Опивало, — знаем, по ком ты скукаешь! Сами семейные, но блюдом абхазские обычаи, о своих чувствах к жене — молчим.

— Друзья мои, не спорьте, — сказал Джансух, — лучше я вам расскажу притчу о трех карманщиках.

— Это другое дело! — воскликнул Слухач, поспешно вытаскивая пробки из ушей.

— На диоскурийском базаре, — начал Джансух, — где бывают большие толпы народа, особенно, когда показывает фокусы индусский факир или когда торговец сцепится с покупателем, в толпе так и шныряют карманщики.

Всех карманщиков я разделяю на три вида. Для ясности понимания я буду говорить о них, как о трех карманщиках, которые залезли в мой карман и чью воровскую руку я поймал в своем кармане.

Первый карманщик, пойманный с рукой, сунутой в мой карман, говорит: — Джансух, клянусь Великим Весовщиком, больше никогда не буду лезть в карман! Не зови стражника!

Ты можешь пожалеть его и не позвать стражника, но он, конечно, нарушит клятву и снова полезет в чужой карман.

Второй карманщик, пойманный с рукой, сунутой в твой карман,

бледнеет от гнева и говорит:

— Сегодня ты меня опозорил, Джансух, но завтра я тебя опозорю!

И если у него будет возможность, он тебя опозорит и отомстит. Такие бывают гордые карманщики.

Но есть еще один вид карманщика, самый зловредный. Когда тыловишь его руку, сунутую в твой карман, он кричит:

— Как тебе не стыдно, Джансух! Неужели ты не понимаешь, что я случайно залез в твой карман!

— Как же можно случайно полезть в чужой карман? — спрашиваешь ты его.

— Очень просто, Джансух, — убеждает он тебя, — мы стояли стиснутые толпой, я хотел полезть к себе в карман и случайно попал в твой.

Тогда я, продолжая сжимать его руку, сунутую в мой карман, говорю ему:

— Хорошо, ты случайно полез в мой карман. Но почему ты взял оттуда три серебряные монеты, которые ты сейчас стискиваешь в своей ладони. Значит, у тебя в кармане тоже были три серебряные монеты и ты их можешь показать?

Тут он на миг задумался и говорит:

— Нет у меня в кармане трех серебряных монет. Но именно поэтому, приняв твой карман за свой, я очень удивился, что там лежат монеты, и думаю: — Дай-ка я посмотрю, что это за монеты оказались в моем кармане!

И тут он вдруг начинает кричать на весь базар:

— Люди города, послушайте, что говорит Джансух! Он говорит, что я, как вор, полез к нему в карман! Люди города, подойдите и послушайте, что говорит Джансух!

И тут ты уже не выдержишь и думаешь: наверное, он в самом деле случайно полез к тебе в карман. Не может быть, чтобы он злонамеренно полез к тебе в карман и сам же звал свидетелей. И тебе становится стыдно, и ты стараешься скорее от него избавиться, и уходишь, а он еще кричит тебе вслед:

— Что ты бежишь, Джансух?! Стыдно стало доброго человека чернить! То-то же!

Вот так еще бывает на свете в нашем благословенном краю. Все карманщики плохи, но этого, последнего, истинно говорю вам, бойтесь больше остальных! Он вас и ограбит и опозорит на весь мир!

— До чего противный, — сказал Силач, — я бы его прихлопнул, как комара!

Так они шли, разговаривая о всякой всячине, а к вечеру вышли к селу, жителей которого Джансух не уважал, потому что это было единственное село Абхазии, где люди до того испоганились, что, не стыдась друг друга, держали у себя рабов.

У самого входа в село Джансух со своими друзьями свернул с

дороги, чтобы даже не встречаться с людьми этого села. Но как раз поблизости от того места, где они сворачивали, поостругивая ножом палочку, стоял один из жителей села.

— Путники, — окликнул он их, — что это вы обходите наше село. Уж не брезгуете ли вы нами?

— Брезгуем, — ответил Джансух, — и сам знаешь, почему. Весовщику Нашей Совести нечего взвешивать, когда он занимается людьми вашего села.

— Надо же ему на ком-нибудь отдохнуть, — дерзко отвечал житель этого села, — вот он и отдыхает за наш счет. А то мы все боимся, как бы он не надорвался, взвешивая вашу совесть. Ха! Ха! Ха!

— Джансух, — сказал Силач, потирая кулаки, — можно я его как следует проучу?

— Не надо, — сказал Джансух, — Они сами от безделья скоро пере-режут друг друга.

Так они прошли мимо этого села, стоявшего на караванной дороге и развращенного работоторговцами, провозившими здесь рабов из Северного Кавказа в Рим и Византию.

К полудню следующего дня друзья вышли к большому абхазскому селу под названием Лыхны. Это было во все отношениях хорошее село, но здесь жил молодой князь, приторговывавший рабами. Он был племянником бездетного абхазского царя и уже привык к своей безнаказанности.

У входа в село их встретили старейшины.

— Добро вам, путники, — сказали они, — кто вы и куда держите путь? Не встречался ли вам Джансух-Сын Оленя? Говорят, он идет в нашу сторону.

— Я и есть Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух, — знаю — жито-точно ваше село и трудолюбиво. Лучшие винограды Абхазии созревают в ваших виноградниках. Но также знаю, что ваш молодой князь приторговывает рабами. А это позор! Образуемте его пока не поздно!

И тут совестливые старейшины покраснели и опустили головы.

— Правда твоя, — сказал самый старший из них, — тайно, по ночам приторговывает рабами наш князь. Но торгует он рабами из чужеземных народов. Ну, разве что иногда его люди прихватят зазевавшегося эндурца.

— Неважно, кем торгует, — сказал Джансух, — абхазец, продающий раба, это уже порченный абхазец. Сегодня он торгует зазевавшимся эндурцем, а завтра возьмется и за своего абхазца.

— Ох и не верю я, — сказал Опивало, — в зазевавшегося эндурца. Скорее весь мир зазевается, прежде чем найдется хоть один зазевавшийся эндурец.

— Нет худшей заразы, чем рабство, — продолжал Джансух, — представьте такое. Скажем, моя пересошенная обувь давит ногу. Можно ска-

зять — стопа моей ноги в рабстве. Оттого что стопа моей ноги в рабстве, все тело мое чувствует неудобство, у меня портится настроение и, значит, душа моя теряет равновесие и правильное отношение к людям. Вот точно так же, если червоточина рабства завелась в деревне, душа ее жителей теряет равновесие и справедливое отношение к людям.

— Ты прав, Джансук, — сказали старцы, — твоя мудрость наша опора. Но наш царь, ради племянника, обещал построить в нашем селе храм Великому Весовщику Нашей Совести. Ради добра, которое принесет храм людям нашей деревни и окрестным деревням, мы терпим баловство князя работорговлей.

— Храм, воздвигнутый на лукавстве, — сказал Джансук, — это лавка менялы и больше ничего. Неужто вы думаете, Весовщик Нашей Совести этого не знает? По абхазским законам высшая власть села — народная сходка. И если она осудит князя, он должен ей подчиниться. Народ царю платит подать и отдает сынов для войска. Больше народ царю ничем не обязан. Высшая власть села — народная сходка. Если абхазцы забудут об этом, они будут наказаны провидением.

— И уже, кажется, наказаны, — сказал старейший из старейшин, — странное чудо случилось в нашем селе. Ни один прорицатель не может разгадать его значения. И мы все этим опечалены.

У нашего односельчанина, почтенного торговца вином в двадцативедерном кувшине завелась рыба. Она плещется в кувшине и иногда, высовывая голову, поет застольную песню „Многие лета”. Ну, то, что она поет — это понятно. В кувшине с вином она, конечно, опьянела и поет. Но нас удивляет и печалит — как! как! рыба могла попасть в кувшин с вином? Такого отродясь ни один абхазец не слышал.

— Ладно, — сказал Джансук, немного успокоившись, — пойдем, посмотрим.

— Не означает ли рыба, плещущаяся в кувшине, — спросил один из старцев, когда они шли к дому виноторговца, — что нас эндурцы покорят и сбросят в море к рыбам?

— Не означает, — сказал Джансук, — но кто слышал, как она поет?

— Как она поет кое-кто слышал, — отвечали старейшины, — но как она плещется в кувшине видели мы сами своими глазами.

Они пришли к хозяину самых богатых виноградников села и тот повел их в сарай, где у него были зарыты в землю кувшины. Хозяин открыл крышку одного из них и Джансук вместе с друзьями заглянули в него. Темнокрасная поверхность вина колебалась. Чувствовалось, что в кувшине ходит какое-то живое существо.

— Может, перелить вино из кувшина, — сказал хозяин, — чтобы поймать рыбу?

— А зачем переливать, — развел руками Опивало, — я сейчас приналягу и доберусь до рыбы.

Не успел хозяин опомниться, как Опивало лег перед кувшином

и, сунув туда голову, стал пить вино, постепенно углубляясь в кувшин, что явно не нравилось хозяину, хотя он вместе со старейшинами был поражен такими способностями Опивалы.

— Зачем было выпивать, — бормотал хозяин, стараясь из-за головы Опивалы заглянуть в кувшин, — можно было перелить в амфору.

А, между тем, Опивало, усердствуя, уже наполовину влез в кувшин, и было похоже, что он скоро свалится в него.

— Сдается мне, — сказал один из старейшин, обращаясь к Джансуху, — что этот твой человек сам скоро заплещется в кувшине и запоет вместе с рыбой в два голоса!

— Зачем было вообще выпивать, — сказал хозяин, уже даже не пытаясь заглянуть в кувшин через голову Опивалы, — вон у меня сколько пустых амфор.

— Ничего, — сказал Джансух, — он не свалится в кувшин. Силач, поддержи его за ноги.

Силач схватил за ноги Опивалу, продолжавшего углубляться в смысл кувшина и легко одолевавшего этот смысл.

Вдруг из кувшина раздалось пение застольной песни „Многие лета”.

— Кто поет? — спросили сверху.

— Вино поет, — загадочно ответил Опивало и стал продолжать углубляться в смысл кувшина.

— Можно было перелить, — в последний раз сказал хозяин и безнадежно махнул рукой.

— Допил! — наконец раздался голос Опивалы из глубины кувшина.

— Лови рыбу! — крикнул Силач, сидя на корточках перед кувшином. Он держал за щиколотки одной рукой обе ноги Опивалы и равномерно двигал его, чтобы тот мог достать дно кувшина в любой части.

— Поймал! — закричал Опивало и Силач мигом вытащил его наверх.

В руках у Опивалы билась большая порозовевшая от пребывания в вине форель.

— Форель?! — удивились все, словно ожидали совсем другую рыбу.

— Сейчас она у меня запоет! — воскликнул Обьедало и, выхватив форель у Опивалы, откусил ее до хвоста, а хвост почему-то протянул Опивале.

— Я выпил, а ты закусил? — слегка обиделся Опивало и почему-то вручил хвост хозяину вина.

— Зачем? — спросил хозяин и вовсе ничего не понимая, потому что все еще горевал по поводу опустевшего кувшина.

— Да, сказал Обьедало, — с видом знатока дожевывая форель, —

оказывается, форель, вымоченная в вине, даже в сыром виде очень вкусна.

Говорят, именно с тех пор ценители вкусной еды стали жарить форель, предварительно вымочив ее в вине.

— Все ясно, — сказал Джансух, обращаясь к хозяину, — форель — речная рыба. Только вместе с речной водой она могла попасть в кувшин. Ты подливаешь воду в вино. Скорее всего, ты делаешь это ночью. Ночью, набирая в реке воду, ты черпанул ее в амфору вместе с форелью и, не заметив этого, перелил в кувшин вместе с рыбой.

— Земляки, не взывайте, — взмолился виноторговец, продолжая держать в руке хвост форели, — я это вино только диоскурийцам продаю. Своих я им не поил...

— Так начинается порча, — сказал Джансух, — там, где один по ночам приторговывает рабами, другой по ночам начинает подливать воду в вино.

— А ты докажи, что я продавал рабов! — вдруг раздался голос молодого князя. Оказывается, он незаметно подошел к ним, пока Опивало добирался до дна кувшина.

— Кажется, рыба запела, — сказал Опивало, озираясь. Он сначала вопросительно посмотрел на Обьедалу, съевшего форель, а потом на князя. Опивало был явно под хмельком.

Джансух тоже оглянулся и увидел князя. Он сразу заметил, что лицо князя отмечено печатью молодости, печатью красоты, однако не отмечено печатью мудрости.

Через много лет время стерло с его лица печать молодости и печать красоты, но снабдить его отсутствующей печатью мудрости времени не удалось.

— Кажется, я не называл имени того, кто торгует рабами, — сказал Джансух, оглядывая собравшихся, — или я назвал имя того, кто торгует рабами?

— Нет, не называл, — сказали старцы, взглянув сначала на Джансуха, а потом на князя.

— Ясно, что ты намекал на меня, — сказал князь и добавил, — всем известно, что ты выучил абхазский язык за пять дней, а не за два, как ты утверждаешь. Какой же ты праведник после этого и какое ты имеешь право нас учить?

— Лучше бы избавил нас от эндурцев, — взбодрился виноторговец и наконец отшвырнул хвост форели, — чем заглядывать в чужие кувшины и приводить сюда каких-то чудищ-выпивох.

— Словоблуды, — сказал Джансух, — ты их обвиняешь в одном, а они оправдываются в другом. Продающий раба — сам раб власти! Продающий нечистое вино — сам раб нечистоты! Запомните, что рабство уже тем плохо, что создает у труса, связанного цепью, чувство равенства с героем, связанным цепью. И не только чувство равенства! Чувство

превосходства! Когда и трус и герой одинаково беспомощны, трус приписывает себе все, что мог бы сделать герой на свободе. Потому что оба беспомощны, а герой молчит. Герой в цепях всегда молчит, трус в цепях всегда говорит. Когда ему еще поговорить о своих геройствах, как не в цепях! Но лев, сидящий в клетке, это все-таки лев, а не шакал!

С этими словами Джансук-Сын Оленя, вместе со своими друзьями покинул село, не отведав хлеб-соли и оставив старейшин в печальном недоумении.

Сын Оленя был так разгневан, что долго не мог придти в себя и не разговаривал с друзьями.

— Лев, сидящий в клетке, это не то, что шакал, сидящий в клетке, — шопотом сказал Опивало Обьедале, — а ты что думаешь, земле-ед?

— Отстань, — так же шопотом, отмахнулся Обьедало, — я тоже так думал.

— Знаю, знаю, что ты думал, — не отставал от него Опивало, — ты думал, раз уже в клетке, все равно, что шакал, что лев, что лиса.

— Уж не опьянел ли ты? — спросил Обьедало.

— Да, — признался Опивало, — малость захмелел. Оказывается, когда пьешь вниз головой, быстро хмелеешь. Хмель сразу же стекает в голову.

— Ах, вот оно что, — сказал Обьедало и успокоился.

— То-то и оно, — согласился Опивало и добавил, — только не имей привычки выхватывать из рук чужую рыбу.

— Я думал, ты сырую не будешь есть, — примирительно сказал Обьедало, — а у меня желудок привычный.

— Уж как-нибудь сами разберемся, — сказал Опивало, — как нам быть с рыбой, пойманной на дне кувшина.

На этом они окончательно примирились. Тут тропа, по которой шли друзья, привела их под сень грецкого ореха, где сидели несколько человек и закусывали, привязав лошадей рядом к веткам самшитника. По общему это были городские люди.

Подошедшие поздоровались с сидящими на бурках. Те, встав со своих мест, пригласили их разделить с ними трапезу. Друзья присели.

— Путники, куда путь держите? — спросил Джансук.

— Мы из города Питиунда, — сказали путники, — отцы города послали нас искать Джансуха-Сына Оленя. У нас очень важное дело.

— Читайте, что вы его нашли, — сказал Джансук, улынувшись путникам.

— И не ошибетесь, — добавил Обьедало, двумя пальцами подымая жареную курицу и со сдержанной деликатностью отправляя ее в рот.

Путники из Питиунда посмотрели на Обьедалу, удивляясь такому сочетанию мощи аппетита и сдержанной деликатности.

— Если перед нами Джансух-Сын Оленя, — сказал старший из путников, — то мы сразу же выложим нашу просьбу, а заодно наши запасы еды и питья, которые мы взяли на неделю, чтобы искать тебя.

— И не ошибетесь, выкладывая, — согласился Опивало, когда рядом с ним поставили бурдюк с вином.

— Вот что, Сын Оленя, — сказал один из путников, — наш город издревле прославлен своими базарами, банями, портом, крепостью, храмом Великому Весовщику и многими другими радующими глаза делами рук человеческих. Здесь всегда жили абхазы, убыхи, гениохи, картвелы, мегрелы, греки и люди многих других племен. Ну, и эндурцы, само собой. Они торговали с Византией, с Римом, со скифами и хазарами.

Они ловили рыбу, рубили самшит, выращивали фрукты, выделывали кожу, чеканили и занимались всяческими другими ремеслами. Если им иногда и доводилось ссориться, то ссорились ненадолго.

И мы не знаем теперь, что с нами со всеми случилось. Каждое племя тянет в свою сторону, а раньше только эндурцы этим занимались. И человек одного племени теперь смотрит подозрительно на человека другого племени, хвалит все свое и чернит все чужое. И жить с каждым днем становится все скучней и опасней. Отцы города встревожены. Объясни ты нам, ради Великого Весовщика, что же случилось со всеми нами и как помочь людям нашего города снова обрести мир и доброжелательность между племенами.

— Порча пришла в Абхазию, — сказал Джансух, — а может быть, и не только в Абхазию. Люди потеряли главную цель человека — быть угодным нашему богу, Великому Весовщику Нашей Совести. Его весам часто нечего взвешивать, и он грустит на небесах.

— Народ не может жить без святынь, — продолжал Джансух, — вера в главную святыню порождает множество малых святынь, необходимых для повседневной жизни: святыню материнства, святыню уважения к старшим, святыню верности в дружбе, святыню верности данному слову и тому подобное.

И когда теряется главная святыня, постепенно утрачиваются и все остальные и на людей нисходит порча. Люди начинают ненавидеть друг друга и угождать только себе или тем, кто сильнее их, чтобы еще лучше угождать самим себе.

— Когда корабль в море дает течь, — продолжал Джансух, — люди, находящиеся на корабле, ведут себя по-разному. Всех их можно разделить на три части по тому, как они себя ведут на корабле...

— Джансух, — вдруг спросил Обьедало, — отчего у тебя все на три части делится?..

— Не перебивай, — ответил Джансух, — потом я тебе все объясню. Так вот, всех, кто находится на корабле, можно разделить на три части по тому, как они себя ведут, когда корабль дал течь.

Слепые духом на оба глаза думают только о том, как себя спасти, не ведая, что без спасения корабля невозможно себя спасти вдали от берега. Эти самые худшие. Если они окажутся сильнее всех остальных, корабль потонет и никто не спасется.

Другие, слепые духом на одни глаз, думают только о том, как спасти себя и свою семью. И эти плохи, потому что если они окажутся сильнее всех, корабль все равно потонет.

И только зрячие духом на оба глаза думают, как спасти всех. Эти — настоящие люди, любимцы Великого Весовщика. Если они окажутся сильнее всех, корабль будет спасен. И вы передайте отцам города, чтобы они приблизили к себе этих и взывали к совести остальных.

— Спасибо, Джансух, — сказали люди из Питиунда, — мы передадим отцам города твои слова. Над твоими словами, как над всякими мудрыми словами, надо думать и думать.

— Пусть думают, — сказал Сын Оленя, — это еще никому не повредило.

На этом они расстались. Путники сели на своих лошадей и направились в Питиунд, а Джансух с друзьями пошел своим путем.

Вдалеке перед их глазами вставала стена голубого моря, растворяющегося на горизонте в голубизне неба.

Оно тогда называлось не Черным морем, как сейчас, а Хорошим морем, или, как говорили греки, понтом Эвксинским.

— В людях, — сказал Джансух, кивнув на море, — много дикарского. Не удивлюсь, если они в один прекрасный день переименуют наше Хорошее море и назовут его как-нибудь иначе. Им кажется, что если они переименуют древние названия гор, рек, морей, они будут казаться могучими как боги! Жалкие себялюбцы! Они делают этим вредное народу дело, выхолощивают его память. Народ должен чувствовать, что его страна не вчера началась и не завтра кончится. Так ему уютнее жить в вечности и легче защищать свою землю.

— Джансух, — напомнил Обьедало, — ты обещал объяснить почему ты все делишь на три части.

— Да, — сказал Джансух, — сейчас я вам все объясню. Три — это священное число, и не я его придумал. Вспомните народные сказки — где всегда три дороги, три брата и многое другое. Три — священное число и намекает нам на то, что у человека три жизни.

Начальная жизнь — это наша жизнь до рождения.

Серединная жизнь — это наша жизнь, в которой мы живем в этом мире.

И последняя жизнь, это жизнь, которой мы будем жить после смерти.

О начальной жизни мы знаем только то, что одни люди приходят в мир со склонностью к добру. Другие люди приходят в мир со склон-

ностью ко злу. И третьи люди, видишь, опять три, приходят в этот мир немного склонные к добру, а немного склонные ко злу. Кто как жил в первой жизни, таким и приходит в этот мир.

Наша земная жизнь срединная и она самая важная для человека. Тот, кто жил добром в первой жизни, должен постараться в этой жизни сохранить свою доброту.

Тот, кто жил в первой жизни во зле, имеет возможность исправиться, и тогда ему простятся грехи первой жизни.

А те, кто колебались в первой жизни от добра ко злу, имеют возможность окончательно определиться в добре.

Вот почему наша срединная жизнь самая главная для человека. Больше в вечности никогда не будет возможности что-либо исправить. Строг Великий Весовщик, но и милость его огромна! Шутка ли, целая жизнь дана нам для собственного испытания и даже, если мы ее плохо начали, есть время все исправить!

Теперь вам ясно, почему число три священно и почему в народе так часто говорят о трех дорогах, трех братьях, трех судьбах и тому подобное. Это намек Великого Весовщика.

— Да, — сказал Обьедало, — теперь нам все ясно.

Так они шли по дороге и вдруг на опушке леса увидели вот что. На ветке дикой хурмы, прячась за ее ствол, стоял человек и, вытягивая руку из-за ствола, приближал ее к трем голубям, сидевшим на соседней ветке.

Один голубь был сизым, другой голубь был черным, а третий белым. Человек этот незаметно для голубей осторожно выдергивал перо из оперенья одного голубя, потом выдергивал перо из оперенья другого голубя и тут же вживлял перо первого голубя в оперенье второго, а перо второго в оперенье первого. Делал он это настолько ловко, что голуби, ничего не замечая, спокойно сидели на ветке, безмятежно поводя головками в разные стороны.

На глазах у изумленного Джансуха и его друзей все три голубя стали черно-сизо-белыми. Мало того, что человек менял перья с необыкновенной ловкостью, он это делал со вкусом, с чувством цвета и соразмерности.

И только в последний раз, когда человек вживлял бывшему белому голубю черное перо, голубь что-то почувствовал и стал клювом почесывать то место, куда он вставил перо.

Человек спрыгнул с нижней ветки хурмы на землю. Тут голуби его заметили и взметнулись в небо, рья на солнце и как бы удивляясь новому оперенью друг друга.

Человек из-под руки следил за взмывающими в небо голубями. Одно черное перо слетело и, трепыхаясь в воздухе, медленно падало на землю.

— Видите, — сказал человек, обернувшись к Джансуху и его

друзьям, — слетело как раз то перо, которое я вживлял в последний раз. Рука устала, бывают и у меня промашки.

— Чудо, — сказал Джансух, — как это ты ухитряешься незаметно для голубя выдернуть перо и вживить его другому голубю?

И тут человек этот вместо того, чтобы в свою очередь подивиться чудесам Джансуха, вдруг сказал:

— Да, такого Ловкача, как я, поди, поищи!

— Я, например, Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух, — но ни о чем таком даже помыслить не могу.

— Не удивительно, — ответил Ловкач, — я же сказал, что второго как я Ловкача по всей Абхазии не найдешь!

Тут воцарилось неловкое молчание. Объядало попытался прервать его.

— С тобой говорит, — сказал он Ловкачу, — тот самый знаменитый Джансух-Сын Оленя.

— А с вами говорит, — отвечал Ловкач, нисколько не смутившись, — тот самый знаменитый Ловкач, сын Ловкача.

— Неужели ты не слышал про знаменитого Джансуха-Сына Оленя? — спросил Слухач.

— Неужели вы не слышали про знаменитого Ловкача, сына Ловкача? — ответил Ловкач.

— Ну, это уж слишком, — сказал Силач и, грозно потирая руки, подступился к Ловкачу.

— Если уж Силач потирает руки, — заметил Скороход, обращаясь к Ловкачу, — лучше бы ты был Скороходом, как я.

— Стойте, друзья, — сказал Джансух, становясь между Силачом и Ловкачом, — я чувствую, что слава начинает меня портить. Это так, хотя и не совсем так. Джансух от славы, видно, портится, но не совсем портится, потому что знает, что портится. И от того, что я чувствую, что начинаю портиться, я перестаю портиться. Однако, перестав портиться, я перестаю следить за собой и начинаю снова портиться. К сожалению, такова жизнь. Жизнь — это бесконечная склонность портиться, но что особенно важно, друзья, и бесконечная склонность удерживаться от порчи.

— Ой, что-то мудреное ты сказал, — промолвил Ловкач и вдруг, быстро сунув руку за пазуху, поймал там блоху и протянул ее Силачу.

— На, — сказал он ему.

— Зачем мне блоха? — растерялся Силач.

— Ты же, говорят, Силач, — вот и убей ее.

— Да ты никак смеешься надо мной! — вспыхнул Силач.

— Шутка, — сказал Ловкач и, отщелкнув блоху, спросил у Джансуха, — а это правда, что скифы умеют блоху подковать?

— Да, — сказал Джансух, — слухи о том, что скифы могут подковать блоху, подтверждались много раз очевидцами. Скифы удивитель-

ный народ. Они умеют подковать блоху, но лошади у них часто ходят неподкованными. Лошадей подковывать им неинтересно.

— Слушай, Джансух, — сказал Ловкач, — я пойду с тобой. Окажется, с тобой занятно.

— Еще бы! — в один голос воскликнули друзья Джансуха.

Джансух объяснил ему цель своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним. Ловкач охотно присоединился к друзьям Джансуха и они пошли дальше.

На следующий день на лесной лужайке они увидели охотника. Тот стоял с луком в руке и, задрвав голову, смотрел в небо. Джансух и его спутники тоже стали смотреть в небо, но ничего там не заметили.

— Что ты видишь, охотник? — спросил Джансух.

— Разве вы не видите, — отвечал охотник, взглянув на Джансуха и его спутников, — что орел загнал на седьмое небо трех голубей. Голубей с таким необычным опереньем я никогда не видел. Я их пожалел и поразил орла стрелой. Сейчас он падает и уже спустился до шестого неба.

— Это голуби Ловкача, — сказал Джансух, — и это знак Великого Весовщика, что человек может быть творцом природы, если он делает это с добрыми намерениями. Но каково зрение охотника! Я дальше первого неба ничего не вижу, а он видит, что делается на седьмом небе!

— Ничего особенного, — сказал охотник, — я всего лишь Остроглаз... Вот если б вы увидели...

— Больше ни слова, — сказал Джансух, — я и есть Джансух-Сын Оленя... Ради Великого Весовщика — ни слова о моей мудрости.

— Но хотя бы то, что за пять дней, это правда? — спросил Остроглаз.

— Не за пять, а за два, но не в этом дело, — сказал Джансух.

— Я пойду с тобой, Джансух, — сказал Остроглаз, — я не буду дожидаться, пока упадет орел с моей стрелой. У меня в колчане достаточно стрел, авось, я тебе пригожусь.

Джансух рассказал ему о цели своего путешествия и Остроглаз присоединился к друзьям Джансуха.

На следующее утро они вышли из леса и оказались вблизи дома великанов. Дом был огорожен частоколом, на колья которого были нахлобучены человеческие черепа. Друзья остановились, удрученные этим мрачным зрелищем. Вдруг чья-то рука со стороны двора стала деловито снимать с кольев изгороди черепа. Сняв семь черепов, рука эта больше не появлялась над изгородью.

— Ох, не нравится мне, — сказал Обьедало, — что освободилось семь кольев, как раз по числу наших голов.

— Да и черное перо, потерянное голубем, ничего хорошего нам не сулит, — добавил Опивало.

Джансух понял, что друзья его подавлены этой хитрой уловкой

великанов.

— Друзья мои, — бодро воскликнул Джансух, — видно, они за нами следят из-за изгороди. Они заранее пугают нас. Но если они нас пугают, значит, они не уверены в себе. Поэтому — смелей! Единственное, чего я боюсь — это плюхнуться при виде красавицы Гунды. Силач, стой рядом со мной и незаметно поддерживай меня, если я не выдержу красоты Гунды. Вперед, и да хранит нас Великий Весовщик Нашей Совесть! Будьте все на чеху! Слухач, снимай глушилки со своих ушей!

Только они подошли к воротам, как ворота со скрипом распахнулись и оттуда вышли семь братьев-великанов. Они были огромны, а на их свирепых лицах почему-то посверкивали маленькие, хитрые глазки карликов.

— Кто вы, — загудел страшным голосом старший из великанов, — куда путь держите?

— Я Джансух-Сын Оленя, — сказал Джансух, — а это мои друзья. Я пришел сватать вашу сестру, красавицу Гунду.

— Сватать, конечно, можно, — опять загудел старший брат, — только знаете ли вы условия?

— Примерно знаем, — сказал Джансух.

— Условия такие, — продолжал старший брат, — три вопроса по сноровке твоего ума. Эти вопросы нам составил византийский мудрец. А потом испытания для тебя и твоих друзей по телесной сноровке. Сами понимаете, нам, братьям-великанам нелегко расстаться со своей единственной, любимой сестрой. Да и знать мы хотим, что она вышла замуж за достойнейшего из женихов.

— Постараемся выполнить ваши условия, — сказал Джансух.

— Тогда добро пожаловать, — сказал старший брат, показывая рукой на ворота, что отчасти выглядело и как приглашение на частокол.

Они вошли в широкий, зеленый двор, посреди которого высился длинный гладкий шест неизвестного назначения. Недалеко от шеста лежала гранитная глыба. В остальном двор был, как двор, только очень большой.

Джансух сильно волновался и в то же время жадно искал глазами красавицу Гунду. Вдруг в доме отворилась дверь и оттуда вышла девушка изумительной прелести.

Улыбаясь Джансуху, она спустилась с крыльца и села на стул, поставленный посреди двора одним из братьев, который до этого успел войти в дом. У ног сестры он поставил корзину, наполненную красными древнеабхазскими помидорами.

— Здравствуй, Джансух-Сын Оленя, — сказала прекрасная Гунда, улыбаясь Джансуху, — я много наслышалась о тебе. Надеюсь — твоё сватовство будет удачней, чем у этих горемык, что скалятся с нашего частоккола. Я знаю о твоей мудрости, но у тебя и походка красивая, не-

даром ты Сын Оленя! И сам ты такой приятенький, что я тебя прижала бы к себе и съела, как помидор.

— Почему как помидор? — радостно удивился Джансук. Она была очаровательна. Красота ее волновала Джансуку, но все же не так сильно, как портрет. Во всяком случае терять сознание он не собирался.

— Потому что я больше всего на свете люблю наши древнеабхазские помидоры, — улыбаясь Джансуку, отвечала золотоголовая Гунда, — братья меня кормят соловьиными мозгами и русалочьей икрой, но я больше всего люблю помидоры. Тебя это не будет смущать, если ты женишься на мне?

— Нет, — воскликнул Джансук, восхищаясь милым простодушием Гунды, — ешь себе помидоры, сколько тебе хочется.

— Спасибо, Сын Оленя, — сказала Гунда и, достав из корзины помидор, надкусила его, — а то во-о-о-н тот жених, чей череп торчит на четвертом колу справа от ворот, сказал мне:

— Я хазарский князь. Как только я женюсь на тебе, я отучу тебя от этой грубой привычки.

А я ему говорю:

— Ты сначала выполни условия моих братьев, а потом будешь помыкать мной...

Сын Оленя, ты, говорят, мудрый, ты приятный и я хочу выйти за тебя замуж. Пожалуйста, постарайся все сделать, как надо. Мне так надоело жить опытной девственницей, окруженной черепами своих женихов!

— Для тебя, любимая Гунда, я сделаю все, что могу, — сказал Джансук и, обращаясь к своим друзьям, смущенно переминавшимся посреди двора, добавил, — интересное наблюдение. Когда я увидел портрет прекрасной Гунды, я потерял сознание. А когда увидел живую сладкогласую Гунду, я не потерял сознание, хотя она мне очень понравилась. Значит, искусство сильнее жизни. Так и должно быть. Оно показывает человека в этой жизни и намекает на его будущую и предыдущую жизни. И когда мы видим портрет человека, нарисованный настоящим художником, мы как бы видим его во всех трех жизнях. Поэтому впечатление от портрета должно быть сильнее, чем от самого живого человека...

— Ну что, — перебил тут его старший великан, — мы будем твои проповеди слушать или начнем испытания?

— Начнем, — сказал Джансук, глядя на золотоволосую Гунду и наслаждаясь ее красотой.

— Прежде чем задавать вопросы, — сказал старший великан, — я хочу дать моим братьям несколько распоряжений по хозяйству.

— Пожалуйста, — сказал Джансук, глядя на Гунду, стыдливо уплетающую помидор и от этого еще больше хорошеющую, — так я готов ждать целую жизнь.

— Братья мои, — сказал старший великан, — я, наверное, до конца испытаний уйду, неотложное дельце меня ждет. Так что слушайте мои распоряжения. Запомните, в какой очередности нахлобучивать на изгородь черепа. У самых ворот нахлобучьте череп Джансуха: мудрой голове первое место. Остальных — в порядке присоединения к Джансуху. Так будет справедливо. Череп Скорохода поместите между его жерновами. Так будет забавно. А вот этого стрелка с луком пока не трогайте. Мы приспособим его почесывать нам спины своими стрелами.

Братья дружно расхохотались, а друзья Джансуха заметно приуныли.

— Друзья мои, — крикнул Джансух, — выше головы! Неужели вы не понимаете, что это он нарочно так говорит, чтобы ослабить наш дух!

— Нарочно-то, оно, нарочно, — сказал Обьедало, кивая на частокол, — но слова его кое-чем подтверждаются, Джансух!

— Начинаются испытания на умственную сноровку, — крикнул старший великан. — Какой порок души самый подлый?

Все притихли и даже золотоголовая Гунда перестала есть помидоры.

— Самый подлый порок души, — сказал Джансух, — это нечистоплотность души, потому что в условиях этого порока возможны все остальные пороки.

— Правильно, правильно! — крикнула Гунда и захлопала в ладоши, — хотя я не понимаю, почему этот так, но я все ответы знаю заранее!

— Ты не вмешивайся, — заметил старший великан, — да, ответ правильный. У нас все честно.

— Второй вопрос, — сказал старший великан: — Какое животное самое стыдливое в мире?

Воцарилось напряженное молчание. Друзья Джансуха страшно волновались за него.

— Из тех животных, что водятся в наших краях или вообще? — не выдержал Обьедало, и спросил.

— Какое животное самое стыдливое в мире? — повторил великан, не устаивая вниманием Обьедалу и в то же время показывая, что он задает глупые вопросы.

— Овца, — наконец сказал Джансух, — самое стыдливое животное. Она прикрывает свой зад чадрой собственного курдюка.

— Правильно, Джансух! — воскликнула Гунда и снова захлопала в ладоши, — до чего же ты умный! Так бы я тебя и расцеловала!

— Гунда, веди себя прилично, — сказал старший великан и стал мрачно шептаться с братьями.

Друзья Джансуха явно повеселели, а Силач стал, потирая руки, во-

инственно поглядывать на братьев-великанов.

Старший великан, пошептавшись с братьями, сказал:

— Мы и так знали о мудрости Сына Оленя, поэтому третий вопрос отменяется. Переходим к телесной сноровке. Вот перед вами гранитная глыба. Или Джансух одним ударом кинжала перерубит ее или наши кинжалы перережут вам глотки.

Прекрасная Гунда от волнения перестала есть помидор. Она прошептала одними губами:

— Бедный Джансух, если бы ты знал, что достаточно волоском из моих кос провести по лезвию кинжала, как камень расколется от его прикосновения.

Слухач уловил ее шепоток и мгновенно передал его Ловкачу. Ловкач прошел мимо Гунды и, словно отмахиваясь от комара, незаметно вырвал волосок из ее косы и, подойдя к Джансуху, незаметно провел волоском по лезвию кинжала.

Джансух подошел к гранитной глыбе и с такой вдохновенной силой ударил по ней кинжалом, что искры посыпались из гранита, а глыба раскололась на две части, сверкая на разломе вкраплениями кварца.

Джансух, сам пораженный силой своего удара, замер над распавшейся глыбой, а потом, всовывая кинжал в ножны, сказал:

— Видно, в человеке заложены неимоверные силы, о которых он не подозревает. Надо обдумать это.

— Ну что ж, — сказал старший великан, — видно, дело идет к свадьбе. Попробуем вас на обжираловке и на опиваловке.

— Это мы можем, — сказал Обьедало, облизываясь.

— Горло пересохло, пить хочется, — добавил Опивало.

И тут братья-великаны зарезали двух быков, развели огонь посреди двора, целиком зажарили быков на огромных вертелах, вынесли столы и поставили на них зажаренных быков. По одну сторону сели хозяева, по другую — гости. Одного быка разделали и разделили всем поровну, а другого оставили про запас. Только все приступили к еде, как Обьедало, дожевывая свою порцию, подсел ко второму быку. Отрезая ножом огромные ломти мяса от туши быка, он за час целиком его съел, и только начисто обглоданный скелет быка остался на столе. Взглянув на великанов сквозь ребра обглоданного быка, Обьедало сказал:

— Ку-ку! Не будет ли добавки?

— Добавки?! — удивились великаны и стали переглядываться.

— С обжираловкой у вас все в порядке, — сказал старший великан, — посмотрим, как у вас с опиваловкой.

Два брата-великана вынесли из винного подвала тридцативедерную амфору с вином, прислонили ее к столу и сказали:

— Попробуйте, вино будем пить по вашему выбору. Это красное. Не понравится — вынесем амфору с белым вином.

Опивало подошел к амфоре и подмигнул Силачу:

— Подсоби-ка, браток!

Силач приподнял амфору, осторожно наклонил ее и стал вливать вино в разинутый рот Опивалы. Минут через пятнадцать, к великому изумлению великанов, Силач запрокинул амфору, и последняя струйка вылилась в рот Опивалы. Силач откатил опустевшую амфору, а Опивало, утираясь, посмотрел на великанов и сказал:

— Ну, что? Красное вино неплохое. Попробуем теперь белое.

— Тридцативедерную амфору на пробу?! — воскликнул старший великан. — Нет, у них с опиваловкой обстоит еще лучше, чем с обжираловкой.

— Протестую, — сказал Обьедало, — обжираловка ни в чем не уступает опиваловке.

Братья-великаны заметно погрустнели и стали о чем-то перешептываться. А друзья Джансуха окончательно взбодрились, особенно Опивало, который явно повеселел от выпитого.

— Ты, кажется, куда-то спешил, — напомнил он старшему брату великанов, — не пора ли тебе уходить?

— Я откладываю свои дела, — мрачно ответил тот.

Он уснул куда-то одного из своих братьев, и тот через некоторое время возвратился с древней старухой. Старший великан представил ее друзьям.

— Это старуха по прозвищу Страусиная Нога, — сказал он. Сейчас мы проверим вас на проворство. Пусть ваш Скороход побежит наперегонки с нашей старухой.

— Но где же мы будем бежать? — засмеялся Скороход, добродушно глядя на старуху.

— Вот южные ворота, — сказал старший великан, — до самого моря здесь открытое место. Двадцать тысяч шагов туда и столько же обратно.

— Нехорошо, — сказал Джансух, — старую женщину заставлять бегать, как девочку.

— Это вас не касается, — холодно ответил старший великан, и все пошли к южным воротам.

— Прямо таки мне жалко эту старушенцию, — сказал чувствительный Скороход, когда они вышли за ворота, — она похожа на мою бабушку, а я должен с ней бежать наперегонки.

По знаку старшего великана старуха Страусиная Нога и Скороход побежали. Безобразно вскидывая мускулистыми ногами, старуха бежала за Скороходом, при этом к удивлению друзей Джансуха не очень от него отставая. Правда, Скороход то и дело оглядывался, слегка замедляя бег.

Вскоре бегуны скрылись из глаз, и оставшиеся, поглядывая на солнце, стали их дожидаться. Но те что-то долго не возвращались.

А между тем вот что случилось с бегунами. Скороход, добежав до моря, подождал старуху. Старуха, задыхаясь, под села к нему и сказала:

— Уморилась я, сынок, пожалей меня. Все равно ты проворней. Давай лучше посидим на теплом песочке, а я поищу у тебя в волосах. А потом мы побежим назад.

— Хорошо, Страусиная Нога, — сказал Скороход, — недаром я заметил, что ты похожа на мою бабушку. В детстве я так любил полежать на коленях у бабушки, а она в это время искала у меня в волосах. Но бедная моя бабушка умерла...

— Вот и полежи, — сказал Страусиная Нога, усаживаясь на теплый песок, — а я поищу у тебя в волосах.

Скороход разлегся на песочке, положив голову на колени старухе, и она стала искать у него в волосах. Пригретый солнцем, под мерный шум волн, Скороход уснул. Этого-то Страусиной Ноге и надо было.

Оказывается, под фартуком у нее была припрятана курица и зерна проса. Она достала зерна проса и густо посыпала ими голову Скорохода. А потом вытащила курицу и та стала склевывать зерна с его головы.

Старуха осторожно переложила голову Скорохода на песок. А он себе спит, а курица поклевывает зерна у него в голове, и ему во сне кажется, что это Страусиная Нога ищет у него в волосах.

И вот Страусиная Нога припустила назад, вскидывая свои безобразные мускулистые ноги, а Скороход все спит, а старуха уже настолько приблизилась к дому великанов, что ее стало хорошо видно, а Скороход все спит. Великаны громкими, радостными криками стали приветствовать и взбадривать ее.

— Ну еще немного поднажми! — кричали они ей и свистели.

— Слухач! — крикнул Джансук, — послушай, что там случилось? Слухач приник головой к земле и сказал:

— Я слышу храп, который доносится с моря.

Остроглаз, поставив козырьком ладонь над глазами, сказал:

— Да, он лежит на берегу и курица что-то склевывает у него с головы. А что — не могу разобрать.

— Дело за тобой! — крикнул Джансук, видя, что старуха уже совсем приблизилась.

Остроглаз быстро вынул из колчана стрелу, приладил ее в тетиве, натянул тетиву, тщательно прицелился и спустил стрелу. Стрела, про сверкнув в воздухе, долетела до моря и вонзилась в курицу. Курица забилась и ударами крыльев по голове Скорохода разбудила его.

Скороход вскочил, не понимая, куда делась старуха, откуда взялась пронзенная стрелой курица и почему его голова посыпана просом. Он тряхнул головой, стряхивая зерна и остатки сна. Тут он понял, что

Страусиная Нога его обманула.

— Хайт!!! — вырвалось у него гневное абхазское восклицание. Он сдернул с ног жернова, вскочил и с быстротой ветра помчался назад.

Через несколько мгновений он обогнал старуху и так разогнался, что чуть не перелетел через ворота, но тут Силач схватил его на лету и поставил на ноги.

Вскоре, тяжело дыша, прибежала и старуха.

— Молодец, Страусиная Нога, — зло прошипел старший великан, — на таких состязаниях и второе место почетно.

— Я сделала все, что могла, — сказала старуха, тяжело переводя дыхание.

— Ах, ты, старая обманщица! — крикнул Скороход, — сейчас же пойди и принеси мои жернова, раз мне из-за тебя пришлось их бросить.

Тут старуха стала ругаться, что Скороход не чтит абхазские обычаи, по которым старого человека надо уважать, а не держать его на побегушках. Но Сын Оленя вступился за Скорохода.

— Абхазцы потому и чтут старость, — сказал он, — что старость по нашим понятиям возраст мудрости, справедливости, несуетности. А старость, сама не уважающая себя, не достойна уважения других. Раз ты суетилась и обманывала нашего Скорохода, пользуясь его доверчивой чувствительностью, посуетись еще немного и принеси его жернова.

Старуха посмотрела на братьев-великанов.

— Ступай, ступай, — сказал старший, раз ты ни на что другое не пригодна.

И старуха Страусиная Нога, ворча, поплелась в сторону моря.

— Где только вы ее выкопали? — спросил Обьедало.

— Да здесь в лесу живет, — морщась, сказал один из братьев, местная ведьма. Иногда помогает нам по хозяйству, иногда по ведьминским делам. Но толку от нее мало, совсем из ума выжила.

Братья-великаны вместе с Джансухом и его друзьями вошли во двор.

— Ладно, — сказал старший великан, кивая на длинный шест, стоявший посреди двора, — пусть теперь Джансух напоследок покажет свою телесную сноровку. Этот шест длиной в сто локтей. Если Джансух влезет на вершину шеста, держа на голове горшок, наполненный кипятком, и потом слезет с шеста, не пролив ни капли, наша сестра принадлежит ему.

Вскипятили воду, перелили ее в глиняный горшок и поднесли Джансуху, который, разувшись, стоял у шеста. Джансух поплевал на руки, поставил на голову поверх войлочной шапки горшок и осторожно стал карабкаться к вершине шеста. А великаны сгрудились под шестом и, выставив ладони, ожидали, не капнет ли сверху.

— Сын Оленя, не облейся кипятком, — крикнула снизу золотоголо-

вая Гунда, а то у моего мужа будет некрасивое лицо. Но с другой стороны, если ты прольешь кипяток, то ведь не сможешь быть моим мужем? Ой, Джансух, что-то я запуталась, объясни мне, в чем моя ошибка?

— Милая Гунда, — сказал Джансух, продолжая осторожно карабкаться наверх, — ты, сама того не желая, отвлекаешь меня.

— Ну тогда я съем еще один помидор и пожелаю тебе удачи, — крикнула очаровательная Гунда и вонзила свои жемчужные зубы в красную мякоть помидора.

— Клянусь той, — шепнул друзьям Обьедало, — на шее которой я хотел бы быть повешенным, эта Гунда не отличается большим умом.

— Большим умом! — язвительно подхватил Опивало, — Да скорее дятел достучится до сотрясения мозга, чем наш Джансух достучится до ее ума!

— Все-таки она не крикунья, как моя жена, — примирительно сказал Силач, а лицом куда красивей!

— При этом учтите, — добавил Остроглаз, — она ничего хорошего в своей жизни не видела, кроме оскаленных черепов этих горемык.

— Оказывается, даже великий мудрец, — с горечью вздохнул Слухач, — глохнет от любви. Все, что ни брякнет Гунда, нашему Джансуху кажется милым.

— Ничего, — сказал Ловкач, — если она окажется плохой, я ему так подменю жену, что он даже не заметит.

— Друзья мои, вы совсем неправы! — взволнованно сказал Скороход. — Гундочка такая хорошенькая, такая миленькая, такая очаровушечка, что я счастлив за нашего Джансуха! А ум женщине только во вред! У Джансуха ума хватит не только на Гундочку, но и на всю нашу Абхазию.

Когда Джансух добрался до вершины шеста, вдруг оттуда раздался тоскливый крик, а через несколько мгновений великаны, с вытянутыми ладонями стоявшие под шестом, стали приплясывать от радости.

— Закапало! Закапало! — кричали они, — А небо синее, так что на дождик не свалишь!

Друзья Джансуха помрачнели.

Сын Оленя слез с шеста, отдал горшок великанам и молча, ни на кого не глядя, стал обуваться.

— Ты пролил воду, — сказали братья-великаны, протягивая ему свои ладони.

— Нет, — ответил Джансух с невероятной печалью, — я ничего не пролил. Я только увидел с вершины шеста, как волки растерзали мою мать-олениху. И я закричал и заплакал от боли.

Великаны лизнули ладони и убедились, что влага на них соленая.

— Да, — сказал Джансух, — слезы — это кровь души и потому они соленые, как кровь.

— Что же делать, милый Джансук, — сказала прекрасная Гунда, надкусывая помидор, — у оленей такая судьба. Или их волки задирают или их убивает охотник.

— Да, но эта олениха была моя мама, — сказал Джансук, — она выкормила меня в лесу. Она становилась на колени, когда я был так мал, что не мог достать до ее вымени... А ты, любимая Гунда, могла бы отложить помидор по случаю такого несчастья...

— Но, мой милый Джансук, — воскликнула золотоволосая Гунда, — какое одно к другому имеет отношение? Я жалею твою маму-олениху, но ведь если я перестану есть помидоры, она не оживет?

— Любимая Гунда, ты еще так неразвита душой... Но ничего, я тебе помогу, — сказал Джансук и посмотрел на Гунду долгим, печальным взглядом.

Гунда тоже посмотрела на него недоумевающим взглядом, как бы спрашивая, может ли она теперь есть помидоры и если не может, то до каких именно пор.

— Да, не оживет моя мать-олениха, — грустно сказал Джансук, — можешь есть свои помидоры, милая Гунда.

— Ну что ж, — сказал старший великан, — ты все выполнил. Наша сестра — твоя. Теперь мы должны устроить пиршество по случаю расставания с нашей единственной радостью, нашей любимой сестрой.

Но старший великан, впрочем, как и все остальные, был коварен и вероломен. Он шепнул братьям, чтобы они во время пиршества поставили Джансuku и его друзьям отравленные блюда. Нет, не хотели братья-великаны расставаться с любимой сестрой!

Слухач, который ни на минуту не затыкал своих ушей глушилками, все услышал и передал Ловкачу. Ловкач перед началом пиршества все отравленные блюда переставил великанам, а великаны блюда переставил друзьям.

Старуха Страусиная Нога, принеся жернова Скорохода, пыталась помогать накрывать столы, но братья-великаны, рассерженные за ее неудачный забег, прогнали ее.

Печально сидел Джансук рядом со своей очаровательной невестой. В глубоком раздумье он не замечал ничего, что делается вокруг.

— Одного я никак не пойму, — сказал он, думая о своем, — как моя мать-олениха могла оказаться здесь? Ведь она всегда паслась только в окрестностях Чегема.

К середине пиршественного обеда все братья-великаны стали замертво валиться. Один навзничь, другие головой на стол.

Джансук оглядел их грустным взглядом, все понял и, посмотрев на Ловкача, сказал:

— Грубовато!

— Уж как мог! — самолюбиво вспылал Ловкач, решив, что по мнению Джансуха он недостаточно ловко переставлял блюда. На са-

мом деле Джансух имел в виду самую расправу с братьями-великанами.

— Наверное, моих братьев бог наказал, — сказала золотоголовая Гунда, вовсе ничего не понявшая, — за то, что они так долго не выдавали меня замуж.

— Не надо так говорить о своих братьях, — сказал Джансух, — хотя они и были настоящими злодеями. Люди их сами осудят. Не дело сестры осуждать братьев, тем более когда они мертвы. А нам, друзья, не годится есть за этим столом. Пусть мертвых похоронят живые, которых мертвые хотели сделать мертвыми, когда они сами были живыми!

Друзья Джансуха похоронили братьев-великанов там, где посреди двора лежала надвое расколотая гранитная глыба. И хотя в этой могиле лежали настоящие братья, никто ее никогда не называл братской могилой. Могила братьев-злодеев не может быть братской.

Дом великанов Джансух велел разрушить. Силач ударом ноги вышиб из-под дома две каштановые сваи, и дом рухнул, подняв над собой тучу пыли.

Частокол с черепами женихов Джансух велел оставить как вечный памятник человеческой жестокости. По прошествии нескольких веков часть его обрушилась и сгнила, но часть осталась, и византийские ученые спорили, какому исчезнувшему племени принадлежит этот необычный способ захоронения.

Но вернемся к Джансуху. Друзья достали лошадь в ближайшей деревне, посадили на нее золотоголовую Гунду и пустились в обратный путь. Скороход, конечно, немножко влюбился в Гунду. Он выпросил у Джансуха право нести корзину с помидорами рядом с лошадью. И каждый раз, по ее просьбе, он подавал ей помидор, предварительно вытерев его о гриву лошади.

Когда они проезжали мимо села, где жил молодой князь и знаменитый виноторговец, Гунда, зардевшись, вдруг сказала Джансуху:

— А ты знаешь, милый Джансух, меня почти что сватал князь.

— Почему почти? — спросил Джансух, чувствуя укол ревности и удивляясь ему.

— Потому что он со свитой подъехал к нашему дому на верблюде, — отвечала Гунда, — на верблюде он подъехал, чтобы из-за высокого частокола увидеть меня. Братья пригласили его во двор, они даже сказали, что облегчат ему условия сватовства, учитывая его высокое происхождение. Но он так и не въехал, хотя я ему очень понравилась, да и он красавец!

— Я единственный племянник царя, — сказал он, — когда я буду царем, я и так возьму ее силой!

— Силой мы ее тебе не отдадим, — сказали братья, и он уехал. Братья мои тогда очень удивились такой его откровенности.

— Иногда человек бывает в чем-то очень откровенным, — сказал Джансух, — чтобы в чем-то другом иметь возможность быть очень скрытным.

— Абхазец, который не постыдился сесть на верблюда, — сказал Опивало, — не постыдится и сесть на трон незаконным путем.

— Хочу быть повешенным на шее той, которая сейчас дома тоскует по мне, — сказал Обьедало, — если Опивало на этот раз не прав!

— А что тут постыдного? — вступилась за князя Гунда. — Он это сделал, чтобы увидеть меня. А ты, Опивало, просто завидуешь верблюду, потому что он может выпить воды больше тебя!

— Верблюд — больше меня?! — задохнулся от возмущения Опивало, — Да скорее дятел, долбящий дерево...

— Не спорьте, друзья, — сказал Джансух, — но должен сказать, что мой друг Опивало проявил немалую проницательность в понимании души властолюбцев.

— Оставьте князя, — сказала Гунда, вздохнув. — Он женился в прошлом году. Жена у него, правда, знатная, но совсем даже некрасивая... Все говорят...

Тонкий слух Слухача ужасно покорило неуместное замечание Гунды о сватовстве князя. Он был возмущен — ведь это же ясно, как божий день, не приди Джансух со своими друзьями, Гунда была бы навеки обречена жить без мужа!

— Что такое неблагодарность, Джансух? — спросил Слухач, по этому поводу вынимая глушилки из ушей. Он твердо придерживался своего правила, что мудрость надо выслушивать в непрощенном виде.

— Неблагодарность, — сказал Джансух, — это роскошь хама.

— Или хамки, — добавил Слухач.

— Или хамки, — согласился Джансух, не понимая намека.

— А что такое благородство?

— Благородство, — сказал Джансух, — это взлет на вершину справедливости, минуя промежуточные ступени благоразумия.

— Та птица, о которой я думал, — сказал Слухач, — так высоко не летает, если летает вообще.

— Да, — согласился Джансух, — благородство не слишком часто встречается.

Через неделю друзья пришли в Чегем, где Джансуху была устроена замечательная свадьба, длившаяся три дня и три ночи. На ней пировали, пели и плясали все чегемцы. К концу третьей ночи уже и Обьедало не мог съесть ни кусочка мяса, а Опивало просто упился.

Джансух одарил своих друзей подарками и положил им в дорожные хурджины всяких сладостей для тех, у кого были дети.

И вот пришло время расставаться. У Сына Оленя и его друзей были слезы на глазах. Скороход откровенно рыдал. Джансух крепко

обнимал своих друзей и по три раза (опять почему-то три раза!) целовался с каждым из них. Сначала он целовался с Обьедалой, потом с Опивалой, потом со Скороходом, потом с Силачом, потом со Слухачом, потом с Ловкачом, а потом, наконец, с Остроглазом.

— Довольно целоваться с друзьями, — кричали чегемцы, — а то на жену не хватит поцелуев!

— Это совсем другое, — отвечал Джансух-Сын Оленя. — Мне кажется, дни путешествия к моей возлюбленной Гунде были самыми счастливыми в моей жизни с людьми. До свиданья, друзья!

— До свиданья, Сын Оленя, — отвечали друзья, — счастливой тебе жизни с золотоголовой Гундой! Если что — дай знать! Чем можем — поможем!

— Джансух, — крикнул напоследок Скороход, — можно я вас буду посещать? Я ведь быстрый — одна нога здесь, другая там! Я буду приносить Гундошке помидоры. Помидоры идут к ее золотым волосам!

— Конечно, приходи, когда можешь, — отвечал Джансух, и друзья, то и дело оглядываясь и маша руками, скрылись на верхнечегемской дороге.

И так Джансух стал жить с прекрасной, золотоголовой Гундой. Джансух горячо любил свою жену, и счастье его казалось безоблачным. В первый год их совместной жизни каждую неделю к ним приходил Скороход и приносил большую корзину, наполненную румяными древнеабхазскими помидорами. Так что Гунда не замечала, что в горном Чегеме помидоры не вызревают.

Через год чувствительный Скороход влюбился в черкешенку, жившую за кавказским хребтом, и стал все реже и реже приходить с помидорами. И Гунда возроптала.

— Меня братья кормили русалочьей икрой и соловьиными мозгами, — говорила она Джансуху, — а ты даже помидорами не можешь меня обеспечить.

— Что же делать, милая Гунда, — отвечал ей Джансух, — если у нас в Чегеме помидоры не вызревают.

— Тогда давай жить в долинном селе, — сказала Гунда.

— Нет, — отвечал ей Джансух, — я не хочу покидать дом моего отца Беслана. Да и люди, приходящие за советами и предсказаниями, привыкли видеть меня здесь.

Впрочем, Гунда довольно скоро приспособилась брать подарки в виде корзин с помидорами у людей, приходящих к Джансуху за мудрым советом. Об этом, как водится, знали все, кроме самого Джансуха. Он думал, что эти помидоры люди сами приносят из преклонения перед красотой Гунды.

Джансух очень любил детей, но Гунда почему-то не могла родить.

— Как ты, мудрец, не понимаешь, — говорила она, — что у самой

красивой женщины и у самого умного мужчины не может быть детей. Природа не может соединить в одном ребенке твой ум и мою красоту. Это ей не под силу.

— А я бы хотел обыкновенных детей, — говорил Джансух, — вроде тех, что у Силача моего я видел...

— Мало ли что нам хочется, — отвечала Гунда, — надо примириться с тем, что мы неповторимы.

Джансуху ничего не оставалось, как примириться. Он все же очень любил свою золотоголовую Гунду. С годами Гунде стали ужасно надоедать бесконечные посетители Джансуха.

— Ну что, что приперлись опять? — говорила она ходокам, если они приходили, когда Джансуха не было дома.

— У нас мулица ожеребилась, — говорили ходоки или что-нибудь подобное. — К чему бы это?

— Великий Весовщик, — кричала Гунда, — они меня сведут с ума! Ожеребилась — ну и хорошо!

— Нет, не хорошо, — сдержанно, но твердо отвечал ходок, — не положено по природе. Хотим узнать, что предзнаменует?

— Великий Весовщик, — кричала Гунда, — они меня сведут с ума! Оставьте корзинку с помидорами и убирайтесь в котловину Сабида, он там коз пасет!

Но так как число людей, приходивших к Джансуху, намного превосходило ее потребности в помидорах, Гунда частенько пилила Джансуха, что он ей мало внимания уделяет.

Однажды, когда она его так ругала, пришел человек посоветовать, как ему быть с пчелиным роем, который вылетел из улья и прицепился к высокой ветке орехового дерева.

Выслушав ходока, Джансух ему доверительно сказал:

— Женщина хочет, чтобы время любви превосходило пространство жизни. Но ведь это нелепо?

— Нелепей и не придумаешь, — поспешно согласился посетитель и ушел, решив, что Джансух слегка спятил.

— Где мой рой и где женщина, которая хочет любви, — рассказывал он об этом случае своим знакомым, и те пожимали плечами, высказывая разные соображения по этому поводу.

Так они жили четыре года и четыре месяца и тут вдруг случилось необычайное событие. Абхазский царь, приехавший в село Лыхны на праздник открытия Храма Великому Весовщику Нашей Совести, внезапно скончался в доме своего племянника, где он гостил.

Молодой князь сел на престол. И хотя его звали абхазским именем Кобзач, он, подражая византийским императорам, нарек себя Феодорием Прекрасным.

Года два народ присматривался к нему, называя его то старым именем, то новым, а потом прозвал его Тыквоголовым Красавчиком

и больше никак его не называл.

В один прекрасный день дюжина придворных людей во главе с визирем приехала к Джансуху. Один из придворных держал за поводья лошадь, оседланную богатым женским седлом. Джансух сразу все понял, душа у него сжалась от боли, но делать было нечего, гости спешились и вошли в дом.

— Джансух, — сказал визирь, — наш царь Феодорий Прекрасный давно любит золотоголовую Гунду. Только необходимость блюсти себя для абхазского престола не позволяла ему сразиться с братьями-великанами. Теперь пришел его час. Ты должен отдать царю прекрасную Гунду, иначе царь пойдет войной на Чегем. Неужели ты, вечно призывающий всех к миру, будешь способствовать тому, чтобы лилась наша абхазская кровь?

— Но ведь царь женат, — сказал Джансух, — я даже слышал, что у него недавно родился сын?

— Да..., — сказал визирь, — у него родился сын и он наречен Георгием. Но какое это имеет значение? Разве ты не знаешь, что византийские императоры женятся столько раз, сколько хотят. А мы должны учиться у нашего великого соседа Византии, самого культурного государства в мире.

Джансух задумался. Потом долгим взглядом посмотрел на Гунду. Он понял, что она хочет уйти к царю. Душа у Джансуха обливалась кровью. Но он был горд, Сын Оленя, и хотел, чтобы Гунда сама предпочитала его царю.

— Что ж, берите ее, — сказал Джансух, — раз она так хочет.

— Но разве я сказала, что хочу покинуть тебя, Джансух? — воскликнула Гунда и вся разругалась.

— Милая Гунда, — сказал Джансух, — ты забыла, что я Сын Оленя, я знаю язык глаз... Твои медоносные глаза мне все рассказали...

— Ради интересов родины, — прошептала Гунда и опустила на грудь свою прелестную головку.

— Да, — подтвердил визирь, — интересы родины превыше всего.

— Тебе останется мой портрет, — сказала Гунда, — ты будешь жить с моим портретом.

— Да, — сказал визирь, — портрет можешь оставить. У нас много придворных художников.

— Хорошо, — сказал Джансух, — я буду жить с твоим портретом.

На прощание Гунда поцеловала Джансуха и не было поцелуя горше, потому что Джансух почувствовал его благодарную нежность.

Гунде подвели чистокровного арабского скакуна, и когда визирь подставлял к ее ноге стремя, он не удержался и кивнул на стремя:

— Чистое золото.

— Сын Оленя, не скучай, — сказала Гунда, удобнее усаживаясь в седло, — почаще смотри на мой портрет.

Придворные вместе с Гундой скрылись на нижнечегемской дороге. Джансух постоял, постоял посреди двора, а потом вздохнул и зашел в дом.

Чегемцы долго обсуждали это событие, жалея Джансуха, и высказывали по этому поводу разные предположения.

— Вообще, — говорили одни, — ввести рыжую в дом, все равно, что поджечь его. Уж лучше прямо сунуть горящую головешку под крышу, чем вводить в дом рыжую...

— Надо было повоевать с Тыквоголовым, — говорили другие, — напрасно наш Джансух ее уступил...

— Как же восвать, — говорили третьи, — если Джансух сам приторочил корзину с помидорами к ее седлу.

Это было явной выдумкой. Никакой корзины с помидорами Джансух не приторачивал к седлу Гунды. Он, конечно, тосковал по своей Гунде, но никогда ни один человек не услышал от него ни одной жалобы.

Только однажды, сидя перед очажным огнем в кругу чегемцев, он вдруг подумал вслух:

— Оказывается, пустую душу нельзя ничем заполнить. Пустота духа — это вещество, которое нам неизвестно. И если вещество пустоты заполняет душу, душа заполнена. А заполненное уже ничем нельзя заполнить.

— Не убивайся, Сын Оленя, — сказал старый чегемец, — ты еще совсем молод, у тебя все впереди.

— Маму-олениху жалко, — сказал Джансух, — она хотела меня предупредить и от этого погибла.

Больше Джансух-Сын Оленя никогда не проговаривался о том, что у него на душе. Время, конечно, великий лекарь, но лечит оно кровопусканием, как тот диоскурец, которого пригласили к отцу Джансуха.

Три года Джансух-Сын Оленя жил с портретом золотоголовой Гунды. Но от портрета самой красивой женщины дети, как известно, не рождаются.

В один прекрасный день Джансух созвал чегемцев, развел костер посреди двора и бросил в огонь портрет прекрасной Гунды.

— Красота лица, — сказал Джансух, — должна быть равносильна красоте души, иначе красота — ложь и художество — суета.

— Это он так говорит, — высказались наиболее догадливые чегемцы, — потому что жениться хочет.

И в самом деле через полгода Джансух женился на простой чегемской девушке, и у него со временем родилось семеро детей. Четыре мальчика и три девочки. Сначала у него родились два мальчика, потом родилась девочка, потом опять два мальчика, а потом еще две девочки. Старшего мальчика нарекли Эснатом, следующего назвали Альясом, за

ним родился Гид, за Гидом родился Навей. Старшую девочку нарекли Зарифой, потом родилась Амра, а потом пришла в мир ненаглядная утешительница Джансуха в минуты грусти, хохотушка Тата.

С годами слава Джансуха все росла и росла. Он не только давал советы и делал прорицания, но иногда мирил враждующие роды и даже племена. Ему удавалось силой мудрости то, что не удавалось силой оружия царю.

Царь Феодорий, конечно, злился на него, но сперва не показывал виду, что может завидовать простому пастуху. Он решил прославить себя военным подвигом и снарядил большой флот для завоевания никому не нужной Лазии. Однако флот не достиг берегов Лазии, в открытом море его сокрушила буря.

Царь Феодорий Прекрасный, узнав о гибели флота, пришел в великий гнев. Он метался по дворцу, громко крича:

— И это море называют Хорошим?! Это плохое море! Проклятое море! Отныне я его переименую! Оно будет называться Черным морем! Пусть гонцы разведутся по всей Абхазии и велят народу отныне называть это море Черным!

И гонцы разъехались по всей Абхазии и во всех городах и селах объявили народу новое название моря. Но люди смеялись над царем, тогда это еще было принято.

— Тыквоголовый совсем спятил! — говорили они, хохоча. — Разве можно море переименовывать? Тогда уж пусть он заодно переименует и небо!

Новое название моря было нелепым потому, что каждый видел, что море синее, а он его называет Черным. Сначала люди, жившие на побережье, в шутку, смеясь над Тыквоголовым, повторяли:

— Ну, как там Черное море — не посинело? Не пора ли выходить рыбачить?

Люди смеялись, смеялись, шутили, шутили и до того дошутились, что сами привыкли и уже всерьез стали называть море Черным. На этом основаны многие победы глупости.

Царь Феодорий был очень доволен, что новое название моря было принято народом.

— Переименовать море, — говорил он, — еще не удавалось ни одному царю. На такое был способен только бог Посейдон, и то в древнегреческие времена.

А между тем с другой стороны моря, — там, где была Византия, его продолжали называть понтом Эвксинским, то есть хорошим морем. Византия восприняла новое название моря как удар по ее престижу и затаила гнев на царя Феодория Прекрасного. Но он этого не понял и, как принято было среди абхазских царей, воспитывал своего сына при дворе византийского императора.

А слава Джансуха-Сына Оленя росла и росла, и это отравляло

жизнь Тыквоголового. Он искал способа, как бы опозорить Сына Оленя и, наконец, вот что придумал. Он созвал придворных и сказал:

— Народ считает Сына Оленя мудрым и праведником. Но может ли считаться мудрецом человек, который, просыпаясь, каждое утро по своей дикой оленьей привычке начинает жевать жвачку?

Мы об этом узнали от нашей возлюбленной царицы, которая ушла от него не только потому, что любила меня, но и потому, что не сумела отучить его от этой привычки. Разошлите гонцов по всей Абхазии и пусть люди знают, чем занимается лжемудрец, просыпаясь по утрам.

Все гонцы, кроме главного гонца, разошлись по всей Абхазии. Главным гонцом в это время был Скороход. Его привлекла ко двору золотоголовая Гунда. Скороход, прекрасно зная, что Джансух никакой жвачки не жует по утрам, и любя Джансуха, не мог распространять такую ложь. Но и правду говорить не осмеливался. Поэтому он притворился, что жернов на его правой ноге натер ему щиколотку, и он не может покинуть дворец.

Разосланные по все городам и селам Абхазии гонцы рассказывали народу, что Джансух-Сын Оленя, просыпаясь, по утрам жует жвачку.

Но народ спокойно отнесся к этому известию.

— Да врет она все, — говорили одни, выслушав гонцов, — тоже мне царица! Мы еще помним, как она взятки брала помидорами.

Другие, выслушав гонцов, говорили:

— Мы знаем, что у мудрецов бывают странности. Он и абхазский язык выучил за пять дней, а говорит, что за два. Но какое это имеет отношение к его мудрости? Пусть себе жует жвачку на здоровье, лишь бы помогал нам советами и предсказаниями.

Однажды Скороход явился к Джансуху и сказал:

— Сын Оленя, Гунда клянется всеми святыми, что она никогда не говорила царю таких глупостей.

— Я рад, что у Гунды появились святые, — сказал Джансух, — и я верю ей. А слухи, которые распускает Тыквоголовый, меня нисколько не беспокоят. Передай царскому двору:

— Те, что жуют жвачку, в тысячу раз лучше тех, что пережевывают собственную глупость.

— Вплоть до царя? — спросил Скороход.

— Начиная с царя, — бесстрашно сказал Джансух.

— Ой, боюсь я за тебя, — сказал Скороход, — не буду я этого говорить.

— Страх и любовь к истине несовместимы, — сказал Джансух, и Скороход побежал во дворец, сверкая своими золочеными жерновами, которые многие принимали за золотые.

Ах, Джансух-Сын Оленя! Конечно, страх и любовь к истине несовместимы. Но любовь к истине в этой жизни слишком часто бывает

несовместимой с самой жизнью.

Через год Джансух-Сын Оленя погиб.

Утром он пошел, как обычно, пасти своих коз в котловину Сабида, а вечером козы пришли домой без него. Его нашли в лесу со стрелой, торчавшей из спины. Это была тогда совершенно неизвестная на Кавказе персидская стрела со сдвоенным наконечником. Одни говорили, что Джансуха убил неизвестный чужеземец, другие говорили, что убийца очень хотел, чтоб его считали чужеземцем. Оплакивать Сына-Оленя съехалась чуть ли не половина Абхазии. И, конечно, пришли его верные друзья Обьедало, Опивало, Силач, Слухач, Ловкач и Скороход. Они больше всех рыдали у гроба Джансуха, особенно убивался Скороход. На них люди обращали внимание.

— Что это за родственники Сына Оленя, — спрашивали они, — мы думали, что у него нет родственников.

— Это его товарищи, — отвечали чегемцы, — они помогали Джансуху жениться на его первой жене, нынешней царице. А вот этот, который в золотых жерновах, каждую неделю бегал сюда. Помидоры приносил Гунде, а сейчас он первый царский гонец.

После похорон Джансуха Скороход, чьи рыдания разрывали душу, вдруг на глазах у всех снял со своих ног золоченые царские жернова и швырнул их с такой силой, что они закатились в котловину Сабида.

Друзья Джансуха посидели за поминальным столом, рассказывая друг другу новости из своей жизни и вспоминая подробности совместного похода с Джансухом.

— Какое время было, — говорили они, — как мы были молоды и счастливы шагать рядом с Джансухом.

Старые чегемцы, помнившие, как пил Опивало, поставили перед ним кувшин с вином, но он велел его убрать.

Обьедало тоже едва съел свою порцию мамалыги.

— Эх, время, в котором стоим, — говорили старожилы Чегема, рассказывая молодым о застольных подвигах Опивалы и Обьедалы на давней свадьбе Джансуха.

Друзья посидели за столом, сладко погрустили, вспоминая прошлое, и разъехались по домам. Хорошо, когда есть еще с кем сладко погрузиться, вспоминая молодые годы, а бывает, друзья, и хуже, бывает, что и погрузиться не с кем, вспоминая молодые годы.

Говорят, Скорохода больше никогда не видели при царском дворе. По слухам он ушел за кавказский хребет и там, наконец, женился на своей церкешенке.

После смерти Джансуха по Абхазии прокатились народные волнения. Многие считали, что в убийстве Джансуха замешан царь.

— Эх, потрясти бы Тыквоголового, — говорили некоторые, — так, чтобы у него из ушей повыскакивали тыквенные семечки! Он бы

тогда признался, кто убил нашего Джансуха!

— Ну да, — язвили по этому поводу другие, — остается самая малость, найти человека, который его потрясет.

— Джансух и был таким человеком, — говорили самые умные, — да не уберегли мы его.

Но царь сумел успокоить народ. Гонцы передавали его слова во всех городах и селах.

Вот эти слова:

— Величие царя, переименовавшего море, равно величию народного мудреца, нашего любимого Джансуха. Отныне и навсегда мы даем своему первому придворному мудрецу звание Сына Оленя. А наша возлюбленная царица в знак траура на сорок дней отказывается есть помидоры.

И гонцы постепенно успокоили народ. Как ни смеялся народ над Тыквоголовым Красавчиком, все-таки такого коварства он в нем не подозревал, чтобы и убить и одновременно давать придворному мудрецу звание Сына Оленя.

Но недолго после этого царствовал и сам Феодорий. Из Византии вернулся его двадцатилетний сын Георгий. Заручившись поддержкой византийского императора, он устроил заговор и ночью, ворвавшись к отцу в спальню, зарубил его секирой.

— Привет от дедушки, — говорят, сказал он при этом.

Мало того, что он сел на престол убитого им отца, он через год женился на золотоголовой Гунде, лицо которой все еще хранило немало следов былой красоты. Согласно известному учению, он должен был, убив своего отца, жениться на родной матери, но все византийские источники подтверждают, что он женился именно на Гунде, второй жене своего отца.

В годы царствования Георгия Свирепого, так прозвал его народ, жестокие войны, недороды и черная оспа косили людей. Дошло до того, что обыкновенная козлятина стала доступна только приближенным ко двору семьям.

В разгар всех этих неисчислимых бед Гунда вдруг забеременела и родила сына. После первого сына она в течение девяти лет рожала каждый год и иногда рожала сразу двойняшек. И были среди этих девяти лет три таких года, когда она ухитрилась родить четыре раза.

— Породой сошлись, — говорили по этому поводу абхазцы, но уже далеко не так громко, как при Тыквоголовом.

А между тем, несмотря на все бедствия, постигшие Абхазию, международный престиж абхазского государства укрепился, а границы его расширились. На западе границы его примыкали к Хазарии, а на востоке даже неизвестно к чему.

Особенно возвысился престиж абхазского государства после того, как Византия в знак вечной дружбы с Абхазией переняла назва-

ние Черного моря и запретила своим подданным произносить старое название — понт Эвксинский.

Народ, потрясенный бедами, постигшими страну, часто говорил:

— Это Великий Весовщик Нашей Совести разгневался на нас за то, что мы не уберегли Сына Оленя.

Ну что ж, может быть, народ был прав в своем позднем покаянии. Долг мудреца помогать народу, чтить свои святыни, не давать ему разнородиться и превратиться в бессмысленную толпу, говорящую на одном языке. Долг народа — оберегать своего мудреца. Джансух-Сын Оленя выполнил свой долг.

* *
*

Вот что я слышал в детстве о Джансухе-Сыне Оленя и теперь своими словами пересказываю здесь. Эта легенда или, может быть, правда, обросшая легендами, известна во всей Абхазии. Но чегемцы особенно любили рассказывать о Сыне Оленя. Они гордились своим земляком, тем более что там сохранился зеленый бугорок, который все называли могилой Джансуха-Сына Оленя.

Он расположен на чудном лугу недалеко от табачного сарая нашего выселка. Это ровный травянистый гребень холма, налево от которого начинается тропинка, ведущая в котловину Сабида, а направо проходит верхнечегемская дорога.

Холм кончается обрывом, поросшим кустами держи-дерева, бирючины, ежевики. На краю холма рос огромный каштан, слегка наклоненный в сторону обрыва.

Сейчас там наше семейное кладбище. Но я еще помню то время, я был тогда совсем маленьким, когда там — трудно поверить! — не было ни одной могилы.

На этом лугу мы в начале лета собирали землянику и я, случалось, красные ягоды срывал прямо с могилы Сына Оленя.

Здесь иногда устраивались сельские игрища. Мальчики-подростки и более взрослые парни, с ножами в руках, разгонялись изо всех сил и, вскакивая на слегка наклоненный ствол каштана, делали несколько безумных шагов по стволу и с размаху, стараясь, как можно выше, всаживали нож в ствол и с какой-то звериной грацией успевали, обернувшись, оттолкнуться и спрыгнуть на край обрыва. Нож Чунки оказывался чаще других всаженным выше всех.

Потом бегали наперегонки от табачного сарая до каштана и обратно. Бегали и мальчики, и девушки, и мы, малыши, иногда с криками гонялись за ними.

Среди девушек нашего выселка была одна, которая легко обгоняла всех девушек и почти всех мальчиков. Она и сейчас перед моими

глазами бежит, бежит, бежит, и высокая трава с голубыми колокольчиками, сизоватой полынью, веерками папоротников хлещет ее по голым, босым ногам, а она все бежит какой-то особой, порывисто-плавной побегой, словно захочет — и быстрее припустит. И на чистом ее лице, на бессмертном, как я теперь уже знаю, ее лице, никакой гримасы напряжения, а только сияние радости, словно сама скорость обращается в сияние радости и сама радость благодарно подхлестывает скорость.

Тогда у меня в душе десятилетнего мальчика возникла таинственная догадка, что она дальний потомок Сына Оленя. Но я об этом никому не говорю, стыдясь, что меня засмеют.

Однажды, когда она бежала, я вдруг почувствовал какой-то пронзительный, холодящий горло восторг, желание схватить ее хищнеющими пальцами и заново вылепить, что ли, придав ее побегу окончательную прочность. Вероятно, это был первый, еще неосознанный позыв к творчеству.

Но сейчас в моей памяти порой странно, как во сне, сдвигаются времена, и я одновременно вижу бегущих от табачного сарая до каштана и обратно и вижу печальные и скромные могилы, в которых уже лежат некоторые из бегущих — и огнеглазый Адгур и сестра его, гордая скромница Люба и милая Софичка.

А они пробегают мимо своих могил, не замечая их, притормаживают у каштана, шлепают мелькающей ладонью по стволу и назад, назад в порыве азарта, снова не замечая своих могил, уже убегая от них все дальше и дальше, радостно закинув головы, победно, невозвратно!

СОДЕРЖАНИЕ

Умыкание или загадка эндурцев	7
Харлампо и Деспина	37
Бригадир Кязым	81
Дядя Сандро и раб Хазарат	131
Джансух – сын оленя или евангелие по-чегемски	171

Оглавление: *Сандро из Чегема* (Ардис, 1979) и *Новые главы: Сандро из Чегема* (Ардис, 1981)

Глава 1 – Сандро из Чегема	
Глава 2 – Дядя Сандро у себя дома	
Глава 3 – Принц Ольденбургский	
Глава 4 – Игроки	
Глава 5 – Битва на Кодоре или деревянный броневик	
Глава 6 – Чегемские сплетни	
Глава 7 – История молельного дерева	
Глава 8 – Пиры Валтасара	
Глава 9 – Рассказ мула старого Хабуга	
Глава 10 – Дядя Сандро и его любимец	
Глава 11 – Тали – чудо Чегема	
Глава 12 – Дядя Сандро и конец козлотура	
Глава 13 – Пастух Махаз	
Глава 14 – Умыкание или загадка Эндурцев	
Глава 15 – Харлампо и Деспина	
Глава 16 – Бригадир Кязым	
Глава 17 – Хранитель гор	
Глава 18 – Дядя Сандро и раб Хазарат	
Глава 19 – Кутеж трез князей	
Глава 20 – Джансух – сын оленя или евангелие по-чегемски	
Глава 21 – Дерево детства	

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС“

М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ
ТОМАХ (1981-)

НЕИЗДАННЫЙ БУЛГАКОВ (1977)

М. Булгаков, ЗОЙКИНА КВАРТИРА (1972)

М. Булгаков, МАСТЕР И МАРГАРИТА (1979)

А. Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ (1978)

А. Ахматова, СТИХИ, ПЕРЕПИСКА, ИКОНОГРА-
ФИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ (1977)

М. Цветаева, ФОТО-БИОГРАФИЯ (1979)

О. Мандельштам, ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА (1975)

О. Мандельштам, ТРИСТИЯ (1972)

О. Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ
(1980)

Е. Замятин, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ
ТОМАХ (1981-)

В. Ходасевич, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ
ТОМАХ (1981-)

Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976)

Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ
Василий Аксенов, ОЖОГ (1980)

Василий Аксенов, ОСТРОВ КРЫМ (1981)

Андрей Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1978)

Фазиль Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1979)

Фазиль Искандер, НОВЫЕ ГЛАВЫ, Сандро из
Чегема (1981)

Иосиф Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)

Иосиф Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Алексей Цветков, СБОРНИК ПЬЕС ДЛЯ
ЖИЗНИ СОЛО (1978)

Алексей Цветков, СОСТОЯНИЕ СНА (1981)

Семен Липкин, ВОЛЯ (1981)

Юрий Кублановский, ИЗБРАННОЕ (1981)

Владимир Набоков, СТИХИ (1978)

Как правило, писатели — независимо от их национальной принадлежности — пишут книги. Иное дело Фазиль Искандер: он пишет абхазскую литературу. Не ту, конечно, что чествуют на декадах национальных искусств — да и пишет-то Искандер по-русски — а другую, которую читают.

Можно бы назвать Искандера Гомером Абхазии, но Гомер этот далеко не слеп. В поле его внимания не только маленькая горная страна с ее радостями и бедами, с добродушными соседями мингрельцами и сванами и коварными эндурцами. Взгляд писателя простирается до зубчатых стен несокрушимой метрополии, где спят вечным сном грозный Усатый и Тот, Кто Хотел, Но Не Смог.

На страницах этой книги читатель встретит своих старых знакомых, в том числе неистребимого и веселого циника дядю Сандро. Жанровый диапазон эпопеи расширился: мы знакомимся здесь с героем волшебной сказки (да и просто — героем) Сыном Оленя, который был чересчур хорош, чтобы выжить в реальном мире мелких пакостей.

Публикуемые здесь пять глав романа не были включены в оригинальное издание (Ардис, 1979 г.). Надеемся, что они будут приятным сюрпризом для читателя, уже успевшего полюбить Фазила Искандера.

Издательство „Ардис“

- Ф. Искандер, САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА (1979)
- А. Битов, ПУШКИНСКИЙ ДОМ (1980)
- В. Войнович, ИВАНЬКИАДА (1976)
- Саша Соколов, ШКОЛА ДЛЯ ДУРАКОВ (1976)
- Саша Соколов, МЕЖДУ СОБАКОЙ И ВОЛКОМ (1980)
- В. Аксенов, ОЖОГ (1980)
- В. Аксенов, ОСТРОВ КРЫМ (1981)
- Б. Окуджава, 65 ПЕСЕН (1980)
- И. Бродский, КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ (1977)
- И. Бродский, ЧАСТЬ РЕЧИ (1977)
- В. Набоков, ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ (1977)
- В. Набоков, ДАР (1975)
- В. Набоков, БЛЕДНЫЙ ОГОНЬ (1981)
- О. Мандельштам, ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕТРАДИ (1980)
- А. Ахматова, ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ (1979)
- М. Булгаков, СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 10-ти ТОМАХ